АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ИОСИФ БРОДСКИЙ



ВЕЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Спросите любого даже в наше не столь располагающее к литературе время: кто такой Иосиф Бродский? Большинство ответят, что он из диссидентов, Нобелевский лауреат – великий российский поэт. По словам другого поэта, поэт в России больше чем поэт. Он – властитель дум миллионов. И Бродский таким был, по крайней мере, в среде единомышленников. Ведь недаром на Западе у русскоязычных граждан давно считается, что «Бродский действительно своего рода Пушкин XX века – настолько похожи их культурные задачи… Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых».

Так кто же он, Иосиф Бродский, подобно Вечному жиду, скитавшийся по миру: гениальный поэт или раздутый до непомерных размеров ангажированный литератор?

В своей книге публицист и поэт Александр Бобров дает ответ на этот вопрос.

- Александр Александрович Бобров
  - Вздроги поэзии
    -
    - Памятник Пушкину
    - Отступление кинематографическое: торопливо вздрогнул
    - Отступление политическое: Сталин и истопник
  - Великая мать Ахматова и сокращенный христианин
    -
    - Сретенье
  - Горох во все стороны от Полухиной
  - Гений Малевич, лауреат Бродский и профессор Ганнушкин
    -
    - Маркс Тартаковский
    - «Ибо связки – не бздюме утряски»
    - «В тоске по столбам-в-этом мире-иль-ганнушкиным»
    - «Втискивание в черную дыру»
    - «Диагноз – высшая степень слабоумия»
    - «Я хочу, чтобы все люди думали одинаково»
  - Бродский: протестант или вечный жид?

- От жертвоприношения Авраама до Освенцима
- «В сем христианнейшем из миров поэты – жиды!»
- Образ поэта и актуальная сфера говорящего
- Поэт своей цивилизации
- «Еврей ли вы?»
- «Я был воспитан вне религии»
- «Когда предрассудок становится частью системы»
- «Еврей – тот, кто на это согласен»

- От Норинской до Праги: «русскость» Бродского
- Владимир Бондаренко: русский менталитет Бродского
- О поэте, «харкающем в суп»
  - Академик Бегунов. «Шекспир наших дней»
- Пародийное предприятие Бродского – Сергей Довлатов
- Любовь к Венеции и к парадоксам
- Заемная кровь: Кушнер и другие
- Змеиный кончик члена, или Самозапретная книга
- Рубцова и сегодня душат Бродским

Александр Александрович Бобров
Иосиф Бродский. Вечный скиталец

Вздроги поэзии

Бродский – великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом.

Сколько у меня стихов о том, что придет мальчик и скажет новые слова. А пришел весь изломанный Бродский.

Евгений Евтушенко



Иосиф Бродский умудрялся в своих стихах, обращенных к другим поэтам, давать характеристику себе. «Грызун словарного запаса» – эта строка из стихотворения, посвященного Кушнеру, как нельзя лучше подходит к самому антигерою этой книги под названием «Вечный жид Иосиф Бродский». В начале XVII века почти ни о чем другом не говорили, как только о Вечном жиде, сперва в Германии, затем во Франции, Бельгии, Дании, глуше – на Руси. Вечный жид рисовался в воображении народа как неприкаянный путешественник, который обречен скитаться до второго пришествия и прощения, который взбудораживал страны своим появлением в христианских храмах. О нем писали книги, баллады, пели песни, спорили. Переиздания, переводы и перелицовки на разных европейских языках следовали во множестве: образ бывшего иерусалимского сапожника, который ударил Спасителя, высокого человека с длинными волосами и в оборванной одежде, владел воображением людей в течение целой эпохи. В еврейской энциклопедии сказано: «Вечный жид – персонаж многих средневековых легенд. Он был осужден на вечное скитание за то, что глумился над Иисусом или ударил его на пути к месту распятия. Большинство вариантов легенды имеет отчетливую антиеврейскую направленность».

Это проверенный ход – сразу обвинить творца фольклора или автора другой крови в антиеврействе. Но данная книга, по возможности трезво оценивающая творчество того, кто был тщеславен и высокомерен до мании величия, направлена против

бесчисленных эпигонов – «грызунов языка» и поющих осанну, подобно русскоязычному литературоведу, живущей на Западе: «Бродский действительно своего рода Пушкин XX века – настолько похожи их культурные задачи… Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых». Автор этой книги – из вторых. Из отринувших и твердо знающих, что Пушкин на все века – один.

В Москве, на Новинском бульваре, накануне дня рождения Пушкина – появился памятник Иосифу Бродскому. Он был отлит еще в 2008 году, а решение о его установке было принято в 2009-м. Для того, чтобы страшную работу Г. Франгуляна – автора надгробия Ельцину – все же увидели и ужаснулись ею москвичи, понадобилось несколько судебных разбирательств: вакантное место занимал пункт обмена валюты, который, несмотря на постановление правительства Москвы, удалось демонтировать только через суд. Уродливое (под стать памятнику) коммерческое препятствие, здравый смысл (при чем тут принципиальный немосквич Бродский?) и все архитектурно-эстетические соображения были преодолены, и на Новинском бульваре, недалеко от посольства США (где ж еще!), состоялось торжественное открытие памятника поэту. Либеральные СМИ выразили восторг по поводу этого события, а на открытие пришли все свои – приятели и почитатели поэта. В топорной же скульптурной композиции можно увидеть две группы: не только друзей, но и врагов. Сам Бродский в дорогом костюме и элегантных итальянских ботинках победительно стоит, сладострастно закинув голову. Это не гонимый советской властью за инакомыслие ленинградский поэт, но торжествующий Бродский-американец, уже получивший Нобелевскую премию и всемирное признание.



Памятник Иосифу Бродскому и Владимиру Высоцкому.
Творческая мастерская и музей Зураба Церетели на Большой Грузинской улице, Москва

«Это кто такой так встал? Это кто себе позволил? Это будет удар, вздрог! Здорово получилось! Два цветка… ему сейчас уже не нужно, да ему и никогда не было нужно, он смотрел в небо. Два цветка Иосифу и пять – тем, кто за него бился, кто так хорошо его «вставил» в Москву, что мимо не пройдешь», – восклицал Сергей Юрский. Да уж – такой вздрог, так вставил… Мне подумалось, глядя на телеэкран, лучащийся восторгами: а почему у нас так стремительно ставят памятники Окуджаве, Бродскому, но никому почему-то в голову не придет требовать поставить памятник на Софийской набережной, например, всенародно любимому Николаю Рубцову, который учился в Москве, состоялся здесь как поэт и написал лучшее стихотворение о Московском Кремле, возвышающемся напротив:

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!

«Молод тот, кто еще не солгал» – это замечательно точное

высказывание французского писателя Жюля Ренана я часто повторяю своим студентам в Московском государственном университете культуры и искусств. Заочникам читаю курс «Сценарное мастерство» и даю перед экзаменом задание: написать телесценарий по двум стихотворениям на выбор – Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» или Бродского «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам». Критик Лев Аннинский писал: «Тут в параллель с Рубцовым прямо-таки просится Иосиф Бродский. Там холмы и тут холмы. Пусть знатоки источников решат, кто кому обязан: то ли Рубцов подсказал лейтмотив Бродскому, то ли подхватил у Бродского… С такими перекличками вообще надо быть осторожными».

Но меня-то больше всего интересует сам выбор молодых и уже немолодых студентов. За три потока выявилась любопытная закономерность: все, кто уже отравлен современным ТВ и не раз лгал, все нерусские москвичи (питерцы имеют свой Университет культуры) и, напротив, пыжащиеся провинциалы – выбирают Бродского; все, кто еще не привык врать и верит в высокое предназначение журналиста, кто обладает более высоким и патриотичным творческим потенциалом, выбирают Рубцова. Тех и других – почти поровну, но выявилась еще одна важная закономерность: сценарных поисков, находок и образных попаданий значительно больше у тех, кто выбрал стихи Николая. И это легко объяснимо, если сравнить хотя бы любую его законченную строфу с тягучими стихами Иосифа:

> Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
> Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
> Что, все понимая, без грусти пойду до могилы…
> Отчизна и воля – останься, мое божество!

Помню, одна архангелогородка весь сценарий построила через рубцовскую лодку, плывущую по северной реке – пустую, с отроком, с влюбленной парой. И впрямь, какой простор для образных решений, распахнутый ясной и сильной метафорой!

А вот холодная невнятица другого автора:

> Все равно – возвращенье… Все равно даже в ритме баллад
> есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,
> даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,
> появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Никто не может ничего придумать «в ритме баллад», кроме копыт крупным планом, икону сквозь ельник. Но ведь у Бродского Творец «на иконах своих не живет и не спит» (?!) – здесь привычная поэтическая размытость, мнимая многозначительность. «У Бродского своя судьба, а у Рубцова – своя, – пишет Николай Коняев. – Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает. Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от любого неугодного ей «образа мысли», это различие не было существенным…» Мы уже давно живем в другой «системе» с маленькой буквы, и теперь ясно видим, как резко разошелся посмертный «рисунок судьбы»: один стал лауреатом Нобелевской премии, героем либерального истеблишмента, любимцем ТВ, а другой – просто самым издаваемым и любимым народным поэтом без всякой информационно-телевизионной раскрутки. Поразительно! Да Коняев и сам это понимает: наверное, ни одна его книга не переиздавалась столько раз, сколько книга о Рубцове с вариациями.

Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, одобренный Министерством образования и рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению, вызвал яростные споры, умные или ядовитые комментарии, которые сводились с нашей, с русской, стороны к тому, что в списке мало почвеннической, патриотической литературы (нет Василия Белова!) и слишком много книг антисоветчиков и западников – от Василия Аксенова до Людмилы Улицкой. Правда, мне один литератор признался, что ему понравился список хотя бы тем, что в нем есть Николай Рубцов, но нет Иосифа Бродского. Наивная душа! Он не понимает, что, коль нет в этом списке, значит, он прочно обосновался в самой обязательной программе.

В мае 2010 года в Санкт-Петербурге на факультете филологии и искусств СПбГУ прошла международная научно-исследовательская конференция «Иосиф Бродский в XXI веке». Учителей и методистов-словесников пригласили принять участие в работе «круглого стола» «Произведения Бродского в школьной программе (на уроках литературы)». Сообщалось, что участники секции «Произведения Бродского в школьной программе» вместо научно-исследовательских материалов могут присылать

авторские учебно-методические разработки учебников по творчеству Иосифа Бродского. Понятно, наивные почитатели Рубцова? – уже учебники по Бродскому пишутся! Бедные школьники…

«Вспомним русскую поэзию, – пишет академик Всеволод Троицкий. – Какое слово в ней является ключевым? Конечно, слово *любовь, люблю*. Например: «Люблю Отчизну я…», «Люблю дымок спаленной жнивы…» (М.Ю. Лермонтов) «Люблю грозу в начале мая…», «Я лютеран люблю богослуженье…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Люблю смотреть, когда созданье Как бы погружено в весне…» (Ф.И.Тютчев), «Люблю дорожкою лесною, Не зная сам куда брести…», «Люблю тебя, месяц, когда озаряешь…», «Люблю я горные вершины…» (А.Н. Майков) и т. д. А теперь приведем несколько стихов О.Мандельштама, включенного в школьную программу: «…И Батюшкова мне противна спесь…». Не угодил, видите ли, русский поэт Батюшков Осипу Эмильевичу! И еще: «Я ненавижу свет Однообразных звезд…» Или: «Как я ненавижу пахучие древние срубы…» Нелишне напомнить, что вся Россия была деревянной, и «пахучие древние срубы» – это типическая картина старой Руси, России, которая мила русскому сердцу и которую О.Э. Мандельштам (я не виню его в этом) в сущности, не сумел полюбить… Ведь он искренно говорил о себе («мы»): «Мы живем, под собою не чуя страны…» Не чуял. Можно ли за это осуждать? Нет. Но ставить как образец такое отношение – недопустимо.

Теперь о Бродском, которого так старательно «делают» гением и совершенно неосновательно сравнивают с самыми великими поэтами. Оставим в стороне его русофобские выпады и обратимся к его поэтическим достоинствам. Вот что пишет о его стихах лауреат Нобелевской премии, академик РАН А.И. Солженицын: «Бродский «нередко снижается до глумления», «смотрит на мир…с гримасой неприязни, нелюбви к существующему». Чуждый «русской литературной традиции, исключая расхожие отголоски, оттуда выхваченные», этот поэт «почти не коснулся русской почвы» и т. д. Так зачем же навязывать школьникам беспочвенную поэзию? Нелишне учесть также, что И. Бродский, как выразился И. Шарыгин, «постепенно терял свой русский язык». Почему же такой поэт включен в школьную программу «взамен» настоящих классических русских поэтов?» Ответ напрашивается сам: потому что его поэзия созвучна общему направлению современной культурной политики: вытравить русский дух. К примерам академика можно еще добавить Александра Блока, который обращался к нищей России: «Твои мне песни ветровые, как слезы первые любви».

Снова пронзительная любовь даже к нищим избам. О, знал бы Блок, кто посмеет беспардонно судить о творчестве поэта, который боялся, «чтобы распутица ночная от родины не увела». Вот диалог тех, кого распутица увела в США:

Иосиф Бродский: Блока, к примеру, я не люблю, теперь пассивно, а раньше – активно.

Соломон Волков: За что?

Бродский: За дурновкусие. На мой взгляд, это человек и поэт во многих проявлениях чрезвычайно пошлый.

Мало ли о чем могут гнусно трепаться два русофоба, однако это беспрерывно публикуется в журналах и книгах! Но вернемся к поспешно возведенному памятнику. Нобелевское лауреатство персонажа совершенно ни при чем. Лауреатами не стали ни Блок, ни Ахматова, увековеченные в бронзе, ни Твардовский, но многие деятели культуры и даже еврейские вменяемые литераторы понимали, что просто неприлично открывать памятник Бродскому раньше многострадального памятника Александру Твардовскому, которому долго не находилось места даже рядом с редакцией «Нового мира» в канун 100-летия со дня рождения поэта и 70-летия начала Великой Отечественной, с дорог которой шагнул к читателю великий образ Василия Теркина!

«Я не могу вам цитировать Бродского наизусть, потому что у него особая мелодия стиха и нужно просто быть профессионалом, но я очень люблю Бродского, много его читал», – оправдывался министр культуры Александр Авдеев. Хотелось воскликнуть: ну, на худой конец, тогда пусть вспомнит хоть строчку из «Василия Теркина» у памятника классику советской поэзии, если дождется этого события на своем посту… Не дождался, дипломат.

В журнале «Звезда» (1997, № 7) появился небольшой материал Бенгта Янгфельдта с одним стихотворением из архива Бродского и послесловием о том, как Иосиф, несмотря на настойчивые приглашения, не пожелал приехать в Москву, которую никогда не любил и не понимал: «Осенью 1990 г. готовилась в Москве телепередача с названием «Браво-90», куда пригласили Бродского. В Москву поехать он не захотел. Я тогда снял видеофильм с ним (в Швеции, где он в то время находился), которое показал в телепередаче, куда пригласили и меня. Была также приглашена моя жена Е.С.Янгфельдт-Якубович – исполнять песни на стихи русских поэтов. Узнав об этом, Иосиф вдруг сказал: «Подождите, у меня есть что-то для вас» – и пошел за портфелем (это все происходило у нас дома). Со словами: «Вот это вы можете положить на музыку», он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о Свободе», написанного в 1965 г. и посвященного Булату Окуджаве. Положенная на музыку

моей женой, «Песенка» была впервые исполнена ею в программе «Браво-90», показанной в начале 1991 г., но, по-видимому, нигде не напечатана.

Жена много говорила с Иосифом о песне, о том, какое значение имеют для нее стихи, положенные на музыку. Но она никогда не задавалась целью петь Бродского, зная, что другого просодического выражения, чем собственное, он не признает – он очень не любил, когда актеры читают или поют его вещи. Тем не менее мелодию «Песни» она сочинила – очевидно, поэт счел, что именно это стихотворение, с его балладным настроем, подходит для такой жанровой метаморфозы».

Привожу начало этого «вздрога поэзии» с дешевым приемом парадокса, не имеющего ни намека на балладу:

Ах, свобода, ах, свобода.
Ты – пятое время года.
Ты – листик на ветке ели.
Ты – восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?

Как это нет? Есть целые государства – заводы по производству свободы – США, Израиль, Латвия, где Юрий Лужков хотел получить гражданство. Да мало ли… Только вот памятники озабоченным любителям свободы ставят почему-то в Москве.

Яков Гордин написал в своем эссе: «Ленинград, Петербург был для него удивительным сочетанием пространства и времени. И, быть может, время играло в его восприятии города большую роль, чем пространство. В августе 1989 года Бродский писал мне из Стокгольма: «Тут жара, отбойный молоток во дворе с 7 утра, ему вторит пескоструй. Нормальные дела; главное – водичка и все остальное – знакомого цвета и пошиба. Весь город – сплошная Петроградская сторона. Пароходы шныряют в шхерах, и тому подобное, и тому подобное. Ужасно похоже на детство – не то, что было, а наоборот».

Последняя горькая фраза многое объясняет. Ленинград был для него не столько тем, что произошло в реальности, сколько миром несбывшегося. Это был город юношеских мечтаний и потому особенно любимый… В юности Бродский стремился к слиянию с городом, ища в нем жизненной опоры. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя…». (Еще одно несбывшееся пророчество. – *А.Б.*)

С самого начала и до последних лет жизни Петербург был для него не просто городом, который он любил, но средоточием всего самого важного: несчастья и любви, озарений и отчаяния, гордости и горечи. Бродский был великий путешественник, объехавший полмира. Но движение в пространстве – акт механический, движение во времени – творческий акт. Ленинград – Петербург для Бродского существовал во времени ярче и явственней, чем в пространстве».

Но и Яков Гордин нисколько не протестовал, чтобы первый монументальный уличный памятник поэту появился в реальном московском пространстве. Хотя, конечно, еще в ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета по проекту К. Симуна был установлен формально первый в России памятник Иосифу Бродскому. Но скульптура во дворике – это не парадный и вызывающий монумент! Кстати, место памятника в Питере выбрано не случайно.



В эвакуации. Ося с матерью и теткой. Череповец, 1942. Фото А. И. Бродского.

Из архива М. И. Мильчика

Сам Бродский рассказывал Рейну про желание учиться в ЛГУ: «Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины – марксизм-

ленинизм, так это, кажется, называется, – как-то пропадало желание приобщаться… Но все – таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс…» Теперь, по Фрейду, комплекс вытеснен и компенсирован памятником во дворе. Но Москве-то совершенно незачем было комплексовать и отличаться.

* * *

Три явных потрясения-повода побудили меня сесть за большую статью и даже книгу о Бродском и иже с ним, чтобы разобраться в чуждом творчестве, отталкивающем образе мыслей и строе поступков, но не ради какого-то развенчания маргинальности, как сказал Евтушенко (понятно, что теперь это не под силу любому автору, СМИ или творческому объединению!), а во имя главного – приближения к разгадке его влияния на огромное количество не слепых почитателей (никогда – клянусь! – не слышал, чтобы кто-то с восторгом цитировал стихи Бродского в застолье или в литературном споре, напевал его стихи, положенные неисчислимыми бардами на скучные мелодии), а на современных апологетов и эпигонов Бродского в поэтической среде. Это просто какое-то наваждение, общее место на пустом месте.

Лет десять назад Валентин Распутин пригласил меня на знаменитый фестиваль «Байкальская осень». В первое же утро, до всяких встреч и приемов, прямо из гостинцы Иркутска я поспешил солнечным утром на берег Ангары. Передо мной открылось величественное зрелище. Могучая река несла свои темно-бирюзовые воды, и струи ее то свивались, то плавились в сверкающем свете, а довольно-таки убогие строения на другом берегу скрашивались вереницей желтых лиственниц и синеющими всхолмиями да угорами, которые поднимались за городской чертой. Бирюзовое, золотое и синее – торжество любимых цветов Андрея Рублева…Потрясенный этим завораживающим зрелищем, я вернулся к коллегам, и мы отправились в соседний Иркутский университет, на филологический факультет. Вошли в фойе и меня как громом поразило. На стене был прикреплен огромный плакат первой научно-практической конференции в учебном году: «Пушкин и Бродский». Не пушкинские мотивы и традиции в творчестве Бродского или (пусть так!) «Бродский против Пушкина», а четко: «Пушкин и Бродский», как два равновеликих поэта, прямо – на

равных: Пушкин и Бродский! Я только развел руками, а увидевший мою растерянность Валентин Григорьевич сказал: «Да, у нас вот так, Саша, на филфаке!».

Встречи были теплыми, и прогулка по славному морю Байкала была хороша, но больше всего, кроме неприятной кражи бумажника с паспортом в гостинице, запомнился анонс такой вот конференции в университете. Потом это стало обычным явлением. В Англии живет ярая поклонница Бродского, влюбленный в него профессор Валентина Полухина, которая издала 15 книг о своем кумире. Представляя одну из них на радио «Свобода», она тоже не подыскивала особо оригинальных сравнений: «Я считаю, что Бродский действительно своего рода Пушкин XX века – настолько похожи их культурные задачи». А какие задачи? Помню, в одной из радиопрограмм в день рождения Пушкина были приглашены какой-то молодой поэт и почетный старец Лихачев. На вопрос ведущей, в чем же непреходящая ценность Пушкина? – стихотворец начал что-то мямлить про вечный поиск формы, про тематическую всеохватность, а литературовед был краток: «Пушкин выразил национальный идеал!» Вот она – главная задача поэта. Какой же идеал и какой национальности полнее всего выразил Бродский? Думаю, скорее, англо– и еврейско-американский, чем русский. Если исключить его лучшие стихи северного цикла.

И вот уже некто О.А. Кравченко на другом конце державы, в Донецке пишет литературоведческую работу, спокойно называя ее «Пушкин и Бродский»: «Творчество И.Бродского, нередко именуемого «современным классиком», является уникальным соединением предшествующих идей и смыслов. Как заметил Ю.М. Лотман, «…творчество Бродского питается многими источниками, а в русской поэзии все культурно значимые явления приводят, в конечном счете, к в той или иной мере трансформированной пушкинской традиции».[7,Т.3,294]. Ну, это ясно – все и вся восходит, но ведь нет работ «Пушкин и Кравченко» с безумными оборотами «в той или иной мере».

Сергей Довлатов (еще одна дутая фигура того же происхождения!) пишет письмо Георгию Владимову и, походя, упоминает о другой подобной работе, вернее, даже о безумном шаге вперед – Бродский выше Пушкина: «Если понадобится псевдоним, то подпишите – Д. Сергеев. Инициалы «С. Д.» не годятся, так подписывается в РМ Сергей Дедюлин. Между прочим, этот Дедюлин напечатал лет десять назад в «Вестнике РХД» статью «Пушкин и Бродский» (сравнение шло в пользу Бродского), подписал эту статью «С. Д.», и весь Ленинград был уверен, что это именно я помешался на почве любви к

Бродскому». На самом деле статья «Пушкин и Бродский» («Вестник РХД», № 123, 1977 подписана инициалами Д. С. (не С. Д.), перепечатана из самиздатского журнала «37». Ее автор – не С. Д., и не Дедюлин, а Владимир Сайтанов; может быть, и сравнения «в пользу Бродского», в статье еще нет. Но само сопоставление жизненного пути и творчества Бродского с судьбой нашего национального гения вызывало в ту пору даже у Довлатова ощущение непомерного возвеличения Бродского. С годами это ощущение кощунства искусственно притупилось и размылось: ну, чего там долго рассуждать – оба гении…

Между тем его друг, а в какой-то мере учитель и нынешний воспеватель совершенно спокойно пишет: «Со временем Бродский вообще становится стопроцентно безрадостным поэтом, в его стихах все более и более проявляются элементы необарокко, так как он обладал замечательно изощренным зрением, он умел вытащить метафору из любого положения, из любого слова. И хотя все эти метафоры или минорны, или злоязычны, или презрительны, но тут нет какого-то всемирного наплевательства. Он и по отношению к себе почти всегда выступает с такой отрицательной краской. Вот вспомним, как он себя описывает: «Кариес, седина, стыдно где…» – значит, он себя вполне заносит в тот серый минорный пейзаж, который он создает, глядя на наш мир». Более точную и совершенно антипушкинскую характеристику просто невозможно дать!

Исследователь творчества Бродского и его друг Петр Вайль уже спокойно отмечает, что последние дни Бродского «прошли под знаком первого российского поэта», и книгами, оставшимися после смерти на рабочем столе, были антология греческих стихов и томик пушкинской прозы. Сам же Бродский в заметках о поэтах XIX века писал следующее: «Пушкин дал русской нации ее литературный язык и, следовательно, ее мировосприятие». Бесспорная истина, но Кравченко, как и прочие, словно забывает о пушкинском пророчестве: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» и начинает темнить: «Выстраиваемая Бродским прямая зависимость мировосприятия от языка в его оценке пушкинского творчества соотносима в его собственной поэзии с особой онтологией языка как некой основы бытия, содержащей в себе существование и смысл, ценность и конкретные оценки. Язык, обретающий в поэзии Бродского статус Абсолюта, тем не менее, нуждается в поэте, усилиями которого он и живет, реализуя свою творческую сущность». Туманно, но цель достигнута: поэты рассматриваются в одной плоскости, в равных духовных измерениях, без нюансов: оба классики.

Кстати, и сам Бродский стал с годами дерзко отзываться о

Пушкине. В беседе с Соломоном Волковым он сказал: «Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении семидесяти лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил XX век… Но в Пушкине многого нет не только из-за смены эпох, истории. В Пушкине многого нет по причине темперамента и пола: женщины всегда значительно беспощадней в своих нравственных требованиях. С их точки зрения – с цветаевской, в частности, – Толстого просто нет. Как источника суждений о Пушкине – во всяком случае. В этом смысле я – даже больше женщина, чем Цветаева. Что он знал, многотомный наш граф, о самоосуждении?». Правда, на Толстого, почему-то нелюбимого всеми еврейскими литераторами, в конце тирады съехал, но ореол полноценности, всеобъемлемости Пушкина – затемнил.

Как Маяковский и Есенин, сам Бродский тоже обращается по-свойски к памятнику Пушкину, причем, берет эпиграф из Э. Багрицкого, которого по эстетической, классовой и любой другой сущности должен был бы отторгать. Но нет – чувствует кровное родство с певцом революционных чисток и пускания в расход.

Памятник Пушкину

…И Пушкин падает в
голубоватый колючий снег.

Э. Багрицкий

…И тишина.
И более ни слова.
И эхо.
Да еще усталость.
…Свои стихи
доканчивая кровью,
они на землю глухо опускались.
Потом глядели медленно
и нежно.
Им было дико, холодно
и странно.
Над ними наклонялись безнадежно
седые доктора и секунданты.
Над ними звезды, вздрагивая,
пели,
над ними останавливались
ветры…

Пустой бульвар.
И пение метели.
Пустой бульвар.
И памятник поэту.
Пустой бульвар.
И пение метели.
И голова
опущена устало.
…В такую ночь
ворочаться в постели
приятней,
чем стоять
на пьедесталах.

И эта бытовая, неуместная очевидность – «ворочаться в постели приятней, чем…» подставляй что угодно: стоять на

эшафоте, мерзнуть в окопе, работать под снегом – все, что может предъявить «ровня Пушкину» перед лицом русского гения? Даже и говорить, по существу, не о чем…

Второе потрясение – участие в программе Александра Гордона «Закрытый просмотр», куда я попал… через Турцию. В центре города Сиде находится небольшой уютный отельчик 3*. Я приехал туда открыть купальный сезон в конце русской весны и поработать. А вообще Сиде слывет идеальным местом для влюбленных пар с тех самых пор, когда, по преданию, в городке устроили себе романтическое свидание Клеопатра и Марк Антоний. Что-то ни с работой, ни с влюбленностью не заладилось, и я бродил между античных развалин, возле античного театра с высокими арочными сводами, возведенными во втором веке до нашей эры, и площади, бывшей когда-то невольничьим рынком.

А больше сидел на веранде, возле бара, за бокалом плохого турецкого красного вина – караменыз шарап. Вокруг меня и дамы зрелые крутились, и более молодые современники подсаживались. В незнакомой компании заговорили о поэзии (кому-то, наверное, я ляпнул, что стихотворец), и вдруг блондин по имени Алексей спросил: «А как вы относитесь к Бродскому?» Дело шло к вечеру, я был уже разгорячен слегка и выдал по полной. Суть – коронная: дутая величина! Тут Алексей спросил: «А можете вы это же самое, но чуть помягче, повторить в программе Гордона?». – «Да где хочешь повторю – мягче, жестче…». Помощник Гордона попросил у меня визитку и, действительно, вскоре позвонил в Москве, прислал СД с записанным фильмом «Полторы комнаты». Я в два присеста досмотрел эту тягомотину, да еще наушники пришлось искать для ноутбука, потому что там много бытовых якобы разговоров с помехами, сливающихся бубнящих голосов, заунывного чтения стихов – в основном, Вениамином Смеховым, по-моему.

В общем, подготовился, выписал некоторые цитаты из Бродского, у которого ни одной строфы не могу запомнить, кроме, конечно, цитированной и не осуществленной: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать…» Почитал даже дамские рецензии, они просто кишели восторгами: «Фильм наполнен стихами. Они звучат без надрыва и пафоса, звучат не потому, что в фильме о поэте они непременно должны быть, а потому, что они – концентрированное выражение времени. Подборка и их вкрапления – высоко профессиональны, они не просто произносятся за кадром, но, порой, служат и фоном для диалогов (например, в пивной посетители общаются строчками из Бродского)» или: «Анимация (в т. ч. рисунки поэта), стихи,

хроники, видеозаписи с Бродским – все то, что трудно сочетается, слилось в удивительно органичную по композиции историю. Все, что есть в фильме – уместно, а это особенно важно, когда речь идет о гении, чей образ жив в памяти современников. Здесь нельзя превозносить, но и недооценивать невозможно». Кстати, надо добавить к словам восторженной дамы: в рисунках Бродского – много упитанных котов (по полтора кота!) да и сам он любил фотографироваться с котами на руках.



Мемориальная доска на доме Мурузи в Санкт-Петербурге, где жил поэт

Ну, и конечно, не было пределов умиления по поводу актеров: «Здесь все приемы не новы, но сочетание их выверено режиссером абсолютно. Здесь не возникает желания, как «подрезать» какие-то части фильма, – потому что всего в меру, а один кадр вмещает больше, чем на нем отображено. Вообще это фильм, в котором больше хочется говорить о тех, кто за кадром, может потому, что актеры Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский – вне всяких сравнений, а внешнее сходство и манера речи Григория Дитятковского порой создают документальность истории: так похоже все на правду».

Так что, настроившись смотреть шедевр, я испытал страшное разочарование, но затянутый фильм мне на многое открыл глаза. Я сидел в студии, конечно, на той стороне, где высказывались приглашенные гости, считающие, что этот фильм смотреть не

стоит. В день съемок была страшная жара, чувствовал я себя после бурного общения с друзьями накануне – неважно, но понимал, что выступаю у Гордона два раза – первый и последний, а потому без тени сомнений и дипломатичности ринулся в бой. Высказал все, что думал. Оставили, как всегда, далеко не все. Тогда я решил опубликовать рецензию на фильм, высказав попутные впечатления-размышления. Поразительно, что я нигде не смог ее опубликовать: в «Советскую Россию» прямо утром, по горячим следам, написал другой автор, а все остальные издания – от «Завтра» до «Литературной газеты» – не проявили к статье интереса. Я ли тому виной или Бродский? – не знаю, но в статье, считаю, кое-что дельное высказал. Вот эта не вышедшая статья.

Отступление кинематографическое: торопливо вздрогнул

В иной стране – прости! – в ином столетье
ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну…

Иосиф Бродский

«Ну, вот мы и стали жить в иной стране, в новом столетье. В этой стране 24 мая теперь редко по ТВ вспоминают о празднике славянской письменности и культуры, о дне рождения великого писателя Михаила Шолохова, зато все телеканалы и газеты наперебой обращаются не столько к поэзии, сколько к биографии Иосифа Бродского, который родился совершено не в «свой» день, который в 90-е годы все-таки не захотел приехать в родной Питер даже по личному приглашению мэра Собчака. В году 70-летия Бродского показали не телефильм с инсценировками, как ведется на НТВ – «Точка невозврата» Об этой тенденциозной ленте НТВ, с психушками, слежками, планами угнать самолет и фразами типа: «В колхозе Бродский работал, как все – ***выращивал*** (выделено мною. – *А.Б.*) сено…» даже говорить не буду. Обращусь к двухчасовому полотну режиссера Андрея Хржановского (сценарий Юрия Арабова и самого режиссера) – первому, так сказать художественному, игровому фильму «Полторы комнаты», показанному, натурально, по Первому, конечно, в программе Александра Гордона с обсуждением. Вспомню подробнее: во-первых, в передаче с большим количеством участников всего не скажешь, а, во-вторых, и от сказанного далеко не все остается.

Вспоминая ту конференцию, которой огорошил меня Иркутский университет – «Пушкин и Бродский» – я боялся, что фильм будет сделан в этой плоскости: Пушкин и Бродский, тем более, что город на Неве и политические преследования их как бы объединяют. Но до таких высот создатели фильма и не посягнули подняться. В Центральном доме литераторов перед домашним просмотром я листал книгу Людмилы Штерн о Бродском «Поэт без пьедестала». Более всего мне не понравилась там одна фраза: «Мы были свои, мы были из его стаи». Все-таки, согласитесь, Иосифа Бродского нам лет двадцать подают как

общенационального, а не стайного поэта. Более того, великого поэта XX века, а великие – выше стаи, кагала, нации даже. Я с этим возвеличиванием порой письменно и устно спорил, но вдруг появился фильм, который не вызывает никаких сомнений насчет моей правоты. Более антибродского фильма не снял бы и заклятый враг поэта.

Конечно, ночной просмотр и его обсуждение – это отчасти реклама, промоушен явно неудавшегося, духовно ничтожного фильма, который никогда не пойдет на широком экране, но все-таки надо было сказать хоть несколько слов правды, и я с готовностью пришел в студию, чтобы обозначить, проанализировать причины этого провала. Коллектив картины, судя по титрам, огромный, средств, включая бюджетные, было вложено с лихвой. Но почему же это получилось даже хуже, чем фильм о Сергее Есенине с Сергеем Безруковым в роли поэта? Главная причина, конечно – органическое, патологическое непонимание сегодняшними кинематографистами поэзии, ее природы, ее духовных высот. Нелюбовь к ней! Два режиссера, на мой взгляд, понимали и любили поэзию. Арсений Тарковский как талант и сын поэта, и гениальный Василий Шукшин, вышедший духовно из народной песни. Памятник им и поэту-сценаристу Шпаликову стоит у ВГИКа. Теперь мы имеем ситуацию полного непонимания поэзии и безлюбости, отторгающей лирику. Кажется, что все в этом фильме, где звучат или проборматываются стихи (причем на три голоса), поэзию – не любят. Все поголовно! Мать в исполнении Алисы Фрейндлих – Мася, как зовут ее в фильме (так же зовут кошку моих внучек), припечатывает: «Ты прости, Йося, но мы никогда не понимали твоих стихов». То же самое могут повторить все герои и создатели ленты.

После просмотра фильма даже хотелось защищать Бродского – от расхожих штампов, бытового мусора, от навязываемого 5-го пункта, наконец! Да, фильм мне органически не понравился, но ведь кто-то смотрел его и до меня. Он получил целую кучу каких-то призов – Гордон их долго перечислял. О фильме писали, но как! Процитирую строки из восторженных и потому убийственных рецензий: «Поэту была мала эпоха, и фильм о нем идет на опережение». Каков слог! – «на опережение»…. Чего? – суда времени или программы Гордона?

Верх восторга, журналистский писк: «Не важно, как вы относитесь к Иосифу Бродскому, любите или нет, понимаете или нет, знаете или нет, – этот фильм для всех и каждого. Фильм Андрея Хржановского, как ни парадоксально, менее всего о Бродском». Вот те раз! Тогда зачем его обсуждали по ТВ? Если бы

это был фильм о скромном диссиденте из Ленинграда – колыбели нынешней власти, об одном из Иосифов, названных в честь Сталина – разве бы возникла дискуссия? И наконец, последняя цитата из Эмилии Деменцовой, которая и подсказала эпиграф с названием статьи: «Многое ушло безвозвратно, ушел и Бродский, но он предвидел: «В иной стране – прости! – в ином столетье / ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, и я в могиле торопливо вздрогну». «Торопливо вздрогну» – ужасно непоэтично, просто антипушкински, если вспомнить упомянутую конференцию в Иркутском университете. Но зато перекликается со «вздрогами» Сергея Юрского.

В последних титрах (до них ни один нормальный зритель, даже любитель поэзии – в кинозале или дома – по-моему, не дотянет) сказано: «Авторы заверяют, что фильм является вымышленным произведением». Не понял. Тогда и назовите героя в плохом исполнении Григория Дитятковского просто «поэт» или «Йося» и не морочьте людям головы. Все-таки мы кое-что читали и понимаем, что многие эпизоды здесь продиктованы, навеяны или впрямую связаны с автобиографией Бродского, его беседами с Соломоном Волковым. Например, воспоминание о том, как пытающегося забраться на поезд старика поливают кипятком. Ужасный кадр, но еще страшнее сегодняшние официальные сообщения, что на юго-западе Москвы действует банда, убивающая пенсионеров. То есть бесчеловечная действительность – расширяется и потрясает. Но в ней все-таки есть, выживает поэзия. С ней в фильме – полный крах.

Первая главная неудача – выбор сценариста. Юрий Арабов начинал как стихотворец. Он судит о любом поэте со своих позиций, но забывает завет Крылова – «Суди, дружок, не выше сапога». Какого размера и роста у него сапоги – неведомо. Друг поэта – Евгений Рейн крайне неудачно снялся в этом фильме (слишком грузен и стар для встречи в тех далеких годах) и байка его неуместна с финалом: «Везде и повсюду жиды» – кто мог это сказать на Брайтон-Бич? Такой же еврей. Но своим присутствием в кадре он как бы выразил согласие с позицией создателей. А настоящий поэт должен бы – взбунтоваться! Вот для меня главная загадка – почему принял, из конформизма, из желания засветиться? Ведь в 60-е годы он входил в круг так называемых «ахматовских сирот» (вместе с Иосифом Бродским, Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом), он знает и любит поэзию. Наконец, к юбилею он написал глубокую статью в «Литературку», где сказал о Бродском безжалостно точно: «…Видимо, в нем был и момент моральной опустошенности, чему очень, в общем, соответствует его судьба. Ранние гонения, бедная жизнь, измены

возлюбленной, предательство друзей, расставание с родителями и необходимость выжить в новой среде, в эмиграции, – все это требовало какого-то жесткого и отстраненного взгляда на вещи. И он где-то в душе этот отрицательный циничный взгляд, безусловно, хранил, и некоторые корни его поэзии именно из этого душевного слоя и произросли».

Заметим, кстати, что «отрицательный циничный взгляд» не свойствен ни одному великому русскому поэту – ни гонимому Пушкину, ни трагическому Блоку, ни даже эмигранту Бунину. Кстати, и читатели на форуме «ЛГ» сразу откликнулись в таком духе. Ярослав Домбровский пишет: «Все тот же Бродский… Есть такая поговорка: – «Кукушка хвалит петуха…» Так и автор панегирика о Бродском. Ну, если евреи не похвалят сами себя – кто их еще похвалит? Даже Нобелевский комитет дано уже понял, что оказался в руках политиков, присваивая премии бездарным литераторам не за ЛИТЕРАТУРУ, а за ДИССИДЕНСТВО». Но перед обсуждением фильма ночью меня осенило, почему Рейн согласился так странно сняться. Ведь Бродский назвал его как-то своим учителем. Но после вручения Нобелевской премии этому никто уже не верил: как? – мало известный Рейн учитель!? Но, поглядев фильм, зрителям становится ясно, что учителем подобного Бродского может быть кто угодно: Рейн, Арабов, Сара Моисеевна из соседнего подъезда. Но уж не Батюшков, Баратынский, Платонов и Слуцкий, как оно было на самом деле.

Как же так получилось оно?
Кто натравливал брата на брата?
Что – двоим и в России тесно?
И в Америке тесновато?

Так писал Евтушенко, еще не оскорбленный Бродскими и пытающийся встать с ним на одну доску. Так что, Рейн решил избавиться от второго, чтобы не было тесно?

Иосиф Бродский – имперский поэт, по-своему эпический, отстраненный, хладный (не холодный даже, а – хладный, как Санкт-Петербург). Откуда это взялось, как вырос подобный характер в балтийских болотах? – вот что самое интересное, но опущенное в фильме. Поэт признавался: «Вы знаете, когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом. Ну, нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед появилась опять-таки романтическая идея – начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть, с морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В качестве

помощника прозектора. То есть, я разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Снимал крышку черепа».

Этого в фильме – нет.

Ладно, тут грубость жизни. Но нет и работы Бродского в геологический партии, о которой сам он увлеченно рассказывал! Нет его прикосновения к северной природе:

> Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
> серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
> и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
> вьющийся между ними, как мокрый волос…

В фаршированной рыбе фильма даже случайный волос не попадается. Там нет и тени истинной биографии поэта. Ведь, кроме полутора комнат, куда он похотливо приводил девушек (перегородка с чемоданами тряслась в кадре от экстаза), он все-таки постигал жизнь, оказывался в ее эпицентре.

Анна Ахматова в исполнении Светланы Крючковой появляется на миг с бутылкой водки на переднем плане и предрекает скорый суд над неизвестным поэтом. Но где же ее главное пророчество перед ссылкой в Норинское: «Рыжему делают судьбу (в другом варианте – карьеру)». Ведь в самую точку попала! Здесь – истоки Нобелевской премии.

Самуил Волков спрашивает про ссылку в Архангельскую область:

– А стихи вы там писали?

– Довольно много. Но ведь там и делать было больше нечего. И вообще, это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше – пожалуй, не было». От этого лучшего периода в фильме – одни невыразительные картинки самого Бродского. А ведь туда приезжали и друзья, и любимая, там были написаны самые светлые строки, наконец:

> В деревне Бог живет не по углам,
> Как думают насмешники, а всюду.
> Он освещает кровлю и посуду.
> И честно двери делит пополам.

Создатели фильма двери пополам не умеют делить или не хотят. У них – одна створка. И то больше ресторанно-буфетная. Таких сцен с выпивкой в фильме достаточно. Бродский писал на холодном канцелярите:

Коньяк в графине – цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.



В эвакуации. Череповец, 1942 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика

Тут Некрасов со строчкой «Купец, у коего украден был калач…» – просто Моцарт.

Но если о местечковой Литве – не получилось, то об империи – иногда удавалось, но в стихах, а не в дежурных интервью. Вот как он описывает в интервью Соломону Волкову день смерти Сталина:

«Я тогда учился в этой самой «Петершуле». И нас всех созвали в актовый зал. В «Петершуле» секретарем парторганизации была моя классная руководительница, Лидия Васильевна Лисицына. Ей орден Ленина сам Жданов прикалывал – это было большое дело, мы все об этом знали. Она вылезла на сцену, начала чего-то там такое говорить, но на каком-то этапе сбилась и истошным голосом завопила: «На колени! На колени!» И тут началось такое! Кругом все ревут, и я тоже как бы должен зареветь. Но – тогда к своему стыду, а сейчас, думаю, к чести – я не заревел».

По-моему, это вошло в фильм, но я этой чуши не помню. Мне хватает своего промозглого мартовского дня в замоскворецкой школе № 12. Нас, второклашек, собрала первая учительница Екатерина Никитична в строгом сером платье, всхлипнула и сказала: «Сегодня занятий проводить не будем». Я помчался радостный по Кадашевской набережной домой, шлепая по весенним лужам, но дома на следующий день взял «Пионерскую правду» и прочитал стихотворение какой-то школьницы. Помню его строчки до сих пор. Оно начиналось так:

Мартовский ветер холодный,
Флаги у каждых ворот.
Горе волною огромной
Весь захлестнуло народ…

Бродский любил своего отца-моряка, военного фотокорреспондента, который весьма плох в исполнении Сергея Юрского, похожего на дядю Митю из «Любви и голубей», но не с флота, а из Бердичева. По иронии судьбы, Юрский, сыграв

еврейского отца Бродского, который назвал сына в честь Сталина, потом сам сыграл вождя народа и борца с космополитами в бездарнейшем, сразу забытом телефильме.

Отступление политическое: Сталин и истопник

Вместо рецензии на телефильм «Товарищ Сталин»

Не спала жена, встречает:
– Где ты, как? – душа горит…
– Да у Ленина за чаем
Засиделся, – говорит…

А.Твардовский. «Ленин и печник»

Сталин жил на ближней даче,
Где звенела сосен медь.
И желал (никак иначе)
Тридцать градусов иметь.

Он отбился от народа,
Был врагами окружен
И сильнее год от года
Проклинал друзей и жен.
Жить хотел как будто вечность,
Править миром был готов.
И совсем про человечность
Позабыл. Но вдруг – Козлов!

Лейтенантик, близким ставший,
Не читавший умных книг,
Хоть от робости дрожавший,
Но исправный истопник.

Сталин с ним курил сигары,
Правил в «Правду» матерьял,
Тары-бары-растабары
На тропинках затевал.

Сталин жил на ближней даче,
От завистников устал,
Но Козлов, хлебнувший чачи,

Убивать его не стал.

Верным быть вождю поклялся,
А жена Козлову бряк:
– Где ты, с кем всю ночь прошлялся?
– Пил со Сталиным коньяк…

…Режиссерша И. Гедрович
Смело вывела на свет
Всю властительную сволочь,
Но, конечно, прошлых лет.

Вот зачем в финале близком,
Истопник почти без слов
Остается сталинистом,
Потому что он… Козлов!

Кстати, Бродский называл имперский Андреевский флаг лучшим флагом в мире! Вот пророческие строки, чисто имперские:

Лучше быть голодным и усталым,
Чем холопом доедать объедки,
Лучше быть в Империи капралом,
Чем царем – в стране-марионетке.

Как это злободневно звучит сегодня по отношению ко всем странам, тявкающим на Россию! Но Бродский в нелепой кофте из местечкового фильма никогда бы не написал таких строк.

Сэр Исайя Берлин на вопрос, почему Бродский, уже будучи лауреатом Нобелевской премии, избегал Израиля, подчеркивал:

«…Он не хотел быть еврейским евреем…На вопрос «Кем вы себя считаете? «Бродский отвечал: «Русским поэтом». Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению…». Создатели фильма начисто опровергают это заявление.

Евгений Евтушенко в интервью «Московскому комсомольцу сказал, как отрезал: «Бродский – великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом. Сколько у меня стихов о том, что придет мальчик и скажет новые слова. А пришел весь изломанный Бродский». Именно такого Бродского – из эпиграфа к этой главе – нам и навязывают по всем телеканалам любители проехаться в Нью-Йорк и Венецию для съемок на халяву. Теперь там посибаритничала большая съемочная группа фильма

«Полторы комнаты». Ясно одно после просмотра: Бродского поставили на место, столкнув с усиленно воздвигаемого пьедестала великого русского поэта. Он торопливо вздрогнул, но фильм сработал на правду».

Эта статья, повторяю, не была опубликована, но, готовя ее, я обратился к целому ряду работ и полемик не только о Бродском, но и вообще к современному толкованию еврейской темы в искусстве. Например, неизвестный мне автор Андрей Буровский написал целую книгу «Вся правда о российских евреях», к которой взял эпиграф из А. И. Солженицына: «*Правду всем надо уметь выслушать. Всем на свете. И евреям тоже».* Он там и впрямь рубит правду, как шашкой – направо и налево, демонстрирует начитанность, знание еврейской истории и состав крови всех поминаемых героев. Вот характерный отрывочек: «Национальность семей меняется, хотя чаще всего не за одно поколение. Сохранился прелестный анекдот: как-то на придворном балу к маркизу де Кюстину подошел император Николай I.

– Маркиз, по-вашему, тут все русские?

– Конечно, ваше величество.

– Ничего подобного! Вот это – поляк, вон тот немец. Это – татарин, это – грузин, это – крещеный еврей, а вон там – финн.

– Тогда где же русские?!

– А вот все вместе они русские.

Действительно, а как насчет правнука раввина Александра Блока? Как насчет белогвардейца Абрама Самойловича Альперина, главы Осведомительного агенства в правительстве генерала Деникина? Автора лозунга: «Лучше спасти Россию с казаками, чем потерять ее с большевиками»? Они кто? А автор добрых русских сказок про теремок и про козла, кормившего бабу и деда, Самуил Яковлевич Маршак? Еврей, да? А автор детской классики, Мухи-Цокотухи и Бармалея, еврей по отцу Корней Чуковский?

Или прав еврей на четвертую часть, великий русский ученый Лев Николаевич Гумилев? Прав в том, что есть суперэтносы, этносы и субэтносы? Это уже хоть что-то объясняет: например, то, что Маршак мог быть одновременно этническим евреем и в то же время русским интеллигентом, частью русского суперэтноса.

Не случайно на Западе четко различается национальность как подданство и этническое происхождение, которое в документах не учитывается и является глубоко частным делом. Как цвет волос или привычка поедать морковку на ужин.

Кстати, насчет определения еврея по матери… В том, что некоторые евреи считают «своими» детей именно еврейки, а не

еврея, некоторые видят пережитки матриархата и тем самым доказательство невероятной древности еврейства.

Но многие еврейские народы ведут счет этнического родства вовсе не по матери, а по отцу: китайские евреи, персидские евреи-таты, евреи Йемена. И по отцу, и по матери считает человека евреем Реформистская синагога».

В общем – ничего не поймешь, кроме одного посыла: у многих выдающихся поэтов и ученых была еврейская кровь и потому – особый ум. Этому-то главному интеллектуальному открытию посвящена отдельная главка: «Предательское утверждение». Приведем ее: «Наверное, это очень нехорошее, предательское и возмутительное утверждение. Но я искренне считаю – евреи действительно умнее нас. Нас – это в смысле любых гоев. В том числе и поэтому они составляют заметную часть элиты в любой стране, где евреи есть, а преследование евреев не очень сильное.

Поэтому – а не в силу деятельности масонских лож или тайного мирового правительства.

Евреи действительно интеллектуальнее остального населения Земли, и очень многие явления их истории порождены именно этим. Догнать их – это единственный способ действительно победить евреев, стать «не хуже».

К сожалению, чаще всего христиане выбирали другой путь – путь фиктивной победы. То есть изгоняли, ритуально презирали, игнорировали их превосходство. И придумывали самые невероятные объяснения того, почему «они» успешно конкурируют с «нами». Ведь если «они» – хитрые заговорщики, подлецы, обманщики… Тогда они вовсе и не превосходят нас ни в чем! У них не только можно не учиться… у них нельзя учиться! Ни в коем случае!

История взаимоотношения евреев и христиан – это история векового непонимания друг друга. Виноваты в нем, как всегда, обе стороны, но зададимся вопросом все-таки о своей половинке вины. Почему гои веками не желали ничего слышать о том, что евреи их хоть в чем-то превосходят? Почему так упорно отыскиваются самые невероятные признаки заговора, групповщины, сговора, глобального обмана… одним словом, какой-то нечестной игры?

А потому, что так приятнее думать. Гоям, видите ли, обидно. Как в песенке Окуджавы: «Кричат им вослед „дураки!“, „дураки!“ // А это им очень обидно». Ишь, ходют тут всякие носатые, да еще носы задирают, будто шибко умные!»

Ну вот, и Окуджаву процитировал, не указав, какой он национальности: мол, и так ясно. После таких глав как-то и

развенчивать дутую фигуру малообразованного Бродского неловко становится: просто, дескать, автор завидует признанному гению, который всех гоев в XX веке превзошел. За это его в СССР русские и гробили. Что из того, что топил его, как потом и Евгения Рейна, еврей-авантюрист и карьерист Лернер, о котором Рейн целую новеллу в «Литературке» написал? Имеет ли какое отношение к выдворению Бродского то, что в это время ничего не могло решиться без «грека» Ю. Андропова? Нет, только черная зависть русских, которые носятся со своими Есенинами, Клюевыми, Рубцовыми и Кузнецовыми не позволяют им пасть ниц перед гениальностью Бродского. Но мне, дружившему со многими евреями – студентами, туристами, литераторами, печатавшему лучшие поздние стихи Б. Слуцкого, заочно сделавшего Бродского поэтом, глубоко плевать на вековое превосходство априори. Я хочу понять, в чем внушаемое нам и уж тем более молодым поэтам первенство?

Наша многострадальная страна находится в таком периоде, когда «преследование евреев было не очень сильное», как выражается автор, и евреи впрямь составляют большинство в финансовой, торговой, пропагандистской элите. А ведь были года в XX веке, когда, напротив, они преследовали коренное население, навязывали свое мировоззрение, царили в официальной литературе. Автор «Всей правды о российских евреях» сам приводит ярчайшие примеры антирусской, антиправославной, да, кстати, и антиеврейской поэзии:

«Лирический герой стихотворения Багрицкого отвергает вовсе не русский и не какой-то абстрактный, а вполне конкретный, осязаемый и узнаваемый еврейский быт. Отвергается в первую очередь система ценностей, ориентиров. Ее сторонники, «ржавые евреи», как раз и скрестили острия своих «косых бород», чтобы не дать ребенку коснуться звезды новой жизни.

И медленно, как медные полушки.
Из крана в кухне капала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие…
– Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша – это крыша,
Груб табурет. Убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.

…Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?



С отцом. 1951 г. Фото М. М. Вольперт. Из архива М. И. Мильчика

Автору хочется другого мира – не диалектического, текучего, не стабильного, патриархального… а сюрреалистического, безумного:

И все навыворот,

Не так, как надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево,
И детство шло.

Такой вот мир подарила Эдуарду Багрицкому звезда революционного счастья, а не пускали его в этот чудный новый мир паршивые «ржавые евреи», сдуру полагавшие, что пол находится снизу, и ловившие сазанов в реках, а не в облаках.

Что может удержать юношу в этом скучном, ржаво-положительном мире? Любовь? То, что сказано о любви в стихотворении «Происхождение», я вынес в эпиграф.

Родители?
Но в сумраке старея
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки».

Но ведь и Бродский «ловит сазанов» в холодных облаках и, по сути, порывает со своими родителями-евреями. Вернемся к фильму и образу еврейского поэта.

Мать Бродского умерла в 1983 году, отец – год с лишним спустя. Допустим, что перед этим им не позволили совершить поездку к сыну, который уже перебрался в Нью-Йорк. Но почему он ничего не придумал для встречи в третьей стране, а главное, не приехал на могилу родителей, когда его так звали в Россию с перестроечных времен?

В фильме «Полторы комнаты» есть характерная сцена. Собралась какая-то богемная компания в Нью-Йорке, льется красное вино. Бродский решил под ее шум и гам позвонить маме.

– Ты меня слышишь?

– Я тебя слышу?

– Ты откуда?

– Оттуда.

– Единственное, что мы хотим в жизни – увидеть тебя. Что ты делал вчера?

– Мыл посуду.

– Мыть посуду – это полезно.

– Что ты ешь?

– Сейчас, например, ел омаров. Раков помнишь? Омары еще больше и противнее.

Связь прерывается (намек, наверное, что прослушивают и прерывают «там»). Бродский садится за стол, Рейн дает ему прикурить и рассказывает анекдот-быль: «Идем в темноте. Подходит какой-то тип. Спрашивает закурить – Бродский отдает ему всю пачку. Потом тот говорит: «У вас доллара не найдется?». Бродский дал ему десять. В это время я щелкнул зажигалкой, огонек осветил наши лица, и тогда попрошайка говорит: «Кругом одни жиды!».

Бродский подходит к микрофону и начинает петь, перепутав порядок строк в песне Долматовского и Фрадкина: «После трудов (вместо после тревог) спит городок»… Все подхватывают советскую песню, доходят до строк:

Ночь коротка, спят облака.
И лежит у меня на ладони
Незнакомая Ваша рука…

«Стоп-стоп-стоп! – кричит Бродский. – Вы неправильно поете: надо «и лежит у меня на погоне». Вспыхивает спор. Бродский подходит к старой княгине чуть ли не императорской фамилии, которую у нас в перестройку любили показывать по телевизору, и спрашивает: «Ваше высочество, как надо петь?». Та не к месту сквозь шум декламирует скабрезную частушку. Слышится только две последние строки:

Погляди, честной народ:
Нет, не тот меня е..т.

Смех, гвалт. Тогда Бродский снова набирает телефон мамы.

– Мама, хочу задать вопрос. У нас еще пластинка такая была. Как там пелось: «И лежит у меня на ладони или погоне незнакомая Ваша рука?». Мама поет правильно: «После тревог спит городок… И лежит у меня на ладони…». Потом подходит отец, подпевает. Мама в исполнении Фрейдлих начинает рыдать от нахлынувших воспоминаний, Юрский ее обнимает.

– Мама, что случилось? (Пауза.)

Не дождавшись ответа, сынок спокойно кладет трубку. Очень характерная сцена. А говорят, что мама для еврейского сынка – это все… А каковы стихи памяти матери:

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,

местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, – волнуясь,
ты бы вставила, – не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть, извилин! – вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

Начинается и заканчивается этот бытовой реквием двумя отвратительными метафорами-сравнениями. Первая строчка ошарашивает: «Мысль удаляется, как разжалованная прислуга», и оставляют в недоумении абстрактные города в конце (даже не Петербург, Яков Гордин!), которые рвут сетчатку тоски или снега «дребезжа, как сдаваемая посуда». Уф-ф…

Как мы знаем, Бродский хоронил Анну Ахматову. Вот что пишет Надежда Мандельштам. Правда, надо оговориться: есть две версии «Второй книги воспоминаний», – одна вышла в Париже, другая опубликована в Москве, на волне «перестройки». Вдова поэта, сознательно бежавшего от еврейства, рассуждает: «Откуда взялось столько евреев после погромов и газовых камер? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорционально много. В моей молодости я такого не замечала. И русская интеллигенция была блистательна, а сейчас раз-два и обчелся… Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и полукровки сегодняшнего дня – это вновь зародившаяся интеллигенция». В книге, вышедшей в Париже, конец абзаца несколько красочнее: «Евреи и полукровки сегодняшнего дня – это вновь зародившаяся интеллигенция. Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немного еврей». Сильно сказано и в точку! Именно эту мысль исподволь и стремятся навязать России. Если ты хоть немного

еврей – по крови, вере, пристрастиях, чертах натуры – то можешь претендовать на роль интеллигента. Даже внешние черты при этом – неважны.

Андрей Буровский – автор книги, посвященной еврейке-жене, утверждает, что исследования, проведенные в Европе, доказали, что евреи ничуть не отличаются от тех народов, среди которых живут, и столь бесполезные исследования пришлось свернуть.

Как известно, Бродский был рыжим русским евреем, что в процентном отношении – является редкостью. Полтора рыжих кота, чьи изображения встречаются в его рисунках и навязчиво обыгрываются в анимационных кадрах фильма «Полторы комнаты», и тут попадают в элитный ряд.

В этот круг избранных, если не по крови, особому лицу и якобы наследственному уму, то хотя бы по мировосприятию и смутной поэтике, жаждет попасть огромное количество современных начинающих стихотворцев. Потому-то третьей причиной написания книги о вредоносности Бродского стала тоска по поводу наблюдаемого процесса «йосифления» современной поэзии. Прямым толчком стало участие во 2-м фестивале поэзии и песни «Во славу Бориса и Глеба» в городе моей армейской молодости – Борисоглебске. Поэтический конкурс проводится на нем добросовестно: поэты, в основном, молодые, присылают стихи заранее, в областном центре Воронеже работает строгая отборочная комиссия под председательством Александра Нестругина – автора многих книг, а по профессии – юриста, судьи. Мне как председателю жюри предложили подборки возможных лауреатов, в том числе, претендентки на «Гран-при» фестиваля Натальи Рузанкиной. Она историк по образованию, преподаватель Общецерковной истории Саранского Духовного училища, член Союза писателей России с 2009 года, автор трех книг и лауреат премии Главы Мордовии. То есть профессионально, конечно, опытней и выше многих конкурсантов. Начал читать заглавное стихотворение:

* * *

Я хочу от России очнуться внезапно,
Где-нибудь в небесах, в васильковом дыме,
Повторяя губами тысячекратно
Словно сон, ее забытое имя.
Я припомню все, что было не с нами,
Отчего так долго и зло болели:
Ледяное зарево над глазами,

Крик колес, и холод вечной шинели.

Это строфа повеяла чем-то знакомым – из поэзии Бродского: «очнуться от России», «все, что было не с нами», «холод вечной шинели». Дальше пошло хорошо знакомое, то, что Синявский (Абрам Терц) называл «стилистическим расхождением с советской властью». Правда, времена были как-то перепутаны: о какой России пойдет речь?

Почему нас с тобой тогда не убили
Где-нибудь у стены, заросшей бурьяном,
Почему в лучах полуденной пыли
В зеркалах наши лица, как в древних рамах?
Я хочу проснуться от *этой* России,
От дождливых лиц, от просторов душных,
Я хочу лежать в незабудках синих,
Угасая с той, великой, минувшей.
Опустеют поля, пересохнут реки,
И последний воин ее покинет,
А я с ней и в ней на вечные веки
В этом сне. А спящие сраму не имут…

Да нет, Наталья, подумалось мне: спокойно спящие, зная, что творится в нынешней России – срама имут! Но знакомый отзвук поэтики Мандельштама и особенно Бродского чудился в «дождливых лицах», в «лучах полуденной пыли», в других строчках. Наконец, Рузанкина сама открыла карты.

* * *

Все крепко спят в объятьях крепкой тьмы,
А гончие уж мчат с небес толпою,
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
Рыдаешь здесь один, впотьмах, с трубою?

Иосиф Бродский. «Большая элегия Джону Донну»

Когда подул сквозняк виолончели,
Выстуживая своды добела,
Как высоко, как празднично горели
Два ангельских заточенных крыла!

Был воздух церкви пряничен и мягок,
И медом в сотах плавилась звезда,
А мы вошли, и, не снимая шапок,
Приблизились к предвестнику Суда…

Тут не в эпиграфе даже дело. Кстати, содержательной и лексической переклички особой в стихотворении и нет, кроме строфы:

Лишь два крыла заточенные возле
(чего и кем заточенные? – *А.Б.*)
Напоминали о Верховном дне,
Но спали: меч, труба и свора песья
Тех гончих, что пойдут с небес во мгле…

Суть – в самом неуловимом подходе и следовании кумиру при выстраивании стиха, при отборе образных средств и поиске интонаций. А ведь Рузанкина из глубинной Мордовии – одаренный поэт, и в цитируемом стихотворении есть замечательная, образная строфа:

Архангел спал. И, как фарфор, был тонок
Весь этот мир, стоящий на китах,
Спал, розовея, плача, как ребенок,
Запутавшийся в луговых цветах…

Сидел и думал над ее стихами: как бы она сама не запуталась в дебрях стилистики Бродского и еще: как не присуждать ей вопреки решению остальных членов жюри «Гран-при»?

Моя дипломатическая задача упростилась: оказалось, что она не почтила фестиваль своим присутствием, даже несмотря на намеки организаторов, что ей светит награда в виде сертификата на бесплатное издание книги.

Я сказал коллегам: «Давайте заочно никому наград не присуждать. Это же фестиваль: пусть выйдут победители на сцену Борисоглебского театра, прочтут свои стихи, получат прилюдно завоеванное».

Но сам факт такого влияния на одаренную, образованную поэтессу – преподавателя Духовного училища меня поразил…

Хотя и сам Бродский впитывал творчество своих предшественников. Он не раз подчеркивал, что своими учителями считает Кантемира, Державина, Баратынского, Вяземского.



С матерью. 1946 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика

В XX веке – Ахматову, Пастернака, Заболоцкого, Клюева. Из последнего поколения – Слуцкого. Вот лишь некоторые истоки. Александр Блок:

И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,

и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.

Вот Державин – в стихах «Маршал Жуков»:

Маршал! поглотит алчная
Лета эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

Вот строки из «Рождественского романса», посвященного Евгению Рейну:

…и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Это – Анна Андреевна и ее окружение.

И, конечно, стилистически Бродский был совершенно ушиблен стихами Марины Цветаевой. Евгений Рейн пишет: «В его поле зрения, видимо, попали советские поэты 20-х годов: Тихонов, Багрицкий, Сельвинский, и его поэтика сильно изменилась, он не стал стопроцентным подражателем, но он резко отошел от этого своего переводного модернизма и стал писать иначе. «Воротишься на Родину, ну что ж…» или «Не забывай никогда, как плещет в пристань вода». Однако, по всей видимости, его это тоже мало устраивало. Он искал что-то другое, искал и нашел.

Я прекрасно помню момент, когда это случилось. Это было седьмого ноября 61-го года. У нас был удивительный приятель, который уже умер, – Борис Понизовский. У Понизовского была квартира на Коломенской улице в Ленинграде. И наша компания часто там собиралась.

Мы собрались по поводу седьмого ноября, хотя никто из нас седьмое ноября, естественно, не отмечал, просто удобный случай для того, чтобы поболтать и выпить. И кто-то из моих московских приятелей, Валя Хромов или, может быть, это был Леня Чертков, приехал из Москвы и привез машинописные перепечатки поэм Цветаевой. (В те времена было заведено, что на ноябрьские

праздники ленинградцы ездили в Москву, а москвичи – в Ленинград.) Это были «Поэма Конца», «Поэма Горы», «Царь-девица» и «Крысолов». И эти поэмы они передали мне, причем я должен был их вернуть дня через три, когда приятели уезжали обратно в Москву. И так как прочесть эти поэмы каждый из нас за столь короткий срок не успевал, то мы собрались у Понизовского и, попивая сухое винцо, стали их там читать вслух с листа. И, наверное, на Бродского это произвело громадное впечатление. Он подошел ко мне и сказал, что умоляет меня дать ему на одну ночь всю пачку Цветаевой. И я ему на одну ночь эту пачку дал. И, видимо, это так совпало с умонастроениями Бродского в тот момент, что он сделал решительный поворот в сторону Цветаевой.

Немедленно в его стихах стала проявляться цветаевская техника, с ее таким витым, веревочным стихом, со всеми цветаевскими настроениями и идеями. И приблизительно в это же время он задумал поэму «Шествие», которая чрезвычайно похожа на Цветаеву, особенно на «Крысолова», буквально во всех отношениях. От конструкции, введения отдельных персонажей, самой техники стиха до максималистских, цветаевских идей. Это цветаевское влияние, оно очень обширно и значительно в творчестве Бродского, однако в таком чистом виде оно проявилось главным образом в поэме «Шествие». К этому времени он уже как бы созрел для того, чтобы создать нечто свое, и в некоторых его стихах, скажем, 61—62-го годов, это отчетливо проявляется. Им еще владеют такая цветаевская энергия, цветаевский звук, мелос, но стихи уже можно считать вполне «бродскими», если можно такой термин употребить».

Так вот, многие поклонники и эпигоны Бродского, в отличие от него, не обращаются к первоистокам, а сразу начинают эпигонствовать, брать самое худшее из стихов кумира: нарочитую усложненность, канцеляризмы и бытовизмы, многословие и невнятицу.

Он учился, конечно же, и у Ахматовой, а потом стал открещиваться от благородного влияния. Сегодня же вообще творится незнамо что. Приехал из упомянутого Борисоглебска, купил ради телепрограммы пятничный номер «Московского комсомольца», а там – статья уже о второй книге «Анти-Ахматова» некоей авторши, которая не писательница, не литературовед, даже не филолог! Она – педагог-дефектолог. Не стану ни фамилию называть, ни в ненужную полемику вступать. Замечу только, что рукопись «Анти-Ахматовой» была окончена в 2005 году и принята в работу петербургским издательством «Лимбус Пресс», главным редактором которого был в то время известный

критик Виктор Топоров, написавший к книге предисловие.

Кто-то утверждает, что и всю книгу он написал.

Меня потрясает само время, которое нам досталось в литературе. В 2008 году «Анти-Ахматова» вышла одновременно в двух сериях (одна из которых была создана под «Анти-Ахматову») с разными обложками в минском издательстве «Современный литератор», входящем в издательскую группу «АСТ». Издание 2008 года вышло с самой незначительной редакторской правкой, в нем не были исправлены даже самые грубые ошибки предыдущего издания почти в 600 страниц помоев на Анну Андреевну. Обычно корректная актриса Алла Демидова не сдержалась в адрес авторши: «Анти-Ахматова» – ужасная книжка, написала ее какая-то, простите меня, баба, которая говорила, что Ахматова только и занималась тем, что делала свою биографию, совершено забывая о том, что стоит за творчеством Ахматовой».

Зато неизвестный поэт по прозвищу Игорь Сид очень ее похвалил: «Очень давно не возникало этого ощущения: ВЕЛИКАЯ КНИГА… «Анти-Ахматова» величественна не в литературном или научном смысле, – конечно, можно высказать к ней много локальных претензий, – а в плане философском и социокультурном. Книга наконец-то развенчивает миф об Ахматовой, который весь опирается на вековечную российскую потребность в создании кумира и бездумном ему поклонению. Представлен колоссальный фактологический материал…» Но там все факты были – не новы.

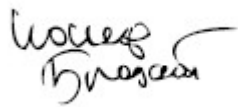
Почти сразу по выходе «Анти-Ахматовой» Елена Чуковская через «Российскую газету» заявила о нарушении своих прав на написанные ее матерью «Записки об Анне Ахматовой»:

«К своему изумлению, я обнаружила, что из 560 страниц 61 страницу занимают надерганные цитаты из «Записок об Анне Ахматовой» моей матери Лидии Корнеевны Чуковской. Я бы хотела подчеркнуть, что Лидия Корнеевна никогда не разрешала печатать отрывки из своих записок, сколько ее ни уговаривали. Потому что всегда считала, что никакая часть не передаст целиком облика ее героини – Анны Ахматовой«.

И вот – «МК» рекламирует вторую книгу дефектолога. Вспомнил я сей гнусный факт не только потому, что это стало какой-то последней каплей, переполнившей чашу терпения, налитую всклень всем вышеперечисленным, но и потому, что всплыли раздумья: надо ли развенчивать саму биографию Бродского, так удачно построенную незадачливыми преследователями и последователями, присочиненную им самим и его восторженной «своей стаей» или все-таки больше касаться духовно-поэтической, нравственной стороны этого вредоносного

явления – огромного, как полтора кота, по имени Бродский?

Ну, а самый мой прагматический вопрос был: найдется ли издательство для книги «Анти-Бродский», если условно повторить тип издания? – вообще повисал в воздухе. Но я все-таки написал эту книгу, разбив ее на главы, состоящие из моих раздумий и критических суждений, чужих статей, где панегирики разоблачают Бродского безжалостней, чем поношения, интервью с ним и его апологетами, стихов и воспоминаний его эпигонов и товарищей по эмигрантской среде. Пестрое собранье глав получилось, но, по-моему, объемное и объективное.



Великая мать Ахматова и сокращенный христианин

Кот – это такой сокращенный лев.
Как мы – сокращенные христиане.

Иосиф Бродский



Иосиф мяукал за столом и в школьном хоре, он признавался, что если кем-нибудь и хочет стать в будущей жизни, так только усатым и хвостатым. Рыжий кот – излюбленная автоаллегория Иосифа Бродского. Поэт всю жизнь ассоциировал себя с котом: и в переносном смысле – когда писал о том, что коту безразлично, какая власть на дворе, и в прямом – «Я понял, что я – кот», что в прошлой жизни был котом, и в будущей хотел бы им оставаться. Он даже придумал свой особенный мяукающий язык. Да и в манерах, и в личности Бродского знакомые находили много кошачьего. Это первой заметила Анна Ахматова. Когда Бродскому был 21 год, он был представлен Анне Андреевне. Юный поэт преподнес ей букет цветов и тетрадку со своими стихами. Про одно из стихотворений – «Народ» Анна Андреевна обмолвилась: «Или я вообще ничего не понимаю в поэзии, или это гениально». Многие авторы панегириков Бродскому считают, что это признание совершенно лишено многозначительности и ироничности. Напрасно. Помню, Марк Соболь и Марк Максимов рассказывали мне в литературной поездке, как поэты в Ленинграде стали допытываться у Ахматовой: «Как Вам Иосиф Бродский?» – «Гениальный поэт» – «Ну, а перед лицом великой русской поэзии» – «Посредственный, конечно» – «Ну, а перед Богом, Анна Андреевна» – Ахматова только вздохнула…

Английская профессорша Валентина Полухина пишет в своей статье «Ахматова и Бродский (к проблеме притяжений и отталкиваний)»: На сегодняшний день больше сказано о родстве

двух поэтов, чем об их расхождении. А между тем сама Ахматова заметила уже в ранних стихах Бродского нечто чуждое ее собственной поэтике, выразив это недоумением: «Я не понимаю, Иосиф, что вы тут делаете: вам мои стихи нравиться не могут». На ее глазах лирика Бродского лишалась простоты, менялась в сторону абстрагирования эмоций, пропитывалась философской рефлексией. Ахматовскому немногословию предпочитались длинные логические рассуждения, ее скупой метафоричности – пир изощренных метафор, построенных нередко исключительно на остроумии и парадоксе. Учитывая и другие характерные черты поэтики Бродского, например, столкновение возвышенного и вульгарного, введение в лирику всех подсистем языка от научной терминологии до мата, культивирование усложненной строфики, увлечение составными рифмами и анжанбеманами, что ведет к иному, чем у Ахматовой, построению строки, строфы и образов, нам придется усомниться в их стилистическом родстве.

Говоря о своих отношениях с Ахматовой, Бродский с благодарностью признает, что именно она наставила его не то что на путь истинный, но с нее-то все и началось. И… «стихи ее мне чрезвычайно нравились и нравятся, но вместе с тем… вместе с тем, – говорит он, осторожно подбирая слова, – это не та поэзия, которая меня интересует».



На лыжах. 1950 г. Из архива Я. А. Гордина

Детальное сравнение стихотворений двух поэтов, написанных в разной художественной манере, показывает, что процесс ассимиляции наследия Ахматовой в поэзии Бродского не так прост. Предметом сравнительного анализа могут послужить их «венецианские» стихи. Среди нескольких стихотворений,

посвященных Венеции, у Бродского есть одно, которое содержит прямую отсылку к ахматовской «Венеции» в незакавыченной цитате «золотая голубятня»:

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.
Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любил меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принюхиваются к объедкам,
и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней
сильно сверкает, зрачок слезя.
Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного теченья, прячется в перспективу.

1985

Ахматовское стихотворение открывается позаимствованной Бродским двойной метонимией, намекающей на обилие в городе золотых куполов и голубей:

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Столько нежных, странных лиц в толпе,
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте,
И не душно в сырости и зное.

Август 1912

Прежде всего эти стихотворения, – вещает Полухина, –

отличаются друг от друга своей метрической формой…».

Да не формой и размером, а – всей сутью! И это прекрасно чувствовал сам Бродский. Любопытно, что за несколько лет до написания стихотворения «В Италии» Бродский на вопрос Соломона Волкова: «Имела ли для вас значение русская поэтическая традиция описания Венеции – Ахматова, Пастернак?», ответил отрицательно, заметив при этом: «То есть ахматовская «Венеция» – совершенно замечательное стихотворение, «золотая голубятня у воды» – это очень точно в некотором роде. «Венеция» Пастернака – хуже. Ахматова поэт очень емкий, иероглифический, если угодно. Она все в одну строчку запихивает». (Венеция: глазами стихотворца. Диалог с Иосифом Бродским. – Альманах «Часть речи»). «Она все в одну строчку запихивает» – нефилолгическое определение принципиальной разницы между русской классической поэтикой Ахматовой и бесконечным, якобы метафоричным бормотаньем Бродского с канцеляризмами вроде: «Утратив контакт с объектом…».

А главное, Ахматова никогда бы не приняла посыл всех апологетов Бродского, в том числе и Полухиной: «Я считаю, что Бродский действительно своего рода Пушкин XX века – настолько похожи их культурные задачи». А какие же это задачи? Помню, в одной из радиопрограмм в день рождения Пушкина были приглашены какой-то молодой поэт и почетный старец Лихачев. На вопрос ведущей, в чем же непреходящая ценность Пушкина? – стихотворец начал что-то мямлить про вечный поиск формы, про тематическую всеохватность, а литературовед был краток: «Пушкин выразил национальный идеал!». Вот она – главная задача поэта. Какой же идеал и какой национальности полнее всего выразил Бродский? Думаю, англо– и еврейско-американский. Ну, об этом мы еще не раз поговорим.

Бродский посвятил Ахматовой в марте 1972 года свое стихотворение «Сретенье».

Сретенье

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма…
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он – твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься…

Кончаю цитировать длинное стихотворение, потому что и так видно, сколько в нем тяжеловесных, искусственных, совершенно не ахматовских строк и оборотов речи!

С 1962 года и до конца жизни Ахматовой ее литературным секретарем был Анатолий Генрихович Найман, который родился в 1936 году в Ленинграде. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист окончил Ленинградский Технологический институт (1959). Вместе с Бобышевым, Бродским и Рейном принадлежал к кругу опекаемых Ахматовой молодых поэтов. Автор воспоминаний: «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), которые в 1991 году вышли по-английски с предисловием Бродского. В Москве, где Найман живет с 1968 года, опубликованы его переводы поэзии трубадуров, старопровансальских и старофранцузских романов. В

юношеских стихах Наймана слышатся голоса Блока, Пастернака и Заболоцкого, а в зрелом возрасте он следует акмеистическому канону, пользуясь классическими размерами, ясным словарем и синтаксисом. В общем, по форме – «Анти-Бродский». Для Наймана основной единицей стихотворения является не фраза, а слово, хотя своей образностью и медитативно-элегическим тоном, окрашенным иронией, Найман близок поэтике Бродского, питающейся из того же источника. В послесловии к «Стихотворениям Анатолия Наймана» (1989), первому сборнику поэта, Бродский отмечал, что в творчестве Наймана «двух последних десятилетии нота христианского смирения звучит со все возрастающей чистотой и частотой, временами заглушая напряженный лиризм и полифонию его ранних стихотворений». Найман написал одну из первых серьезных статей о творчестве Бродского, которая появилась в качестве вступления к сборнику «Остановка в пустыне» под инициалами Н.Н. Несколько его последующих эссе, докладов и статей о Бродском отличаются точными наблюдениями, оригинальным анализом и хорошим слогом. В 1992 году в Лондоне вышла книга прозы «‘Статуя Командира и другие рассказы», Найман продолжает работу над прозой, он опубликовал в периодике роман «Поэзия и неправда», завершил работу над книгой рассказов «Славный конец бесславных поколений».

Найман вспоминает: «Биограф Бродского Валентина Полухина интервьюировала меня на пути из Ноттингема в Стратфорд-на-Эвоне. Дело было в автобусе, я сидел у окна, с моей стороны пекло солнце, деваться было некуда, поэтому вопрос «Когда вы поняли, что он великий поэт?» (или даже «гений»), я отнес к общему комплексу неприятностей этой поездки и огрызнулся, что и сейчас не понимаю. Охладившись, подумал, что все-таки вопрос поставлен некорректно, некорректность в слове «когда»: когда, начав с его 19, а моих 22 лет и потом годами видясь чуть не каждый день… можно вдруг сказать: «Это не он; это великий поэт Бродский»?

Считаю, что в главе об Ахматовой и Бродском уместно повторить фрагменты интервью с Анатолием Найманом, которое он дал 13 июля 1989 года в Ноттингеме. У нас с детства на слуху знаменитый город и лес под ним из романтичных баллад о Робин Гуде. В этом интервью романтики – мало, но оно дает ощущение поэтической атмосферы тех лет, когда В Ленинграде все дышало поэзией, а в Комарове жила и творила Анна Ахматова.

– Расскажите о вашем первом впечатлении от встречи с Иосифом.

Я думаю, что это было году в 58-м, наверное. Тут может быть

ошибка в полгода. Если это так, то мне было 22, ему 18. И в 22 года меня, смешно сказать, уже была некоторая репутация, которая казалась мне тогда не некоторой, а весьма основательной, то есть в том кругу Ленинграда, который интересовался поэзией. А он был достаточно широк, несмотря на свою арифметическую узость. И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать. Я хочу подчеркнуть, что это не надо воспринимать как что-то касающееся конкретно Бродского. Тогда он был не один такой. Это в молодом поэте есть. Говорю по собственному опыту и по тому, что наблюдал тогда и наблюдаю с тех пор всю жизнь. В поэте есть то, что люди называют настырностью. Ему во что бы то ни стало надо прочесть только что написанное стихотворение. Причем, как сказал поэт, «чем больше пьешь, тем больше хочется, а жажда все не отпускает». И только что ты прочитал, услышал отзыв, – причем, разумеется, когда тебе 18 или 20 лет, какой бы ты ни услышал отзыв, ты вынимаешь из него только ту часть, которая свидетельствует о том, что твоему слушателю стихотворение понравилось, во всяком случае, не понравилось… Так вот, едва только ты выжал одного слушателя, ты сразу же ищешь другого, как такой ненасытный паук. Таким был, естественно, в 18 лет и Бродский, но умножьте на то, что мы знаем о нем о позднейшем, то есть, что это сильный темперамент, энергия, и вот вы получите этого рыжего малого. Его все время в краску бросало. Если про него, тогдашнего, сказать, что он побледнел, это значит, что он остался просто румяным. И это не качество, а существо. И это не только мое впечатление. За это я сохранил к нему до сих пор нежность настоящую.

С первого раза, в те его 18 лет, я увидел перед собой человека, которому было невыносимо почти все то хамство, почти весь тот ужас, почти вся та пошлость, которая и есть окружающий его мир. Более того, так же точно его мучили его собственные стихи. Он читал стихи, и почти все в них во время чтения ему не нравилось. То есть вообще стихи его были им очень любимы, это было видно, что он любит эти стихи. И вместе с тем, он почти все время себя перебивал жестами, ударами, знаменитыми своими ударами по лбу, от которых другой бы лоб давно раскололся, пробормотываниями каких-то строчек, потому что они ему казались явно никуда не годными, какими-то прокрикиваниями, торопливостью какой-то в чтении других строчек. Короче говоря, он читал, реагируя беспрерывно на чтение собственного стихотворения. Но стихи были слишком экспрессивны для меня тогда. В них было очень много крика и очень мало структуры. Это

я говорю нынешними словами, а тогда они просто показались мне лишними в моей жизни. Мне этого было не нужно. Поэтому я запомнил только одно стихотворение, наверное, это известное стихотворение, но я больше с ним никогда не сталкивался, как и вообще со стихами того времени. Я не перечитывал Бродского, а книжку, которую он мне, кстати говоря, подарил, у меня украли. И когда мне иногда нужно обратиться к этой книжке, я только вспоминаю вора, которого я знаю. Тех стихов, короче говоря, я больше не видел. Это были стихи, в которых, я помню, были большие вагоны. И вдруг это стихотворение на фоне всего этого крика, на фоне чуждого мне поэтического хаоса, – вдруг втянуло меня в себя. Как всегда бывает, знаете, ты слушаешь ушами, головой, и вдруг клюнуло куда-то и пробило оболочку. Я сказал после этой встречи: «Да, благодарю вас. Да, спасибо». Мы тогда подчеркнуто были какими-то такими неслыханными сэрами и джентльменами, которых на свете не бывает, то есть в реальности. По-моему, он пришел ко мне от Рейна: тогда это тоже учитывалось, от кого и к кому кто пришел. Тогда очень важна была рекомендация. Если не ошибаюсь, мне позвонил Рейн и сказал: «К тебе придет вот такой малый». Он пришел и сказал: «Меня к вам Рейн послал». И я потом Рейну сказал, что ну, все, да, понятно, талант, но у меня, мол, другие заботы сейчас. Я это к тому хочу сказать, что никакой пылкой дружбы сначала не возникло. И так проходили недели.

Ну, в молодости ты особенно эгоист, это всем известно. Я хочу, чтоб это было понятно, чтоб не было такого впечатления, что вот жил в Ленинграде, было в нем звездное небо, состоящее из звездочек той или иной величины, потом вдруг вспыхнула невероятная звезда. На самом деле, я вспоминаю, таких тогдашних Бродских было человека три в Ленинграде. Одного даже звали Иосиф. Ну, фамилия там какой-нибудь Бейн. И еще кто-то такой. Тоже такие громкие, громкоголосые евреи, которые читали стихи. Их все время тоже выпихивали откуда-то. С ними была связана репутация, подрывавшая миропорядок. Так что он был не один такой тогда. Он жил в атмосфере общего неприятия, неприятия человека, от которого можно ждать неприятностей, однако сдобренной преданностью и любовью к нему нескольких людей. Например, очень преданной ему тогда была Оля Бродович и еще несколько человек. Нежность к нему и теплота возникали непроизвольно: как, например, у меня – несмотря на ту первую отчужденность.

– А как он примкнул к вашей группе?

Не то чтобы у нас было какое-нибудь специальное заседание совета, чтоб Бродский примкнул. Прошло некоторое время, и

оказалось, что мы беспрерывно видимся и даже проводим массу времени вместе, знаем все друг про друга. Хотя в это время мы женились, у нас были какие-то путешествия, какие-то увлечения и т. д., но впечатление того, что мы проводим массу времени вместе, оставалось. Во-первых, скажем, возлияния, чтение стихов в каких-то небольших собраниях, может быть, даже ежевечернее в какие-то сезоны определенные, но, кроме того, еще и жажда чтения стихов друг другу. Мы жили примерно в одном районе. От Рейна до меня было ходьбы 5 минут, а до Бродского от нас было 4 или 5 остановок. И он жил как бы на середине между Бобышевым и нами. Что касается меня, то несколько раз в день он мне звонил, я ему звонил. У него была, например, такая «остроумная» шутка. Он звонил – при том, что телефоны прослушивались явно, и даже люди стояли в некоторые минуты у подъездов, особенно когда иностранцы какие-то приезжали – он звонил и говорил: «Але, это квартира Наймана? Это вам из КеГеБе звонят».



На аэродроме в Якутске. 1959 год. Фото Я. Гордина

И чтение стихов по телефону, и чтение стихов при встрече. Я описал в книге, как он читал мне «Большую элегию Джону

Донну», только что написанную, еще горячую, в железнодорожных кассах, к ужасу всех стоящих в очереди за билетами. Надо сказать, что антагонизма между группками нашими не было. Разумеется, мы уважали больше всего себя. Например, я говорил кому-то: «Если бы я хотел писать такие стихи, как ты, я писал бы такие стихи, как ты. Но я пишу такие, какие пишу я, потому что мне их хочется писать». Скажем, была группа: Еремин, Уфлянд, Кулле, Виноградов и Лосев (Леша Лифшиц). И мы к ним относились, как к друзьям. Мы отдавали должное тому, что они пишут. Из Москвы приезжали… Долгое время в моем сознании, и не только в моем, безусловным поэтическим лидером времени, бесспорным, был Стась Красовицкий, москвич. Их было три очень талантливых поэта – Красовицкий, Хромов и Чертков. Я ни с кем совершенно не собираюсь вступать в полемику. Я просто действительно их считаю замечательными русскими поэтами. Другое дело, что Красовицкий в начале 60-х годов отказался от поэзии. Хромов продолжал писать. С Чертковым свои случились всякие злоключения. Не говоря уже о том, что он попал в лагерь, потом уехал за границу и т. д. Мы смотрели друг на друга с некоторым высокомерием, но все понимали, что высокомерие – это просто тот костюм, который надо на себя надевать. А на самом деле мы относились друг к другу с искренней доброжелательностью. Честно говоря, с некоторым недоверием смотрели на так называемую группу «горняков». У них был курс на публикацию. И они все очень быстро стали публиковаться.

– Кто входил в эту группу?

Британишский, Кушнер, Агеев, Кумпан, Битов, Королева, Горбовский. Они были безусловно одаренные люди. Горбовского мы очень любили. Вообще, талант – вещь очень редкая, как мы знаем. И в таланте есть обаяние. Если человек не совсем уж сбрендил на себе и не все время думает о том, как ему сохранить скорлупу, в которую он себя запер, то талант его очень легко пленяет. А Горбовский был и, я думаю, есть, никуда это не ушло, необыкновенно талантлив. Тут не надо было задумываться, за что любить его стихи. Мы их любили так же, как его поведение. (Так же и Голявкина любили: это талантливый прозаик, совершенно недооцененный. Он несколько замечательных книг издал. Тут тоже была пленительность таланта.) Что касается остальных «горняков», или членов литературного объединения Горного института, то их держали немного взаперти, как в таком хорошем колледже, знаете, чтобы они не путались с уличными, хотя они из себя изображали как раз уличных. Но они могли заразиться от нас наплевательским отношением ко всему, что могло быть

названо сколько-нибудь официальным. А тогда, да и до последнего времени, нельзя было ничего напечатать без хотя бы тонкого яда официальности.

На особом несколько положении стоит Кушнер, потому что ему удалось застолбить свое место в первых вышедших книгах, то есть с самого начала он получил право на свой голос, на свой тембр голоса, на индивидуальную, ненавязчивую интонацию. Что касается остальных, то давность бьет содержание. Когда я кого-то из них встречаю, я знаю, вот более или менее «свой» человек. Очень многое можно сказать полусловами. Но то, что они писали, мне никогда в рот не лезло. Честно говоря, это было еще и скучно очень…

На чем мы остановились?.. В те годы, когда тебе 23-4-5-7, фокусировка подворачивается довольно быстро. Итак, какая-то в нас четверых появилась сплоченность. Мы понимали… мы могли сказать о стихах друг друга в каком-то мычании или в точной фразе, неожиданно прозвучавшей, мы сказали уже что-то такое, что потом требовались какие-то жесты или какие-то «бу-бу» или «му-му» для того, чтобы была понятна твоя оценка того, что твой товарищ написал. Так продолжалось до 64 года, когда начались некоторые личные события в нашей жизни. И тогда прошла трещина в личных отношениях. То, что нас сплотило несколько лет тому назад, отменить уже было нельзя, да и не нужно было отменять. Но прошла личная трещина, и постепенно судьбы разошлись, и не потому что это вот наши конкретные судьбы, а потому что совершенно естественно, когда собираются четыре индивидуальности, то они расходятся. И можно только удивляться тому, что они так близко сходятся.

– Именно потому, что никому из вас не надо было занимать ни ума, ни таланта, как началось и заметно ли было выделение Иосифа среди вас, и чем? Или тогда, до 64 года, до возвращения из ссылки, он как поэт среди вас не выделялся? Когда вы начали сознавать то, что мы сейчас зовем Бродский?

– Давайте я буду только за себя отвечать. Тут мы переходим, собственно, к самому существу этого интервью. Сначала я отвечу на ваш конкретный вопрос. Он очень быстро рос, что называется. Я употребляю слово «рос» в метафизическом смысле. Эти четыре года разницы сохранялись. И вместе с тем через 3–4 года мы были ровня во всех смыслах. Мы не ощущали его более молодым ни в каком смысле. А дальше я буду отвечать только за себя. Дальше началось то, что называется известностью. Сперва знаменитый судебный процесс. Он стал фигурой под прожекторами. Он вел себя на процессе безукоризненно. Он показал то, что было для меня, знаете, щемящим. Была в его поведении такая

привлекательность, от которой даже щемило сердце. Он все время был беззащитным человеком, при этом в той степени высоты человеческой, что можно было, посмотрев на его поведение во время процесса и во все это время, вдруг вспомнить, что человеки, они вот такие могут быть, а не только совершать непорядочные, неблагородные или обыкновенные поступки, не только жить обыкновенной жизнью. Вдруг увидели, что вот это вот незащищенное, в каждую секунду готовое к гибели существо держится с таким достоинством. Этому стало сопутствовать радио. Знаете, тогда Би-би-си или «Голос Америки» были как голоса из заоблачных высей. И вот «Голос» говорит: «Бродский… Бродский… Иосиф Бродский». То есть начинается вот эта сторона славы. Подавляющее большинство людей тогда начали восклицать: «Она пришла! Она пришла сама!». Это были люди, которые начали говорить: «А вы знаете, какие он стихи замечательные пишет!» Он не стал писать стихи более замечательные, чем он писал до того, как «Голос Америки» и Би-би-си начали повторять его имя. Не то чтобы что-то качественное изменилось в нем, но после условного «Голоса Америки» вдруг эти стихи оказались замечательными. Это имеет, как сейчас говорят, обратную связь. Это подействовало и на самого Бродского. Ну, я знаю этот механизм на себе: ты как-то должен себя вести соответствующим образом.

Я могу утверждать, что Иосиф не был высокого мнения о людях, которые его окружали. Он этого не скрывал и как-то даже давал понять людям, что он о них невысокого мнения. И вот изумление мое: людям было приятно, что он показывает, что он о них невысокого мнения. Им ведь нужен товарищ Сталин в самых разных областях. Я этого всего совершенно не принимал. Больше того, когда видишь, что все заодно, то начинаешь этому все больше и больше сопротивляться. Я, естественно, очень сознательно к этому относился и отделял вот эту пену от того, какие стихи он пишет. Но я помню момент, когда первое стихотворение огорчило меня и сразу было мною не принято. Это стихотворение «Остановка в пустыне». В этом стихотворении была какая-то поучительность, которая шла рядом с поэзией, а поэзия ничего не терпит рядом с собой. И, естественно, она ее разрушала. Кроме того, там появилось «мы»: «И от чего мы больше далеки: / от православья или эллинизма?». Что это такое «мы»? Кто эти «мы»? Я понимаю, когда Ахматова пишет «мы» – это Мандельштам, Гумилев, Нарбут и Зенкевич. А когда «мы» – это «давайте, ребята! Мы – единомышленники», тут, во-первых, появляется недолжная спекулятивность на этом «мы»: с одной стороны, ты вербуешь людей, так сказать, их обнимая за плечи, и

говоришь: «мы заодно», а с другой стороны, они с радостью пристраиваются. И получается: «мы» – это народ такой, поэзии противопоказанный. Все-таки это не эпическая вещь, а лирика. В этих стихах какая-то была советскость, неизбежная такая советскость, от которой не надо отказываться, но которую надо замечать в себе. (Я сейчас занимаюсь не похвалами, а тем, что считаю существенным отметить).

Дальше прошло еще несколько лет спаянности и начавшегося расхождения, одновременно действующих, как мне кажется сейчас. Вслед за ними еще личные события, и я уехал из Ленинграда в Москву. Наши расхождения мы даже оформили в словах, хотя это вовсе не означало, что мы стали не любить друг друга. Какие-то были разовые разговоры, какие-то поздравления друг друга. Перед отъездом он приехал проститься, хотя мы несколько лет до этого почти не виделись.

Теперь вы, кажется, спросили, когда мы начали осознавать, кто такой Бродский. Мы – это, повторяю, я. И опять-таки – «осознавать». Ведь я могу не понимать содержания, которое вы вкладываете в слова «осознали, кто такой Бродский». «Кто такой Бродский» у меня, наверное, не то, что «кто такой Бродский» у вас. Я могу вам сказать, пронзительность его стихов сказалась уже в 1962 году. Если я не ошибаюсь, это стихотворение примерно 62-го года, там есть строчки:

> Да не будет дано
> умереть мне вдали от тебя,
> в голубиных горах,
> кривоногому мальчику вторя…

«Стансы городу» называется. Да. Вот эта строчка «кривоногому мальчику вторя». (Которую я запомнил по-своему, кстати сказать.) Потом, конечно, вот этот гул, ухваченный в «Большой элегии Джону Донну», когда он действительно определился как Бродский. Это стихотворение, которое можно взять и сказать: «Вот Бродский и сейчас, по прошествии 27 лет». Потом совершенно уникальный по тому времени «Исаак и Авраам». Потом это было им разработано, и разработки, как всегда, уменьшают величину сделанного. Не увеличивают, а уменьшают. «Исаак и Авраам» – это разгон языка на тысячу строк, на пять-восемь тысяч слов, и тоже на такой высокой ноте. Ну, и потом ничего лучшего, чем «Кенигсберг» («Einem Alten Architekten in Rom»), ничего лучшего я у Бродского не знаю: «Чик, чик-чирик, чик-чик – посмотришь вверх». Эта музыка во мне с его голоса всю жизнь живет. И я думаю, будет жить до конца моих дней. Когда я

говорю, что я ничего лучшего у Бродского не знаю, это не значит, что я не знаю равного этому. Скажем, «Осенний крик ястреба» совершенно замечательные стихи…

– Известно, что Анна Андреевна всех вас призывала к краткости и якобы Иосифу удалось ее переубедить. Действительно ли это так? Как она принимала его большие вещи? Это сказал Бобышев в статье «Ахматовские сироты».

Мне кажется, это позднейшая интерполяция, как сейчас говорят. Ни к чему она нас не призывала. Другое дело, что и не призывая – то есть словами, – она нас к этому призывала своей манерой. Может быть, так стоило бы сказать. Она принимала нас такими, какие мы есть, потому мы и могли ее так беспримесно любить: она нам ничего совершенно не навязывала. И кто хотел писать длинно, кто хотел писать криво и кто хотел писать плохо, она разрешала все. Я понимаю, что имеет в виду Бобышев, но такого сказать я не могу. Я могу сказать вот какую вещь насчет Анны Андреевны, насчет длиннот и всего такого. Она высоко оценила поэму «Исаак и Авраам», хотя, как вы понимаете, эти стихи были в манере совсем ей чуждой. Но не ее, правда, было учить, что такое поэтический талант, она это слышала за версту. А вот когда, не помню уж, из деревни, а может быть, не из деревни, я привез ей какие-то его стихи на библейский сюжет, она сказала раздраженно: «Эту тему нельзя эксплуатировать. На библейский сюжет стихи можно писать один раз». Я думаю, это довольно существенное замечание, но скорее характеризующее Ахматову, а не Бродского.

А вообще Ахматова, я говорил об этом в докладе, учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу, – ему тоже, но походя, и кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. Бродский, безусловно, прошел школу Ахматовой, но только в том виде, в каком я о ней говорил. Она не давала нам уроков. Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха. Так я отвечаю на ваш вопрос.

Вы, конечно, знакомы с его пьесой «Мрамор», которая является, в сущности, двойным анахронизмом: в ней речь идет не только об Империи до христианства, но и об Империи постхристианства, где культура разрешена, но духовно выхолощена. Прокомментируйте.

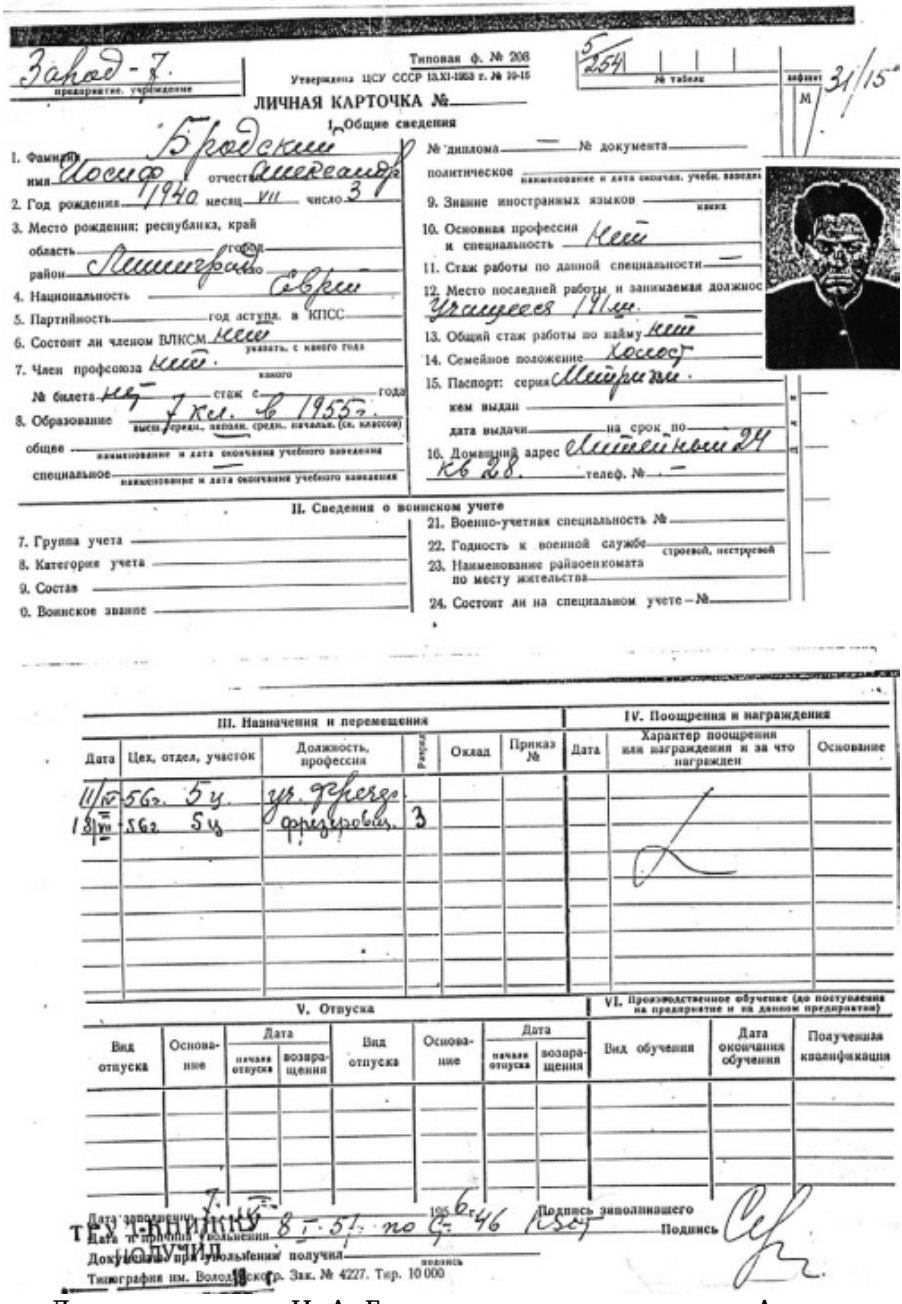
Я очень не люблю пьесу «Мрамор». Это очень противная вещь сама по себе. Собственно говоря, это строительство какого-то огромного здания, в то время как можно было всего один кирпич положить на это место и дальше, по моим понятиям, пройти мимо. Она не без остроумия написана. Ее интрига заключается в том, что человек культурой пробивает себе выход на свободу. Швыряя в мусоропровод культуру, он выходит на свободу. В этом

есть некоторое остроумие. По существу же, я с этим абсолютно не согласен. Чтобы не говорить громких слов… никто христианство не отменял. И если христианство перестает играть ту общественную роль, которую оно играло в течение двух тысячелетии, то оно не прекращается, а возвращается к каким-то своим уже пройденным периодам, но на новом этапе. Так вот, если мы в самом деле знаем, что Христос – это Сын Божий, если мы со всей, на которую способны, ответственностью произносим слова «я верую в это», то смешно сказать «верую Josephu Brodskomu, который считает, что христианство кончится»…

Видите ли, был такой эпизод, когда меня очень хотели поссорить с Бродским именно на том основании, что я якобы сказал, что он безбожник. Я этого, разумеется, не говорил и не думал. И по этому поводу у нас было даже письменное объяснение.

– Насколько универсален Бродский?

Вообще говоря, это вопрос вопросов. Я сам об этом думаю и не могу на ответе каком-то остановиться. И это, может быть, самое существенное из того, что я говорю. Если нам нужны стихи «мандельштама», мы идем к Мандельштаму (я говорю условно «мандельштама» с маленькой буквы – мы идем к Мандельштаму с большой буквы) и получаем его стихи. Если нам нужны стихи «ахматовой», мы идем к Ахматовой, «Цветаевой» – к Цветаевой, «пастернака» – к Пастернаку. Сейчас положение такое. Если нам нужны стихи, я не знаю, «тра-та-тама», мы идем к Бродскому, у него есть эти стихи. Нам нужны стихи «бал-ба-лама», мы идем к Бродскому, у него есть и эти стихи. Короче говоря, я не разделяю тех упреков, которые делаются Бродскому по поводу «поэтической индустрии» – помните, мы вместе с вами смотрели статью, которая называлась «Индустрия магии». Я ее не прочитал как следует, но вот это слово «индустрия» – обидное слово. Когда меня спрашивали в интервью «Голосу Америки» в связи с Бродским, какое отличие нынешнего времени от того в поэзии, я сказал, что тогда, правомерно или неправомерно, но мы могли через запятую написать: Ахматова, Пастернак, Цветаева, Маяковский и т. д., а сейчас с Бродским через запятую написать никого нельзя. С одной стороны, это свидетельствует о ранге, а с другой стороны – это неблагополучное положение, потому что поэт не может быть синтетичен. Наоборот, он тем более поэт, чем более он узок. За одним исключением, если он попушкински универсален. Ну, я оставляю этот вопрос открытым…».



Типовая ф. № 206
Утверждена ЦСУ СССР 13.XI-1953 г. № 39-15

Завод-7
предприятие, учреждение

№ табеля 5/254

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 31/15

I. Общие сведения

1. Фамилия Бродский
имя Иосиф отчество Александр
2. Год рождения 1940 месяц VII число 24
3. Место рождения: республика, край
область город
район Ленинград Евреи
4. Национальность
5. Партийность год вступл. в КПСС
6. Состоит ли членом ВЛКСМ нет (указать, с какого года)
7. Член профсоюза нет (какого)
№ билета нет стаж с года
8. Образование (высш., неполн., средн., начальн. (кл. классов))
общее (наименование и дата окончания учебного заведения)
специальное (наименование и дата окончания учебного заведения)

№ диплома — № документа
политическое (наименование и дата окончан. учебн. заведен.)
9. Знание иностранных языков (каких)
10. Основная профессия и специальность нет
11. Стаж работы по данной специальности —
12. Место последней работы и занимаемая должность Учащегося 7 Кл.
13. Общий стаж работы по найму нет
14. Семейное положение холост
15. Паспорт: серия Метрики
кем выдан
дата выдачи на срок по
16. Домашний адрес Литейный 24
Кв 28. телеф. № —

II. Сведения о воинском учете

7. Группа учета
8. Категория учета
9. Состав
0. Воинское звание
21. Военно-учетная специальность №
22. Годность к военной службе (строевой, нестроевой)
23. Наименование райвоенкомата по месту жительства
24. Состоит ли на специальном учете — №

III. Назначения и перемещения

Дата	Цех, отдел, участок	Должность, профессия	Разряд	Оклад	Приказ №
11/VII-56г.	5 ц.	уч. фрезер			
18/VII-56г.	5 ц.	фрезеровщ.	3		

IV. Поощрения и награждения

Дата	Характер поощрения или награждения и за что награжден	Основание

V. Отпуска

Вид отпуска	Основание	Дата начала отпуска	Дата возвращения	Вид отпуска	Основание	Дата начала отпуска	Дата возвращения

VI. Производственное обучение (до поступления на предприятие и на данном предприятии)

Вид обучения	Дата окончания обучения	Полученная квалификация

Дата заполнения 7.VII 195 6г. Подпись заполнившего
Дата и причина увольнения 8.VII. по Сем. 46 (ст.)
Документы при увольнении получил (подпись)
Подпись

Типография им. Володарского. Зак. № 4227. Тир. 10 000

Личная карточка И. А. Бродского в отделе кадров «Арсенала».

В поисках самого себя Бродский испробует 13 разных профессий (фрезеровщик, техник-геофизик, санитар, кочегар, фотограф, работник морга и т. п.)

В Центральном Госархиве хранится фотография, на которой сняты Ахматова и юный поэт на скамейке перед ее домом –

Будкой, как она говорила. И подпись: «Ахматова и Бродский в Комарове». А на самом деле это Ахматова и Найман. Подпись к ней – типичная оговорка по Фрейду: кто же из молодых поэтов может быть рядом с Ахматовой, если не Бродский, которому она, как принято считать, чуть ли не лиру передала! Но не слишком ли тяжела для него классическая лира?

Еще – из воспоминаний Наймана о том времени:

* * *

Когда в Ленинграде вышел фельетон «Окололитературный трутень» с клеветой на Бродского, они оба были в Москве. Найману привезли газету назавтра, и они встретились в кафе. «Настроение было серьезное, но не подавленное».

В Москве же, где жил тогда Найман, когда ждали, что Бродского вот-вот отпустят, произошло и еще одно эпохальное событие. В тот день Найману позвонил Василий Аксенов и пригласил на нигде еще не идущий американский фильм «В джазе только девушки» (настоящее название «Некоторые любят это погорячее»). В главной роли – Мерилин Монро! Просмотр – в клубе на Лубянке (это Дом культуры КГБ! – А.Б.). Найман немедленно согласился. А минут через десять звонок был не менее ошеломителен: звонил Бродский, который только что приехал в Москву прямо со станции Коноша Архангельской области, где позавчера получил документ о досрочной окончании пятилетней ссылки. «Здрасьте, АГ, что сегодня делаете?» А АГ сегодня идет

в клуб КГБ любоваться Мерилин Монро в фильме «Some like it hot». «Значит, так живете? А меня возьмете?» Так Бродский сразу после ссылки приятно провел время в клубе КГБ.

* * *

Комарово. Бродский копает под Будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, Найман застает его уже по плечи в яме. «Он говорит, что на случай атомной бомбардировки», – объяснила Ахматова. Она улыбалась, но в ее словах слышался вопрос. «У него диплом спеца по противоатомной защите», – ответил Найман. На семинар по противоатомной защите Бродского командировали однажды, когда он отбывал ссылку, а Найман как раз в это время приехал к нему в Норинскую. «Он вернулся с удостоверением и с фантастическими

представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах. Я объяснил предмет на школьном уровне, и мы легли спать, но он несколько раз будил меня и спрашивал: “А-Гэ, а сколькивалентен жидкий кислород?” Или: “Так это точно, что эйч-бомб – он называл водородную бомбу на английский манер – не замораживает? Ни при каких условиях?”».

* * *

Однажды Бродский стал с жаром доказывать что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда, – спокойно возразила Ахматова. – У Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие». А после его ухода сказала, что «в его стихах тоже есть песня», – о Блоке это было сказано прежде, – «может быть, потому он так на него и бросается». (Эта похвала была в ее устах исключительной редкостью). Про своего кота Глюка, который был небывалого роста, Ахматова говорила: «полтора кота». И про Бродского она вдруг сказала: «типичные полтора кота». Имея в виду не физические данные, конечно.

Лев Лосев – автор книги о Бродском в серии ЖЗЛ написал статью «О любви Ахматовой к «народу»…», почему-то заковычив и название стихотворения Бродского, и само понятие – народ.

Марина Цветаева в свое время создала цикл стихотворений, посвященных Анне Ахматовой. Первое стихотворение от 19 июня 1916 года начиналось так:

О Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Так вот, в посвященном Ахматовой очерке «Муза плача» Бродский цитирует популярный афоризм Бюффона: «Стиль – это человек». Невооруженным глазом, как говорится, видно, что как человек и как стилист сам он соприроден не Ахматовой, а – из русских поэтов ее поколения – полярно на нее непохожим Маяковскому, Цветаевой, пожалуй, что и Пастернаку. Все это вполне сознавал сам Бродский и объяснял: «Мы не за похвалой к

ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. <…> Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного – да не знаю уж, как это там называется – уровня, на котором находился, – от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это; в моем сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили…» Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она – ответ души на существование. Примерно этому – а не навыкам стихосложения – мы у нее и учились».

«Это проникновенное и темпераментное высказывание, – пишет Лосев, – кажется, исчерпывает тему «Ахматова – Бродский». Кажется также, что литературоведу здесь делать нечего. Литературоведение, по крайней мере то, в канонах которого мы воспитывались, познает литературные связи именно через анализ стихосложения. Оно не знает понятий «душа», «душевное», «духовное». Вопросы этики во взаимоотношениях между двумя поэтами литературоведа интересуют лишь постольку, поскольку они находят отражение в тематике стихов – разного рода откликах, полемических выпадах, прямых или скрытых цитатах, «интертекстах». Последние несколько лет я занимался составлением довольно подробного комментария к стихотворениям Бродского, и у меня сложилось убеждение, что переклички с Ахматовой у Бродского не так уж часты – помимо группы ранних и двух стихотворений зрелого периода («Сретенье» и «На столетие Анны Ахматовой»), посвященных Ахматовой, полускрытые цитаты и намеки на ахматовские тексты можно отметить еще всего в двенадцати стихотворениях, в некоторых из них не без сомнения.

Характерно, что большинство этих перекличек были бессознательны. Отвечая на вопрос читательницы о стихах, в которых «присутствует» Ахматова, Бродский писал: «Стихи, в которых «присутствует» А.А.А., следующие: «Сретение» и «В Италии». Наверное, есть еще, но в данную минуту в голову ничего не приходит (что, естественно, ничего не значит). Из перечисленных Вами «Anno Domini» с А.А.А. не связано, да и

«Флоренция», впрочем, тоже. Есть целый ряд стихов, непосредственно ей посвященных, среди ранних, написанных на ее дни рождения, но я не могу вспомнить первых строк сию секунду».

Бродский познакомился с Анной Ахматовой 7 августа 1961 года. Бродскому был двадцать один год, Евгению Рейну, который привез младшего товарища в ахматовскую Будку в Комарове, двадцать пять. Паломничество молодых поэтов к корифеям Серебряного века было делом обычным. Пятью годами раньше ваш покорный слуга стучался в дверь Пастернака в Переделкине. В шестьдесят первом году из великих русских поэтов в живых оставалась одна Ахматова, так что ритуал причащения к великой поэзии только и можно было совершить в форме знакомства с нею. Ахматовой такие посещения были привычны. Даже в те годы, когда она существовала в лимбе сталинского ада, ее разыскивали бесстрашные почитатели, а в хрущевские времена неожиданное появление у ее дверей молодого мужчины или женщины с букетом цветов и тетрадкой стихов стало делом довольно обычным. (После смерти Ахматовой в 1966 году эта традиция естественным образом прекратилась, хотя стремление протянуть руку над разделяющей поколения пропастью, успеть прикоснуться к живому гению, видимо, будет оставаться всегда. Только вот гениев на все эпохи не хватает. Поэт следующего за Бродским поколения, Юрий Кублановский, рассказывал мне, как он, пятнадцатилетний, приехал из провинции в Москву, чтобы повидать… Андрея Вознесенского, позднее ему снилось, что он знакомится с Ахматовой.) Необычным в визите двух молодых людей 7 августа 1961 года было то, что один из них, Иосиф, совершенно не ощущал себя паломником к святилищу пророчицы, слабо представлял себе, кто такая эта литературная старушка, к которой они едут, и вообще поехал за компанию, прокатиться за город. Разумеется, он знал в общих чертах ее историю и кое-что из стихов, принесших ей раннюю славу, но, как вспоминал он позднее: «…все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями». И филологического интереса к ее воспоминаниям у него не было: «…меня – как человека недостаточно образованного и недостаточно воспитанного – все это не очень-то интересовало, все эти авторы и обстоятельства».

Дальнейшая история отношений Бродского и Ахматовой хорошо известна, «…В один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял – знаете, вдруг как бы спадает завеса – с кем или, вернее, с чем я имею дело». Бродский стал постоянным посетителем, его стихи

производили глубокое впечатление на Ахматову, но и в личном плане между ними установилась та особая атмосфера доверительности, которая в редких случаях бывает между кровными родственниками, через поколение. Я стараюсь избежать милого русского слова «бабушка», поскольку это очень домашнее слово никак не пристает к пожизненно бездомной, жившей как бы не в четырех стенах, а на четырех ветрах Ахматовой. По «внутренней форме слова» больше подходило бы европейское grandemere, Grossmutter, grandmother – «Великая Мать». Ахматова тепло относилась к окружившей ее компании поэтической молодежи, среди которой были Наталья Горбаневская, Дмитрий Бобышев, Михаил Мейлах и ее секретарь, Анатолий Найман, но к Иосифу Бродскому ее отношение было совершенно особенным – и как к человеку, и как к поэту. Годы близости с Ахматовой были периодом самых трудных испытаний в жизни Бродского, определивших всю его дальнейшую жизнь, – и любовная драма, и попытка самоубийства, и сумасшедший дом, и тюрьма, и кошмарный суд, и ссылка – и похоже, что все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом. Тому много свидетельств, приведу два – одно скорее забавного характера, другое, как мне кажется, трогательное.

В мемуарах Наймана читаем: «…когда его любовный роман <…> переместился почти целиком из поэзии в быт, <Ахматова> сказала: «В конце концов поэту хорошо бы разбираться, где муза и где блядь». (Прозвучало оглушительно, вроде «пли!» и одновременного выстрела; это слово она произнесла еще однажды, но в цитате, а вообще никогда ни прежде, ни после таких слов не употребляла. Прибавлю, что к реальной даме это отношения не имело, сказано было абсолютно несправедливо, исключительно из сочувствия и злости, в том же духе, что под горячую руку о бедной Наталье Николаевне, – но отсчет велся от поэта, к нему и выставлялись неснижаемые требования)» (Найман). Если верить мемуаристу, мы имеем здесь свидетельство исключительного отношения Ахматовой к юному Бродскому. Всегда контролирующая любую ситуацию Ахматова только дважды на его памяти выходила из себя настолько, чтобы выразиться абсолютно ей не свойственным непечатным образом.

Другое, столь же невольное свидетельство состоит из двух частей. Во втором томе «Записок об Анне Ахматовой», где много страниц посвящено вызволению Бродского из ссылки, 22 апреля 1964 года Чуковская записывает слова Ахматовой: «…наш герой ведет себя не совсем хорошо. Даже совсем не… Вообразите, Иосиф говорит: «Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня».

<…> У него типичный лагерный психоз – это мне знакомо – Лева мне говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу его в лагере…». В сентябре 1965 года Ахматова записывает в своем дневнике: «Освобожден Иосиф по решению Верховного Суда. Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен – казался на краю самоубийства. Его (по-моему) спас Адмони, встретив его в электричке, когда этот безумец возвращался от меня. Мне он прочел «Гимн Народу». Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в «Мертвом доме»: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Ф<едор> М<ихайлович>. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка».

Эмоционально эти эпизоды противоположны – в первом случае Ахматова негодует, во втором восхищается и умиляется Бродским. Общий знаменатель здесь – немедленная мысль о родном сыне, улучшенным вариантом которого становится Бродский. (оставим этот «улучшенный вариант» родного сына на совести Лосева. – *А.Б.*). Именно материнским («велико»–материнским) отношением к Иосифу объясняет и Чуковская вспышку ахматовского гнева: «…пусть думает и говорит обо мне и о нас Иосиф все, что хочет, а ей каково: Бродский ведь ее открытие, ее гордость». Это избирательное сродство было обоюдным. Бродский нежно любил свою родную мать, М. М. Вольперт-Бродскую, но во всех сборниках помещал рядом со стихотворением «Памяти отца: Австралия» не стихотворение памяти матери («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…»), а стихотворение «На столетие Ахматовой». Надо отметить, что Бродский внимательно относился к композиции своих стихотворных сборников, стихи в них размещал по каким-то, иногда лишь ему самому ясным, тематическим и стилистическим признакам, то и дело нарушая хронологический порядок.



В геологической экспедиции. Якутия, 1959 г. Из архива Я. А. Гордина

Здесь следует сказать, что речь идет о взаимопонимаемом избирательном сродстве исключительно духовного порядка, никак не отразившемся на характере бытовых отношений.

Никакой особой интимности между Ахматовой и Бродским не было. Самое смешное, что мне приходилось читать в этой связи, это комментарий одного западного критика к строкам из стихотворения Бродского «Пятая годовщина»: «Я вырос в тех краях, я говорил «закурим» / их лучшему певцу…». Комментатор писал: «Лучший певец» – А.А. Ахматова (1889–1966)». Конечно, до

уровня фамильярности – «Давай, закурим…» – их отношения никак не могли дойти (сам Бродский пояснил, что имел в виду Евгения Рейна). В «Диалогах» Волкова в одном месте записано: «…после того, как дала мне прочесть свои записки о Модильяни, спросила: «Иосиф, что ты по этому поводу думаешь?». Это явно или оговорка Бродского, или ошибка Волкова при расшифровке записи (кстати сказать, в первом, нью-йоркском, издании «Диалогов» было «что вы… думаете»).

То, что я сказал выше о материнском-сыновнем характере отношений между Ахматовой и Бродским, следует понимать как исключительное ощущение особой связи, но вовсе не как обычные отношения старшего и младшего. Причем нарушителем обычных правил здесь оказывается Ахматова. Бродский, как многие из нас помнят, в юные годы не отличался почтительностью к старшим, спорил с известными писателями и академиками, не выбирая выражений, иногда с неспровоцированной агрессивностью, но по отношению к Ахматовой он всегда вел себя так, как ожидается от младшего по отношению к старшему. А вот Ахматова обращалась к нему как к равному: «мы с вами» («Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка…»). Ей самой ее отношения с Иосифом напоминают отношения с ближайшим другом среди сверстников-поэтов, Мандельштамом. Более того, при чтении ее записных книжек создается странное впечатление, что в чем-то семидесятипятилетняя Ахматова считала двадцатипятилетнего Бродского мудрее себя. Она неоднократно возвращается к мысли Бродского о том, что главное в поэзии – это величие замысла. «И снова всплыли спасительные слова: «Главное – это величие замысла»; «Постоянно думаю <о величии замысла> о нашей последней встрече и благодарю Вас»; «И в силе остаются Ваши прошлогодние слова: «Главное – это величие замысла»….

Повторю, Ахматова записывает в дневник после встречи с Бродским 11 сентября 1965 года: «Мне он прочел «Гимн Народу». Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в «Мертвом доме»: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Ф<едор> М<ихайлович>«. Понимает Ахматова в стихах или «ничего не понимает», проверить сегодня могут только те, кто имеет доступ к самиздатскому («марамзинскому») собранию сочинений Бродского 1972–1974 гг. Стихотворение это (правильное название – «Народ») никогда не печаталось. По жанру – это ода, 36 строк разностопного (в основном, четырехстопного) анапеста с парной мужской рифмой:

Мой народ, не склонивший своей головы,

мой народ, сохранивший повадку травы:
в смертный час зажимающий зерна в горсти,
сохранивший способность на северном камне расти… —

это начало, а заканчивается стихотворение так:

…Припадаю к народу, припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Позднее Бродский забраковал это стихотворение, скорее всего, по причинам эстетическим, как и многие другие слишком риторические стихи раннего периода. Однако в кругу его тогдашних читателей об этом стихотворении сложилось мнение, что оно было написано как «паровозик» – так на жаргоне литераторов советского периода назывались политически правильные стихи, написанные специально, чтобы протащить в печать другие, политически не столь правильные, но действительно дорогие автору. В. Р. Марамзин еще в 1974 году высказывал сомнение по этому поводу: ведь «Народ» был написан в ссылке в декабре 1964 года, задолго до того, как у Бродского могла появиться надежда на какую-либо публикацию в Советском Союзе. Однако представление о «Народе» как «паровозике» укрепилось среди друзей и знакомых Бродского. Именно в этом духе «Народ» упоминается в мемуарах А.Я. Сергеева: «В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение «Народ», которое, кажется, было напечатано в местной многотиражке <стихотворение не печаталось. – *Л. Л.*>. В стихотворении не было ничего неприличного, но сказать, что это – стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства – нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи нейтральные – хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к… – у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предваряет их стихотворением «Народ». Как мы видим, исключением из тогдашнего круга читателей была Ахматова, именно в этих стихах усмотревшая гениальность Бродского. Ее мнение до сих пор продолжает озадачивать иных. Через пять дней после первой записи о «Народе», 16 сентября, в дурной день после сердечного приступа, она пишет в дневнике: «Хоть бы Брод<ский> приехал

и опять прочел мне «Гимн народу». Странное желание – в качестве моральной поддержки услышать ремесленные стихи «на заказ». Да и сравнение со святая святых этики Достоевского – «Смирись, гордый человек!» – в контексте интерпретации Наймана выглядит уж очень мелко: получается – смирись перед начальством. Повторяю, Найман не один так думал. Как явствует из комментария Марамзина и воспоминаний Сергеева, то же думали многие, разве что не так злобно.

Я полагаю, что здесь мы натыкаемся на черту, отделяющую моральный и эстетический уровень Ахматовой и Бродского от уровня среднеинтеллигентской советской морали, уровня тех, о ком Пастернак писал: «…они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы»….».

С этим выводом Лосева, пожалуй, можно согласиться.

Завершить главу необходимо, наверное, невнятным стихотворением Бродского «На столетие Анны Ахматовой».

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Ничего не понятно, особенно, в последней строфе (кто дар речи обрел – тленная часть?), но – холодно-торжественно… Без той любви и восторженности, которыми дышит стихотворение Марины Цветаевой, откуда и позаимствовал Бродский название для своего эссе «Муза плача».

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.

Для контраста цитирую, для полной общей ясности и для

профессора Полухиной, в частности – в чем разница между простыми гениальными стихами и бесцветной заумью Бродского. Хорошо, что еще не пишут работ: «Влияние Бродского на позднюю Ахиматову».



Горох во все стороны от Полухиной



На сайте «Зарубежные задворки» написано: «Валентина Полухина, профессор русской литературы Кильского университета (Англия) родилась в Сибири, в несуществующей больше деревне Утюп, Кемеровской области. Предки Полухиной по матери, Баникевич/Гронские, были сосланы в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года. Отец, Борисов Платон Евсеевич, был раскулачен. Семья жила в невероятной бедности. В деревне не было ни радио, ни электричества. Во всей округе не знали, что такое врач или медсестра. Полухина вспоминает, что в трехлетнем возрасте во время долгой болезни родные сочли ее умершей, более того – заказали даже гробик и выкопали могилку. Но, по счастью, кто-то догадался поднести к губам ребенка зеркало, и непоправимого не случилось. В деревне была только начальная школа, и в среднюю приходилось ходить пешком за два километра. Отец часто повторял: “Доченька, если выживешь, беги на запад, как можно дальше на запад”. “Доченька” в 14 лет, после окончания 7 класса, на подножке поезда (не на что было купить билет) с картонным чемоданом приехала в Мариинск и поступила в педучилище, закончила его с отличием и была принята в МГУ, но опять-таки, ни у кого в деревне не оказалось денег на проезд. Не будучи Ломоносовым, в Москву не пошла, но сумела добраться до Кемерово, а еще через пару лет – до Тулы, где и закончила пединститут. Вышла замуж за Владимира Полухина, переехала в Москву, закончила аспирантуру МГУ, работала. Случай помог сделать следующий “бросок” на Запад. И, начиная с 1973 года, по сей день Валентина Полухина – преподаватель Кильского университета. В 1977 году в Лондоне встретилась с Иосифом Бродским. И эта встреча окончательно определила ее научные интересы – Полухина начала работать над докторской диссертацией о поэтике Бродского. В 1980 в качестве стипендиата Британской Академии провела 5 месяцев в Мичиганском университете (США), посещая все лекции и семинары Дж.В., и еще месяц следовала за ним по пятам в Нью-Йорке. Докторская диссертация, защищенная В. Полухиной в 1985 году, стала

основой для первой английской монографии о Бродском – “Joseph Brodsky: A Poet for Our Time” (CUP, 1989). Затем последовало еще несколько книг: “Brodskii Trough the Eyes of His Contemporaries” (NY, 1992), расширенная версия вышла в России в 1997 году и называлась “Бродский глазами современников”. Вместе с поэтом Львом Лосевым Валентина Полухина подготовила два сборника статей “Brodsky’s Poetics and Aesthetics” (L, 1990) и “Joseph Brodsky: Te Art of a Poem” (L, 1999), была одним из двух составителей словаря тропов Бродского, вышедшего в Тарту в 1995 году. Полухина является также автором многочисленных статей о современных поэтах. Она также является организатором Благотворительного фонда русских поэтов. В 2009 году в Томске издана новая и наиболее полная книга об Иосифе Бродском «Больше самого себя». 5 октября 2009 года в пресс-центре «Российской газеты» прошла презентация новой книги Валентины Полухиной об Иосифе Бродском – «Больше самого себя». Это уже пятнадцатая и, по словам исследовательницы, предположительно последняя ее книга о поэте. На презентации выступили издатель книги, томский переводчик Андрей Олеар, писатель Андрей Битов, священник Михаил Ардов и другие люди, знавшие Бродского в разные периоды его жизни. После презентации Валентина Полухина дала небольшое интервью корреспондентам «Радио Свобода».

– В чем новизна вашей последней книги на фоне множества исследований о Бродском?

– На самом деле она предназначена для исследователей больше, чем для широкой публики. Я поднимаю темы, которые мало исследованы или почти не исследованы. Например – «Бродский и Данте». Это огромнейшая тема на много диссертаций. Бродский в конце жизни горевал о том, что он не написал свою «Божественную комедию». Он читал Данте всю свою жизнь, это была его настольная книга. Меня заинтересовало, что же у него от Данте. Но эта тема только подана, только задета, я только на нее намекнула. Потому что нужно хорошо знать латинский язык, итальянский язык – нужно быть специалистом. Также тема «Бродский и Пушкин», потому что многие связывают Бродского с разными поэтами, но меньше всего – с Пушкиным. Пушкин присутствует в нем изначально. Но главным образом это скорее информативные книги: там собраны все библиографии его интервью, библиографии его прозы, и, более того, я горжусь, что сделала такую картографию путешествий Бродского по миру. Все, что я могла собрать: даты, годы, месяцы; где он был – в какой стране, в каком городе после 1972 года по всему миру. Я уверена,

что она неполная, но проще дополнять, чем составлять сначала. Вот это – совершенно новое. Точные даты, точные годы, где он был, в каких городах. И когда на это взглянешь – на эту сетку путешествий, то понимаешь, почему Чеслав Милош назвал его культурным империалистом.

В книге есть интервью с Иосифом Бродским, озаглавленное «Мой враг – вульгарность», по словам его автора, филолога и писателя, профессора Килского университета Валентины Полухиной, не предназначалось для широкой публики и потому ранее не публиковалось. Оно содержит «расшифровку» некоторых образов в стихах Бродского, его ответы на вопросы о литературных влияниях, о том, как отражается изгнание на чувстве языка, и какое значение имеет возраст поэта. Это интервью создавалось в 1980 году, когда, получив грант от Британской академии для работы над докторской диссертацией о тропах Бродского, Валентина Полухина в течение четырех месяцев посещала все его лекции и семинары для студентов и аспирантов Мичиганского университета. Тогда же с разрешения поэта был сделан ряд магнитофонных записей. (В 2006 году Валентина Полухина передала их в архив Бродского Beinecke Library of Yale University.).

– *На каком основании вы утверждаете, что поэт – самое совершенное существо?*

– На очень простом: в процессе композиции рациональное и эмоциональное, самоутверждение и самоотрицание действуют вместе. Они нередко порождают откровение.


ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ
ТРУТЕНЬ
СУД НАД ПОЭТОМ

Суд над поэтом. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе (1987 года) Иосиф Бродский в 1964 году постановлением народного суда Дзержинского района гор. Ленинграда «за тунеядство» был выселен из Ленинграда сроком на пять лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли. Статья

– Кроме английских метафизиков, мне показалось, что у вас есть нечто общее с Томасом Харди.

– О да, я его очень люблю, люблю за красивую форму. У него просто прекрасные стихи: ни одна станса не похожа на другую по интонации, по ритму, по оформлению.

– А ирония Харди?

– О, ничего общего с моей. Это просто second hand stuf. Уж если вы ищете связи, так они есть, например, с Оденом и с Монтале.

– О да, те, о ком вы писали, должно быть, близки вам. А Беккет?

– Да, и Беккет. Одна дама сделала мне большой комплимент, когда я прочитал ей «Горбунова и Горчакова», сказав: «Too much Beckett». Я думаю, что «Горбунов и Горчаков» лучше, чем Беккет.

(В общем сплошные О-О-О! с обеих сторон. Но при этом – сплошные претензии на элитарность. – *А.Б.*).

– Кто ваш главный враг?

– Вульгарность. Интеллектуальная и духовная вульгарность. США – очень вульгарная страна. Иногда, правда, духовная вульгарность может принести неожиданные результаты. Так, наемный солдат, выступая по американскому телевидению, вдруг сказал: «Я понял, что убил человека, который был гораздо сложнее меня».

– Какое значение имеет возраст поэта?

– В старости редко кто пишет хорошо. Мудрость – да, мысль – редко. Так, я не верю старому Гёте. Идет движение вниз: люди становятся мудрее, но они не чувствуют элегантности, красоты. Им не хочется завоевывать, побеждать даже язык! Я завидую тем, кто умер рано: мы никогда не узнаем, что бы случилось. У нас только половина картины.

– Простите, а старой Ахматовой вы верите?

– Ахматова – исключение. Такова была историческая ситуация – она должна была верить, двигаться вперед. Она была единственным голосом в течение 40 лет. Это был ее долг, возложенный на ее плечи историей, временем.

– И последний вопрос: что такое для вас язык?

– Нечто мистическое. Нечто огромное. Не ясно, откуда он взялся. В языке всего столько, что мы не используем и одну десятую его богатства. Тот, кто дал нам язык, больше нас. Дающий всегда больше того, кому он дает. Мы пришли в язык, а не создали его. Мы открываем язык, каждое поколение открывает язык.

Теперь буржуазно-либеральная Россия выбирает не только Бродского, но и его биографов, прославителей, толкователей. Полухина, сбежав из России по настоятельному совету отца, триумфально вернулась в нее. Вот она просвещает нас на радиостанции «Эхо Москвы» в гостях у передачи «Непрошедшее время»

М. Пешкова: «Далекие-близкие лондонцы… Зная, что исследователь жизни и творчества Бродского, профессор Валентина Полухина живет в столице Британии, все мечтала о встрече с ней. Книжная ярмарка словно подготовила сюрприз. Валентина не только была на всех мероприятиях русского стенда, организованных в рамках фестиваля русской книги, но и вела поэтический вечер… При сумасшедшей загруженности, поджимали сроки верстки книги о Нобелевском лауреате, Валентина Полухина нашла время для беседы».

Как получилось так, что девочке с Алтая вдруг позвонила российская «принцесса» Светлана Аллилуева? Что это была за история? Она же не связана с Бродским, правда?

В. П.: Во-первых, девочка не с Алтая, просто из глухой сибирской деревни. Потому, что если бы мне цыганка нагадала, когда я жила в этой деревне, без электричества, радио, воды, доктора, что в один прекрасный день мне позвонит дочка Сталина, я бы расхохоталась громко. Однажды я пригласила в Англию, в британский Университет Синявского с женой для выступлений. И когда они были у нас, в моем Университете, приехала журналистка из газеты «Обзервер», взять у него интервью. Она осталась у нас на ночь, это было обширное интервью. Оно появилось на следующий день в воскресной газете. И Синявские уже уехали во Францию.

Вдруг раздается телефонный звонок и говорят: «С Вами говорит Светлана Аллилуева». Я говорю: «Что за шутки? Кто это еще мне тут выставляет себя?» Мне говорят: «Совершенно серьезно. Я – Светлана Аллилуева. Я прочитала интервью с Синявским. Я знаю, что он у Вас. Мне в газете дали Ваш телефон, и я бы очень хотела связаться с Андреем Донатовичем, с которым я училась вместе в МГУ». Я сказала: «Увы, он уже уехал. Но я могу Вам дать все его парижские координаты». Я дала ей адрес, телефон. Таким образом я поговорила с дочкой Сталина.

М. П.: Вы уехали из России после аспирантуры. Уехали навсегда. Какой это был год?

В. П.: Это был 1973 год. После аспирантуры у меня стал вопрос – вернуться ли в Университет Дружбы народов на вечную зарплату 110 рублей в месяц, в то время, как пара сапог стоила 120 рублей. Я не была членом партии, и меня никогда бы не

выпустили за границу, как многих моих коллег, которые ездили зарабатывать то на кооперативную квартиру, то на дачу, то еще на что-нибудь. И никогда мне не грозило повышение по службе. И я поделилась этими проблемами с профессором английским, который в это время гостил в Москве, что мне делать? Он говорит: «Найти способ уехать из Советского Союза, и я тебе тут же гарантирую работу в Англии». Нужно было искать способ уехать. Я его нашла, и таким образом, 7 ноября 1973 года, прямо из аэропорта, с корабля на бал, я сразу вошла в класс и начала свою академическую работу в британских университетах.

М. П.: Вы были долгие годы профессором Кильского университета, а потом Вы вдруг оказались в Лондоне. Что произошло? Вы поменяли место работы?

В. П.: (Смеется) Я поменяла образ жизни. В Университете я, конечно, профессором стала не сразу, для этого пришлось много потрудиться, написать еще одну диссертацию, ее защитить, чтобы получить повышение по службе и быть избранной профессором. Но я всегда жила одна. У меня были две операции на сердце, и я знала, что я не могу отягощать своими проблемами ни одного мужчину. И никогда не собиралась выходить замуж. Но, после смерти Иосифа Александровича Бродского, он мне подарил моего мужа. Я вышла на пенсию в 2001 году, вышла замуж за поэта-переводчика и друга Бродского Даниела Вайсборта и переехала в Лондон.

Вот как все славно, удачно, весело. Эй, российские нищие филологи, если вы к тому же не члены правящей партии «Единая Россия», валите все на Запад, в русско-еврейский Лондон: там вас ждет счастье по примеру Полухиной.

М. Пешкова: «О новой книге Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха» рассказывает ее издатель, друг Иосифа Бродского, Яков Аркадьевич Гордин».

Я. Гордин: «Это очень большая книга, фактически, это основа для всех будущих биографий Бродского. А сама по себе это, на сегодняшний день, тоже фактически первая полная биография Бродского. Хотя и не такая подробная, как она того, естественно, заслуживает и какой она будет в будущем. Я не имею в виду замечательную книгу Льва Лосева, которая и названа литературной биографией. Здесь же, в книге Полухиной, прослежено от рождения дедушки, до кончины самого Бродского, вся длительная эпоха в датах, событиях. Это полная хронология, по возможности, естественно. Максимально полная хронология жизни Бродского, в качестве такого пролога этой истории, история предков, семьи. Но кроме дат и событий, эта хронология

прослоена большим количеством воспоминаний. В том числе и впервые публикующихся о Бродском, с большим количеством документов, фрагментами писем, в основном, не Бродского, потому, что на них распространяется авторское право. И разного рода текстами, дающими представление о Бродском в разные периоды его жизни. Это такой вот монументальный труд. Еще раз хочу повторить, что он драгоценен для будущих биографов. И вообще, исследователей, а не только жизни и судьбы, но и творчества Бродского, потому, что это такой кладезь материала, который Полухина ухватила сейчас, потому, что эпоха уходит, люди уходят, сведения уходят и, конечно, для нее это просто подвиг».

Ну, просто «подвиг», конечно: записать на диктофон интервью с Бродским, его беседы с мужем, расшифровать все это, потом отработать грант по стилистике Бродского, еще признаться ему в любви и совсем свихнуться. Как не подвиг…

Более взвешенное мнение о книге высказал Борис Вайль: «Лично я нашел в этой книге много удивительного и незнакомого мне раньше (оговорюсь, что я не специалист по Бродскому, а просто читатель и современник поэта). Так, я не знал раньше, что мать поэта работала в лагере: в своей автобиографии (сс. 11–12) она пишет: “В 1941 г. декабре месяце с ослабевшим ребенком я была эвакуирована [из блокадного Ленинграда. – *Б.В.*] в г. Череповец, где снова начала работать, поступив в лагерь НКВД № 158 в качестве секретаря управления…”. Полухина комментирует это так: “Это был лагерь для немецких военнопленных. Очевидно, сыграло роль то, что Мария Моисеевна знала немецкий язык”. Возможно, так и было. Хотя “секретарь” – несколько иная должность, чем переводчик. (О череповецком лагере № 158 существует кое-какая литература, но это уже другая тема.)

Во-вторых, на с. 38 Полухина некритически использует интервью М. Мейлаха с Бродским о неких событиях ноября 1959 года в Ленинграде: “Первый арест после выставки бельгийского искусства в Эрмитаже “От Менье до Пермеке”. На площади перед Русским музеем милиция арестовала и отвезла в Главный Штаб около 200 молодых людей, продержав их там дней шесть или семь”. То ли Мейлах нафантазировал, то ли Бродский… – но такого события вовсе не было. Были события на площади Искусств 21 декабря 1956 года, когда после выставки Пикассо там собрались молодые люди, студенты, пытаясь организовать дискуссию. Но и там был арестован всего один человек – А. Гидони, а остальных милиция просто вытеснила с площади. Арест 200 человек, конечно, был бы “отрефлектирован” ими в мемуарах

и отражен в документах. Между тем, ни в одной работе, посвященной данному периоду, ни в мемуарной литературе, о таком событии не упоминается. (Выставка “От Менье до Пермеке” действительно состоялась, но в том же 1956 году в Москве, и, видимо, в Ленинграде).

В-третьих, меня удивило, что Бродского четырежды отпускали с места ссылки в отпуск в Ленинград. Мало кому из ссыльных разрешали выезжать в отпуск. Но вообще-то в принципе это зависело от местного начальства. И поскольку Бродский, вероятно, работал хорошо, то и совхозное начальство давало ему хорошие характеристики. Сам Бродский говорит: “Я не гнушался никакой работой: чистил хлев, грузил навоз, работал в поле в посевную или на уборке урожая, если руки требовались. Самым тяжелым было убирать камни, чтобы отвоевать у природы хоть немного пахотной земли”.

Меня удивило также, что Бродский, будучи на Западе, никогда не съездил в Израиль – ну хотя бы посмотреть на фон его “Рождественских стихов” (хотя он и получал не раз приглашения из израильских университетов). И нигде, кроме как у Полухиной, не сообщается, что у Бродского в России не только сын, но и дочь.

Несмотря на все недостатки, работа Валентины Полухиной заслуживает безусловного уважения. “Перелопачено” столько материалов, при том что основной архив поэта его вдова закрыла на семьдесят пять лет. Биохронику Ленина составлял целый институт. Биохронику А.Д. Сахарова – три человека. А здесь – одна Валентина Полухина. Пусть же она учтет критику в следующем издании своей книги»…

Бродский несколько раз повторял в интервью слова японского писателя Акутагавы Рюноске: «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Но те панегирики, что приходилось слышать и читать в адрес Бродского и его исследователей, не только нарушают все принципы русской объективной критики, но и просто расшатывают нервы. Вот образчик из официозной «Российской газеты», где после интервью Юрия Лепского «Язык владел им в совершенстве» (что за абракадабра?) становится ясно, что Бродский – это Пушкин XX века, а Полухина – Соболевский и Белинский в одном флаконе. Тяжелое испытание для нервов, но надо привести!

– Вы ведь были знакомы с Бродским, и достаточно хорошо. Как это у вас получилось?

– Я, как многие, читала Бродского еще в Москве в самиздате в конце 60-х годов. Попались его ранние стихи, и они не произвели на меня впечатления. Но когда я приехала в Англию в 73-м году, то прочитала его книги стихов, изданные в Америке: «Остановка в

пустыне», «Стихотворения и поэмы». Вот тут до меня все дошло. Я поняла, что это за поэт. Вскоре я узнала, что Иосиф ежегодно бывает в Англии. Я предупредила всех, с кем была тогда знакома, что хотела бы с ним встретиться. И вот в ноябре 77-го года мне позвонила Людмила Куперман, жена художника Юрия Купермана, и пригласила меня в гости. Сказала: «Будет Иосиф, приходи». Я пришла, и пришел Иосиф Александрович. Там были еще три приятельницы, и вот для нас, четырех русских женщин, он весь вечер читал стихи. Очень щедро, очень много – и по просьбам, и по собственному желанию. Я была просто сражена и, честно говоря, позволила себе жест непозволительный: я села у его ног на пол. Он тут же поднялся за стулом. Но я настаивала на своем праве сидеть подле его ног и даже сравнила его с Пушкиным. Он сурово посмотрел на меня и строго сказал: «Валентина, имейте в виду, на меня такие вещи не действуют. Если вы действительно так считаете – докажите».

(Значит, мало рухнуть у ног? Надо еще доказать, что ее кумир – Пушкин! – *А.Б.*)

В ту пору я училась в аспирантуре Эдинбургского университета и продолжала свои исследования по экспериментальной фонетике. После свидания и знакомства с Бродским я поняла, что должна сменить тему, что должна заняться его поэзией. И поскольку я скорее лингвист, чем филолог, то предметом моего профессионального интереса стало исследование метафор в поэзии Бродского.

– А как он отреагировал на вас?

– Ну, со мной все просто. Мне помогло то, что я была в него влюблена по уши и выше того, и не могла этого скрыть. Честно говоря, Иосифу это очень мешало. Он никак не мог справиться с этой моей любовью. Порой он просто не знал, как ему себя вести. Он мог быть холодным или милым и добрым, ему, вероятно, было жаль меня… По-разному было. Но в какой-то момент мне помогли моя польская кровь, да еще и шляхетское происхождение. Я твердо решила, что никогда не позволю себе чувствовать себя унизительно даже перед Иосифом. Я буду заниматься его творчеством, и это для меня самое главное. Мне важно вести себя достойно, важно достойно выполнять мою работу, а все мои чувства я должна запереть на ключ и ключ выбросить. Решить-то было легко, а вот сделать трудно. Думаю, что он всегда чувствовал, что его любят. Такая двойственность наших отношений сохранялась долго, но в конце концов возобладало деловое сотрудничество. И вот тут Иосиф был абсолютно отзывчив, обязателен и деликатен.



Ссыльные вечера. Из архива Я. А. Гордина

– Чем бы вы объяснили такой бурный роман Бродского с английским языком, его упорное стремление писать стихи на английском? Хотел ли он покорить поэтическую вершину и как англоязычный поэт? Ему недостаточно было славы русского поэта?

– Я не думаю, что Иосиф жаждал славы англоязычного поэта. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что это невозможно. Хотя я помню, как на фестивале поэзии в Кембридже собрались лучшие переводчики Мандельштама и говорили, что невозможно перевести на английский «За дремучую доблесть грядущих веков». Кто-то из зала крикнул: «Тут находится Бродский, давайте послушаем, что он скажет». Вышел Иосиф, и первое, что он сказал, было: «Nothing is impossible» – нет ничего невозможного. У меня сердце ушло в пятки, потому что мгновенно одной фразой он дал им всем пощечину, нажил огромное количество врагов. Потом он стал им объяснять, что в этой строчке запрятаны и Пушкин, и Державин, и что-то еще… Никто из переводчиков об этом даже не догадывался. А он им прочитал целую лекцию о русской поэзии. В нем было это – нет ничего невозможного. Но что касается письма стихов на английском… Понимаете, он слишком поздно пришел в английский язык. Он так и не смог избавиться от русского акцента как в устной, так и в письменной

речи. Однажды Дерек Уолкотт сказал по поводу одной из его английских рифм: это может быть английской рифмой, если прочитать слова с русским акцентом; по-английски это не рифма. Помимо этого, ему не хватало английской идиоматики.

– Вы опросили о Бродском более 60 человек, хорошо знавших его. Были ли среди этих свидетельств неожиданные для вас, представлявшие Иосифа Александровича новым, не знакомым вам?

– Нет, пожалуй, нет. Все-таки я достаточно хорошо его знала. Другое дело, что я столкнулась с неожиданным явлением. Я хотела обсудить, было ли что-нибудь специфически еврейское в его поэзии. Или, например, меня интересовал вопрос христианских мотивов его творчества. Я с удивлением обнаружила, что для обсуждения этих тем ни у меня, ни у моих собеседников в буквальном смысле нет слов. В годы советской власти эти темы были табуированы, и язык остался без инструментария. Обсуждать эти темы мне было весьма трудно.

– Почувствовали ли вы разницу в суждениях о Бродском до и после его смерти?

– Да, почувствовала. При жизни Иосифа они его больше кусали, царапали. После смерти стало больше пиетета, меньше мелочных придирок. Если же говорить о главном, то я не встретила еще ни одного русского поэта, который не страдал бы комплексом Бродского.

– Что вы называете «комплексом Бродского»?

– Это ясное осознание того, что вы – современник великого поэта второй половины XX века. Вы ходили с ним по одним улицам, вы легко могли его встретить, он еще вчера был здесь, умнейший человек и гениальный поэт. Ему досталось столько славы, сколько не имели ни Ахматова, ни Мандельштам, ни Цветаева. И в России, и в Америке, и в Европе – везде. Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых. Это и есть комплекс Бродского.

– Вы уверены, что не преувеличиваете значение Бродского?

– Как известно, Александр Сергеевич Пушкин перенес французскую поэзию на русскую почву. Это понятно: французский в то время был родным языком русской аристократии. Но ни Пушкин, ни поэты, шедшие за ним, ничего не взяли из богатейшей английской поэзии, кроме, пожалуй, романтического образа поэта у Байрона. Все это сделал Иосиф Бродский два столетия спустя. Это колоссальный вклад в русскую поэзию, в русскую литературу, в русскую культуру, в русский язык, наконец. Русский язык нуждался в этом вкладе, в этой новой

крови и получил ее благодаря Бродскому. Если бы он не сделал, кроме этого, ничего больше, только за один этот вклад ему следовало бы поставить памятник. Я убеждена, что его влюбленность в английский язык, в английскую культуру, в английскую поэзию была продиктована внутренними потребностями русского языка, которому он служил так верно и так преданно, как никто.

– Он же полагал язык данным нам свыше, для него язык был божеством…

– Да, верно, он сам об этом много писал и говорил. Но, помимо этого, он полагал, что поэзия есть высшая форма существования языка. И в этом смысле я не знаю другого поэта, который находился бы в таких отношениях с языком… Мне порой кажется, что Бродский – это осознанный выбор русского языка.

– Как это?

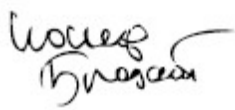
– Ну если следовать Иосифу, то язык – нечто данное нам свыше, некая субстанция и больше, и глубже, и протяженнее во времени, нежели человек или даже человечество. Вот, допустим, что это огромное живое существо – русский язык – созревает до такого момента, когда ему требуется поэт, который помог бы в совершенной форме зафиксировать современное состояние языка, открыл бы ему дорогу к дальнейшему движению. И этот язык выбирает маленького еврейского мальчика в антисемитской стране, зная, что он пройдет через страдания; вдыхает в него поэзию, зная, что истинный поэт в этой стране либо гибнет, либо подвергается изгнанию. Он дает ему выжить, стать знаменитым и исполнить порученную ему миссию.

– Последний вопрос. Расскажите, как он умер.

– Накануне вечером у них с Марией были гости. Разошлись поздно. Иосиф Александрович поднялся в свой кабинет наверх. Сказал, что поработает немного, разберет какие-то бумаги. Он частенько делал так вечерами. И, когда засиживался допоздна, оставался спать в своем кабинете. Поэтому в тот вечер Мария не удивилась, что он не спустился вниз, не пришел в свою постель… Утром раздался телефонный звонок, она поднялась наверх, чтобы его разбудить, и не смогла открыть дверь. Он лежал на полу, кажется, даже в очках. То есть он, видимо, сидел, потом поднялся, чтобы спуститься вниз, и упал. Разрыв сердца. Страдал ли он при этом? Надеюсь, что он умер очень быстро…

После прочтения таких интервью и воспоминаний Полухиной появляется твердое убеждение: чем больше Бродского влюбленные дамы будут сравнивать с Пушкиным, уверять, что все поэты ушиблены, вознесены или раздавлены им, что он сделал

для русского языка больше, чем Даль и все поэты Серебряного века вместе взятые, тем быстрее пройдет этот морок и Бродский займет свою нишу маргинального поэта-эмигранта, которого, кстати, не все на Западе так уж превозносили, как эта распростертая подле его ног русско-английская профессорша.



Гений Малевич, лауреат Бродский и профессор Ганнушкин



Сегодня российскому читателю беспрерывно внушают, что Запад боготворит Иосифа Бродского, что чуть ли не все литературоведы и философы являются его апологетами. Это далеко не так. Думая, чем же опровергнуть это наваждение, я выбрал устное выступление, но глубоко продуманное эссе Маркса Тартаковского. Маркс Самойлович – младший мой однокашник по Литературному институту – настоящее дитя перестройки, автор книг, опубликованных в Москве: «Человек ли вершина эволюции?» («Знание»,1990), «В поисках здравого смысла» («Московский рабочий», 1991), «Акмеология» (ИМЖ «Панорама», 1992), «Homoeroticus» («Панорама», 1993), «Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка» («Прометей», 1993; на титуле: «Рекомендовано Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию»), других, менее значимых, а также автор ряда работ по проблемам истории и актуальной политике, опубликованных в России, Израиле, Германии, США.

С 1994 года, с окончательной победы пещерного капитализма в России – он живет в Германии. В «Русском переплете» ведет обозрение «Обозрение Маркса Тартаковского«.

Одна из последних его книг – «Откровение Торы. Моисеевы Пятикнижия и реальности нашего века». Она имеет трогательное посвящение:

> Рожденным в один день 5 марта,
> но разделенным огромной исторической эпохой, —
> отцу моему Самуилу Аврумовичу,
> прожившему полжизни в черте оседлости,
> и сыну моему Косте, солдату Израиля.

В аннотации от редакции сказано: «Существует ли где-нибудь «христианская цивилизация»? – задается вопросом «Независимый

исламский информационный канал Islam.ru» (сентябрь 2003) и разъясняет: «Христианским» можно считать только такое государство, законодательство которого базируется на Библии. Последние формы «христианской государственности» – это абсолютистские монархии Европы, рухнувшие под напором либеральных идей, выдвинутых масонскими кланами Франции, Англии и Северной Америки. Сегодняшняя западная цивилизация не имеет ничего общего с христианскими ценностями, это либерально-масонская цивилизация. Она трансформируется сегодня в идеологию языческой вседозволенности, поедающей саму себя. Наркоман, пользующийся своей свободой употреблять наркотики, теряет и саму эту свободу, и вообще человеческий облик. Религии монотеизма – Исламу – противостоит не христианство, сохранившее за собой, в основном, только культ, не влияющий на политику государства, а либералистское неоязычество с культами Молоха, Венеры, Диониса и т. д., выступающими под другими именами».

Обвинение во многом справедливое. Но – лукавое. Обойден кардинальный принцип западной цивилизации, впрямую противоречащий исламу. «Ислам (араб., букв. – покорность)» (ЭС). Тогда как «история человечества есть развитие индивида от людской особи, во всем покорной традиции, к осознающей и направляющей свое бытие личности».

Цитированная мысль определяет содержание книги М. Тартаковского, утвержденной Госкомитетом РФ по высшему образованию, «Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка» (М. 1993.), а также других опубликованных им книг и работ («В поисках здравого смысла», «Человек ли вершина эволюции?», «Почему китайцы не открыли Америку»…). В своем новом исследовании автор обращается к самым истокам этого всечеловеческого либерального движения к свободе – к Моисееву Пятикнижию (у евреев – Тора). Пафос Книги – Исход, освобождение от рабства, привычного состояния древнего человека, воспринимавшегося им как норма.

«Отпусти (освободи) народ мой!», – спустя тысячелетия слова эти, обращенные к Угнетателю, воодушевляли вершителей великих демократических революций Нового времени: Нидерландской (XVI в.), Английской (XVII в.), Американской (Война за независимость Соединенных Штатов, XVIII в.) Отныне в англосаксонском мире стали обычными библейские имена, славнейшим из которых явилось имя Авраама Линкольна, борца против рабства (XIX в.) В XX в. тот же призыв, многократно повторенный в Пятикнижии, был подхвачен Мартином Лютером Кингом, борцом за гражданские права; он звучит в народных

спири-чуэлс…». Странно, что в этом перечне не упомянуты ни Великая Октябрьская революция – главное мировое событие первой половины XX века, ни горбачевско-ельцинская революция, ставшая геополитической катастрофой конца XX века.

А вот начало книги Тартаковского – из вступления: «Нынешний год – 2003-й по христианскому календарю – объявлен Годом Библии. Книга Книг переведена уже более чем на две тысячи языков…

Моисею (Моше), которому некогда на Синае были вручены каменные скрижали с Десятью заповедями, Законом, доныне служащим основанием всечеловеческой морали, приписывается авторство первых пяти книг Библии. Они так и названы – Пятикнижие Моисеево. Это священнейшая для евреев Тора (др. – евр. – Учение), на которую ссылается и Христос в Нагорной проповеди: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (Матф. 5/17).

Тора – вероятно, самая значимая книга в истории человечества, зерно, из которого проросли три мировые религии (также ислам) и – как следствие и антитеза – рациональная критическая мысль. Не случайно этой Книге приписываются поистине необыкновенные свойства. Еврейский мистицизм, средневековая Каббала, рассматривает Тору как изощренную систему символов; тот, кто расшифрует их, допущен будет к рычагам мироздания, поставленного Всевышним.

Уже современное компьютерное прочтение текста (с учетом каждой 4-й, 12-й, 15-й буквы канона) по мнению некоторых специалистов (не историков) дает неожиданные предсказания, будто бы оправдавшиеся в наше время и – как вывод – справедливые для грядущих веков…



Рисунок Бродского с автографом, сделанный в тюрьме. Из архива М. И. Мильчика

Не скроем, большинство ученых отвергает подобную мистику. Мы прежде всего видим в содержании Торы подлинное

свидетельство зарождения цивилизации. И не для того всматриваемся в историю, чтобы предугадать будущее, но для того, чтобы не споткнуться о прошлое. Его камни повсюду разбросаны у нас под ногами.

Тора / Моисеево Пятикнижие – Откровение, полное и загадок, и решений, актуальных для каждого. Книга эта жива поныне».

Так что автора загадками, подлинными и мнимыми – не удивить. Потому для книги «Анти-Бродский» приобретает особое значение его выступление в русскоязычной «Литературной гостиной» Мюнхена, открывшее дискуссию на тему «Разрушение смысла – разрушение искусства – распад нравственности». Потом оно было опубликовано на нескольких сайтах с небольшими разночтениями, но суть ясна и убедительно выстроена. Выступление называлось «Гений Малевич, Лауреат Бродский и профессор Ганнушкин». Надо отдать Тартаковскому должное: он подобрал такие цитаты из позднего творчества лауреата, что, действительно, поверг бы и основателя клиники для психов Ганнушкина в ступор.

Маркс Тартаковский

«Иосиф Бродский – явление, думается, скорее историческое, чем поэтическое. В философских терминах – более ноуменальное, умопостигаемое, чем феноменальное, постигаемое чувствами. В своем творчестве Бродский повторил некую удивительную тенденцию в мировом искусстве XX века. И в этом смысле поэзия его сравнима со знаменитейшей «Герникой» Пикассо, со знаменитым «Улиссом» Джойса и с не менее знаменитым «Черным квадратом» Казимира Малевича…

С «Квадрата» и начнем. Это отнюдь не прошлое, это – современность. Парижская «Русская мысль» (2000. № 4333.Сентябрь) сообщает, что в мае 2000 года «супрематическая композиция» Малевича продана на аукционе «Филлипс» за 119 миллионов франков (почти 19 миллионов долларов). Ни Менделеев, ни Эйнштейн не мечтали и о сотой доле такой суммы за свои открытия. «Супрематическая композиция» – это несколько прямоугольников, выполненных без особого тщания… Когда-то писали «хвостом осла», теперь пишут «кистью гения». Казимир Малевич, оказывается, единственный из русских художников всех времен, работу которого можно продать на аукционе за сумму с семью нулями. В списке самых дорогих художников – во всем мире во все времена – Малевич на восьмом месте! Как хотите, что-то в судьбе этой проглядывает знакомое. Да, масштабы отнюдь не те, да и действия иные, но вот почему-то тянет на сравнение…

«Гроссмейстера встретили рукоплесканиями… Он подошел к одноглазому любителю, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки e2 на клетку e4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и принялся думать. По рядам любителей прошелестело:

– Гроссмейстер сыграл e2-e4.

Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с e2 на e4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные размышления…».

Не так ли и мы, соприкасаясь с творением знаковой фигуры – Grossmeister'a (да что уж там – гения!), тут же «схватываем уши руками и принимаемся думать»? Над чем? Куда тут девается здравомыслие, обычно, в бытовых обстоятельствах, присущее нам? И не с этим ли замиранием души подходим мы к прославленному (прежде всего самим Малевичем) «Черному

квадрату», который могли бы намалевать сами? Мог бы, во всяком случае, любой квалифицированный маляр, которому и в голову не пришло объявлять это произведением искусства.

Остап действовал с безошибочным расчетом на специфику массового сознания. Был представлен сногсшибательный проект превращения Васюков в Нью-Москву, своего рода манифест. На любителей это действует неотразимо. Малевич тоже выступал «с раздачей слонов». Когда ему заметили, что квадрат выполнен небрежно, он с неподражаемым апломбом ответил: «В квадратном холсте изображен с наибольшей выразительностью квадрат по законам нового искусства… Он не имеет ни одной параллельной линии к геометрически правильному квадрату холста и сам по себе также не повторяет параллельность линий сторон, являясь формулой закона контраста, присущего искусству вообще».

Малевич не любил вспоминать, что в начале века трижды проваливался при поступлении в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Валентин Серов и Константин Коровин, преподававшие там, видели перед собой уже и не слишком молодого человека, оснащенного апломбом вместо таланта.

Великие учителя все же, наверное, ошибались. Казимир Северинович безошибочно учуял пресловутый «дух времени»: «Пролетариат – творец будущего, а не наследник прошлого… Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому… Разрушать – это и значит создавать»; «Я развязал узлы мудрости, я преодолел невозможное… Взорвать, разрушить, стереть с земли старые художественные формы – как не мечтать об этом новому художнику, пролетарскому художнику, новому человеку»…

С неудержимым апломбом самоименуются так называемые «революционные течения» нашего воистину трагического века: модернизм (от фр. – новейший), постмодернизм (наиновейший), авангардизм (от фр. – передовой), футуризм (от лат. – будущее), супрематизм (от лат. – наивысший)… Очередные «измы», передовые и передовейшие. Могла ли, кстати, такая манифестация понравиться вождю всех народов, фюреру тысячелетнего рейха, любому диктатору, который при этом как бы уступает искусству часть прерогатив в области идеологии? И вот это непризнание тоталитарной властью, к которой новаторы всякую минуту готовы были приползти на брюхе (что с бесстыдством обнажено в вышеприведенных и других подобных манифестах), снискало им дополнительную славу – «борцов с тоталитаризмом».

Что действует и доселе! Местный старатель только что выставил в Мюнхене, у Старой ратуши на Мариенплац, «Черный квадрат» в собственном исполнении и на скверном немецком

объясняет почтеннейшей баварской публике (шляпы с барсучьими кисточками, пригодными для бритья, кожаные штаны до колен…), чем славен russisches Genie Малевич и почему «авторская копия» – выгоднейшее вложение…

Понятно, Geschäft – святое дело. Ну а в нашей богоспасаемой отчизне уже не простаки с кисточками на шляпах вместо перьев, но искусствоведы Третьяковки в беспокойстве: знаменитое полотно (в действительности авторская копия, поскольку оригинал осыпался еще в 20-е годы) покрывается трещинами, вот-вот, в свою очередь, начнет осыпаться…

Не обходится без мистики: в центре «Квадрата» трещины погуще, жиже по краям – с чего бы это?.. Рентгеноскопия обнаруживает «знак, подобный цифре 3», на холсте под живописным слоем – к чему бы это?.. Словом, забот полон рот.

«Ну и что? – спросишь сам себя. – Дух веет где хочет». Так в чем же дело? А дело ведь не в них, творцах, а в нас, публике. Как-то неохота попадать в разряд тех, о ком поп-певец Титомир отозвался с прямотой римлянина: «Пипл хавает».

Гилберт Честертон писал: «Те, кого мы зовем интеллектуалами, делятся на два класса: одни поклоняются интеллекту, другие им пользуются. Те, кто пользуется умом, не станут поклоняться ему – они слишком хорошо его знают. Те, кто поклоняется, – не пользуются, судя по тому, что они о нем говорят… Круглых дураков тянет к интеллектуальности, как кошек к огню».

«Ибо связки – не бздюме утряски»

Тема – необъятная. Предельно сузим ее. Обратимся к поэту, который – хоть уже и не с нами – по-прежнему у всех на виду, поскольку отмечен высшей творческой наградой – Нобелевской премией. На виду – но на слуху ли? Стихи ведь это прежде всего звучащее слово. Вот наш поэт-лауреат в обители муз, в Италии. Возлюбленная изменила ему с неким графом. Не слишком ново; впрочем, как говорится, се ля ви.

Но что трагедия, измена
для славянина, то ерунда
для джентльмена
и дворянина. Граф выиграл,
до (!) клубнички лаком,
в игре без правил. Он ставит
Микелину раком,
как прежде ставил…

«Славянин», то есть сам поэт (или его alterego), находит утешение (как водится) во вдохновении:

…сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность, все ж не оставлена
свобода,
чья дочь – словесность. Она, пока
есть в горле влага,
не без приюта. Скрипи, перо. Черней,
бумага.
Лети, минута.

Черней – покрывайся письменами. Что ж, обратимся к оным… Увы, во всем объемном, едва ли не последнем прижизненном сборнике (Урания. Ардис, 1987) к Иосифу Бродскому в приведенных только что строчках словно бы вернулась былая поэтическая сила. Как же объективно реализуется столь сильно заявленное вдохновение? «Элегия» в сборнике на предыдущей странице все о том же – об отринутой любви, но чувство тонет в косноязычии и чудовищной невнятице:

До сих пор, вспоминая твой голос,
я прихожу в возбужденье. Что, впрочем,

естественно. Ибо связки
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами,
и не бздюме (!) утряски
вещи с возрастом. Взятый
вне мяса, звук
не изнашивается в результате треньев…

И так далее – до заключительных строчек:

потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать
этот номер мне
как выползти из воды на сушу.

Бродскому, надо сказать, любы не стихи как таковые, но непременно – элегии, эклоги («зимние» и «летние»), сонеты (венками!), катрены, стансы (сборник 1983 года – «Новые стансы к Августе»), квинтеты, на худой конец, строфы (зато – «Венецианские»)… Но для чего бы вполне случайные наборы слов произвольно дробить на мнимо поэтические строки, располагать столбцами? Ведь не только рифмы, но и ритма, и лада нет. Да и смысла тоже. Потому что поэтический смысл если как-то еще возможен без рифмы (верлибр), то без лада – никак.

Но может быть, тенденциозен мой подбор цитат? Прибегну к содействию известного – да что там, глобально прославленного – критика Александра Гениса. Вот поэтические выдержки из его панегирика поэту. Оправдан ли восторг?

Итак, А. Генис «Взаймы у будущего, или Последняя книга Бродского»:

«Человек – штучен, уникален, неповторим, а значит, конечен. Он живет в пунктирном мире, разделенном на вчера, сегодня и завтра. Зато, скажем, птица… ближе к вечности. Собственно, об этом она сама сказала поэту:

Меня привлекает вечность.
Я с ней знакома.
Ее первый признак —
бесчеловечность.
И здесь я – догма».

(Вероятно, «здесь я – дома». А впрочем, поди знай, опечатка

или прихоть поэта?).

Вот Генис приводит другой опус Бродского. Все слова, и после точки, почему-то со строчной буквы:

когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.
ему подпевает хор
хордовых, вторят пять
литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь
отвоевал прибой.

Комментарий критика: «Суша – частный случай моря… Первая буква слова «волна» в родстве с перевернутой восьмеркой – знаком бесконечности. Профиль самой волны напоминает Бродскому губы. Соединив эти образы, мы решим ребус: море – речь. Море относится к суше, как язык – к сонету, как словарь – к газете. И в этом смысле море – поэт, оно не просто речь, оно – возможность речи.

Именно потому,
узнавая в ней свой
почерк, певцы поют
рыхлую бахрому.

Не самоирония ли – «рыхлая бахрома» бессвязных строчек?.. Не бессвязен ли комментарий маститого критика?..

Бродский любит отталкиваться от безусловной поэзии. И тут он непревзойден в обилии слов. Один из множества его «откликов» на пушкинское «Я вас любил…»:

Я вас любил. Любовь еще
(возможно, что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но
сложно…



Иосиф Бродский. 1962 г. Из архива Б. С. Шварцмана

У Гёте «Римские элегии» – и у Бродского «Римские элегии». Гёте «нежную выпуклость груди взором следил» – и Бродский делает то же:

> Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
> Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
> Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
> плоть, принявшая вечность как анонимность торса…

Это – любовь. И вот обстановка, способствующая любви (так сказать, «объята Севилья и мраком, и сном»):

Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью,
как чешуею рыба…

Бемоль, между прочим, «знак, предписывающий понижение какой-либо ступени звукоряда» (СЭС, 1981). «Тишина обрастает»… знаками?

А это как понимать?

Синий всегда готов отличить
владельца
от товаров, брошенных вперемежку
(т. е. время – от жизни),
дабы в него вглядеться.
Так орел стремится вглядеться
в решку.

Примечание в скобках – самого Бродского. Строчки «Элегии» воспринимались бы как нормальная самоирония поэта, если б они опять-таки не тонули в мешанине слов:

Вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин,
не повторяя ничего, кроме нимфы,
дующей в окарину,
кроме того, что она – сырая
и превращает лицо в руину.

Окарина – «род свистковой флейты» (СЭС). Поэт-эрудит любит отсылать нас к энциклопедиям. Кого-то, видимо, это тешит. Надо думать, не многих. На Западе, чьим примером принято у нас обольщаться, поэты давно уже пишут не для читающей публики, а лишь друг для дружки (так называемая «университетская поэзия»), иначе говоря, занимаются самоедством и тем, как говорится, живы. Зритель в театре, как известно, «голосует ногами». Подобное происходит и с читателем. Поэзия – особым, уникальным образом организованная речь, ограненная ритмом, рифмами. Известно: «Из песни слова не выкинешь». Без поэзии разрушается обыденная речь. В нашем

словесном обиходе уже все дозволено – в падежах, ударениях, склонениях, окончаниях слов. Послушайте-ка радио и теледикторов…

«В тоске по столбам-в-этом мире-иль-ганнушкиным»

Но даже и не это главное. Когда в искусстве исчезает смысл, в сознании народа исчезает зримая грань между добром и злом; и в политике тогда тоже уже все дозволено. Между манифестами новаторов и ужасами столетия не абсолютная, но очевидная связь. «Мы призываем разрушить чистый русский язык (и) причинно-следственный образ мыслей», – заявлено в манифесте кубофутуристов 1913 года. Напрямую с августом 1914-го это не свяжешь. Но не разрушена ли напрочь связь «причин и следствий» в действиях, скажем, самого Малевича? Ярый оборонец и патриот, он, однако, всячески увиливает от мобилизации и фронта… Он и Маяковский, оба в эпатажных желтых кофтах, предпочитают агитировать «за войну до победного конца», ужиная в ресторанах и отсыпаясь на мягких перинах…

В страшную годину сталинской коллективизации крестьяне в живописи Казимира Малевича предстали пошло раскрашенными муляжами, лишенными не только глаз, губ и прочих аксессуаров лица, но и вообще лиц (вместо – пустой белый овал), а подчас и голов («Сенокос», «Голова крестьянина», «Девушки в поле»). Все это было как бы художественной аллегорией на тему столь ходкого в начале 30-х годов сомнительного тезиса Фейербаха насчет «идиотизма сельской жизни». Странно соседствуют в наше время на страницах иллюстрированных изданий эти изображения существ, лишенных всего человеческого, индивидуального, личностного, с помещенными подчас тут же воспоминаниями и статьями об ужасах раскулачивания…

Подробнее об этом я писал в моих книгах. Но короче и, пожалуй, выразительнее о том же сказал в стихах питерский поэт Евгений Рейн. Это о нем, кстати, сам Бродский писал: «Если у меня был когда-нибудь мэтр, то таким мэтром был он». Итак, стихотворение «Авангард»:

Это все накануне было,
почему-то в глазах рябило,
и Бурлюк с нарисованной рожей
Кавальери казался пригожей.
Вот и Первая Мировая,
отпечатана меловая
символическая афиша.
Бандероль пришла из Парижа.

В ней туманные фотоснимки,
на одном – Пикассо в обнимку
с футуристом Кусковым Васей,
на других – натюрморты с вазой.
И поехало, и помчалось —
кубо, эго и снова кубо,
начиналось и не кончалось
от Архангельска и до юга,
от Одессы и до Тифлиса,
ну а главное, в Петрограде.
Все как будто бы заждалися:
«Начинайте же, Бога ради!»
Из фанеры и из газеты
тут же склеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:
«Начинается, вот он, прибыл,
послезавтра, вчера, сегодня!»
А один говорил «Дурщилбыр!»
в ожидании гнева Господня.
Из картонки и из клеенки,
по две лесенки в три колонки,
по фасадам и по перилам
Казимиром и Велемиром.
И когда они все сломали,
и везде не летал летатлин,
то успели понять едва ли,
с гиком, хохотом и талантом
в ЛЕФе, в Камерном на премьере
средь наркомов, речей, ухмылок,
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.

Скажут: да о том ли это? о Бродском ли? Сам Евгений Рейн станет уверять, что не о том… Об этом! Будьте уверены! О том, что не так уж невинны когда бы то ни было игры со смыслами – их искажение и разрушение. Тогда как именно здравый смысл – «высший гений человечества» (Гёте).

Но – Нобелевская премия Иосифа Бродского!.. А что – Нобелевская премия? Лев Толстой, к примеру, ее не получил. В решении «разряда изящной словесности» Академии наук от января 1906 года указывалось, что «академия не может отделять беллетристику Толстого от его политико-литературной

деятельности и ввиду характера последней (отвержение официальной Церкви, индивидуальное богоискательство. – М. Т.) не может указать на Толстого как на достойного премии».

Случай Бродского как раз обратный. Еще Анна Ахматова заметила, что Бродский по-своему обязан репрессивной советской власти, «выстроившей ему биографию». Вероятно, одного этого было бы недостаточно. Требуется и некое творчество (на первых порах в полной мере, бесспорно, присутствовавшее у Бродского). Тут-то и вступает в свои права «феномен подстрочника».

Вслед за техническими наиболее переводимы на любой язык тексты на эсперанто. Более того, на живых языках эсперантская поэзия звучит ярче, чем в оригинале.

Стихотворную заумь в принципе переводить проще, чем нормальный стих (оттого-то «международный успех» Андрея Вознесенского): неизмеримо большая свобода для трактования текста, подбора слов. Во Франции, к примеру, едва ли не известнейший современный русский поэт – Геннадий Айги, лауреат нескольких французских литературных премий. Не раз предлагался и на Нобелевскую. Вот один из характерных его опусов (приводимый мной здесь без разбивки на строки для экономии места) – без точек и запятых и уж само собой без рифм: «Сплю это где-то давно без страны это место где я а утешение – где-то под снегом дрова вьюга с тех пор и не нужен и я дружба теперь – рукавами во льду тает об дерево кровь-моя-сон: как запевается! тенью своею качаясь болью как в воздухе в тоске по столбам-в-этом мире-иль-ганнушкиным песнью ненужной качаясь в поле во вьюге средь хлопьев-существ лбом рассеченным в мир распеваясь! – для Господа перебирая под снегом дрова».

Я учился когда-то вместе с Геннадием Лисиным (Айги) в Литературном институте и, вспоминая этого добросердечного чувашского парня, не без Божьей искры (у С. И. Вашенцева, заведовавшего кафедрой творчества, ходил в самородках), боюсь, что примечательнее всего в приведенном его тексте упоминание о Петре Борисовиче Ганнушкине – «одном из создателей т. н. малой психиатрии, учения о пограничных состояниях» (СЭС). Куда только не заведет простую душу циничное неумеренное захваливание…

Словом, перевод и даже подстрочник зауми (чего-то подобного) намного привлекательнее оригинала. Подстрочник (плюс стихи Бродского питерского периода, плюс справедливо заслуженная в те годы известность диссидента) заставляет предполагать нечто большее, чем есть на самом деле. Это, надо думать, и перевесило во мнении иноязычных нобелевских арбитров. Англоязычные стихи Бродского, кстати, вызвали ряд

насмешливых рецензий в американской прессе. Поэт, впрочем, не обязан творить на чужом языке. Свой не надо бы забывать.

«Втискивание в черную дыру»

Более ста лет назад, в 1891 году, в Киеве вышла «Новая книга о природе» Иосифа П-ова (так фамилия указана на обложке). Содержание «Новой книги» вполне исчерпывается в первом же абзаце; последующее суть вариации вот этого единственного тезиса: «Главная причина движения воды есть шарообразность земного шара. Вода на шаре не может пребывать в покойном состоянии, так как на поверхности шара каждый его пункт, или точка, есть центр, или высокое место, по отношению к другим пунктам шара».

Отсюда-де все то, что наблюдаем в окружающей нас действительности: течение рек, волнение на морях – вплоть до движений души, к чему вода тоже как-то причастна…

18 апреля 1996 года в Москве, в Институте философии Российской Академии наук, состоялось заседание диссертационного совета. К защите на соискание ученой степени доктора философских наук был представлен научный доклад на тему «Этико-антропный принцип в культуре». Читаем в стенограмме: «Присутствовало 14 членов совета, в том числе 4 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации». При пересказе оной боюсь допустить субъективные искажения. Так что слово самому соискателю:

«Во Вселенной существует единый код живой и т. н. неорганической материи. У всего живого есть единый генетический код. У Вселенной в целом есть метакод. Структура этого кода, связующего человека и мироздание, видна на небе. Это огненный шифр созвездий…Искусство и наука тоже подчинены этому единому коду. И строятся на тех же архетипах. Например, смерть Ивана Ильича у Льва Толстого выглядит как втискивание в «черную дыру», затем туннель, потом толчок, смена направления. Он думал, поезд движется в одну сторону, а оказалось, в противоположную. После этого выворачивания в конце туннеля появляется свет.

Но такой же сценарий пишут космологи для описания мысленного подлета к реальной черной дыре… Речь идет о едином коде, метакоде… Выворачивание, или инсайдаут, пережитое Иваном Ильичом, в данном случае относится к смерти. Но и в момент рождения младенец, выворачиваясь из чрева, внезапно обретает бесконечную перспективу нашего мира…

Выворачивание, или инсайдаут, – два сильнейших переживания в моей жизни, которые я пережил в 16 и 27 лет. Поэтому для нас это не просто культурологический материал, а

самое глубокое и яркое описание своего как бы второго космического рождения, когда Homosapiens становится Homocosmicus».

Все. Точка. Finisest. Не будем придираться к стилю, к назойливым повторам в каждой фразе, не станем выяснять, синонимы ли выворачивание и инсайдаут или это разные понятия (в двух последних абзацах они представлены и так, и этак)…

Председатель заседания. Какие вопросы возникли у членов совета?

Первый же вопрос. Вы очень красиво обрисовали выворачивание во Вселенную. Люди не вывернувшиеся способны спасти Россию или нет?

Прочие вопросы в том же духе.

Заключительное слово соискателя докторской степени по философии: «Описать выворачивание довольно трудно. Поэтому наиболее полным описанием является мой текст «Компьютер любви»…».

Соискатель упоминается в стенограмме еще и как поэт, и текст дан в форме поэмы. Она обширна, и нет уверенности, дослушана ли до конца высоким собранием. Привожу выдержки (точки, запятые, заглавные буквы не наличествуют):

небо – это ширина взгляда
взгляд – это глубина неба…
кошки – это коты пространства
пространство – это время котов…
женщина – это нутро неба
мужчина – это небо нутра…
Христос – это солнце будды
будда – это луна Христа…
проститутка – это невеста времени
время – это проститутка
пространства…
верблюд – это корабль пустыни
пустыня – это корабль верблюда…
любовь – это скорость света
обратно пропорциональная
расстоянию между нами
расстояние между нами обратно
пропорциональное скорости света —
это любовь



В ссылке

Здесь должна бы стоять точка, поскольку это опять-таки fnis.

«Диагноз – высшая степень слабоумия»

«Самым характерным свойством параноиков является их склонность к образованию так называемых сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются; эти идеи заполняют психику параноика и оказывают доминирующее влияние на все его поведение. Самой важной сверхценной идеей параноика обычно является мысль об особом значении его собственной личности.

Кто не согласен с параноиком, кто думает не так, как он, тот в лучшем случае – просто глупый человек, а в худшем – его личный враг… Как бы ни был узок и малозначим сам по себе тот или иной вопрос, раз им занят параноик, этого должно быть достаточно, чтобы этот вопрос получил важность и общее значение.

Параноики крайне упорно отстаивают свои мысли, они часто оказываются борцами за ту или иную идею, однако же это все-таки менее всего идейные борцы: им важно, их занимает, что это – их идея, их мысль, дальнейшее их не интересует. Параноики страдают недостатком критической способности, но этот недостаток очень неравномерно распространяется на различные их суждения (возможны и вполне разумные, прежде всего в повседневных делах, что подчас позволяет им находиться в обществе).

В целом надо сказать, что мышление параноиков – незрелое, неглубокое, по целому ряду особенностей прямо приближающееся к детскому; это мышление не только субъективно, но и резко аффективно окрашенное: правильно только то, что хочется и нравится параноику. У некоторых параноиков мышление находится в большой зависимости от непомерно развитой и не сдерживаемой критическим отношением и логикой фантазии, но чаще оно в гораздо большей степени определяется их чрезмерной склонностью к резонерству, т. е. к своеобразным построениям, берущим за основание какую-нибудь одностороннюю мысль и доводящим ее до крайних пределов, невзирая на явные несообразности. В основе резонерских суждений всегда лежит та или иная ошибка суждения, самим субъектом, однако, не сознаваемая как в силу его ослепленности аффектом, так и в силу слабости его критики…» (Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий).

Это написано в начале века, причем профессор Ганнушкин взял в качестве примера рассуждения безвестного ныне Иосифа П-ова, приведенные в его уже цитированном здесь труде о причинах

текучести вод. Мировой авторитет Петра Борисовича Ганнушкина побудил и меня ознакомиться с этим трудом…

Заметьте, квалифицированный диагноз поставлен психиатром по письменному свидетельству, без непосредственного наблюдения. Сам я, конечно, не рискну вывести такое же суждение в отношении вышецитированного диссертанта по трем причинам:

1) соискателю тринадцатью голосами из четырнадцати присуждена ученая степень доктора философских наук;

2) сама защита сочтена столь значительной, что удостоилась опубликования на страницах элитарного философского издания «Комментарии»;

3) сам этот нынешний доктор философии фигура далеко не безызвестная в художественном мире; это Константин Кедров – не только поэт-авангардист, автор поэтических сборников, но и мэтр, суждения которого тиражируются в самых продвинутых российских изданиях.

Вот, кстати, его суждение, бесповоротно подтверждающее тот факт, что поэтический и художественный авангард поныне явление более чем актуальное: «В Интернете широко распечатана статья поэта и профессора философии Вадима Рабиновича (один из официальных оппонентов при защите К. А. Кедрова. – *М.Т.*)

«Авангард – черновик культуры». Если «Квадрат» Малевича черновик, то чистовиков мне просто не нужно. Авангард всегда открытие. Продолжения быть не может. «Я открыл бездну. За мной, авиаторы!» – воскликнул Малевич, создав «Черный квадрат». Но даже сам гений не смог устремиться за собой. Осваивать открытие не дело авангардиста. Он должен открывать новое».

Далее замечательное признание: «Авангард в своей эстетической теории не менее, а иногда и более интересен, чем в воплощении». То есть амбициозные словеса, развесистая философская клюква и составляет, в сущности, «прелесть» всякого авангардного искусства…

Философы (они же по совместительству поэты) теоретизируют, а «душевнобольные художники из психиатрической клиники Гуггинг под Веной продают свои картины за 50 тысяч марок и более. (Это я уже цитирую немецкий общественно-политический еженедельник «Шпигель», тоже не чуждый прокладыванию дорог.) Обитатели этого дома – лауреаты различных премий и представляли свои творения в Кельне, Париже, Сан-Паулу, Нью-Йорке. Диагноз их заболеваний – шизофрения, мания преследования, высшая степень слабоумия. Рыночный успех их произведений заново открыл дебаты на тему

гениальности, искусства и сумасшествия. О гуггингцах теперь говорят в музеях и галереях всего мира. Критики сравнивают их с Пикассо и Жоаном Миро… Новые журналы в США посвящены исключительно такой живописи, в Нью-Йорке и Чикаго открываются специальные галереи для творений психически больных художников. Европа и Америка уже завоеваны, на очереди – японский рынок…».

Ну, японские ценители – что называется, высший класс! Не столь давно один из вариантов знаменитейших вангоговских «Подсолнухов» был куплен там за фантастическую сумму – помнится, за 82 миллиона долларов!..

Позднее, кажется, вышла незадача. Кто-то решил, что к данным «Подсолнухам», неотличимым от вангоговских, он все же не прикасался. Своей рукой мастер написал семь копий, кто-то будто бы смастерил восьмую, подсунутую доверчивым японцам. Гигантская сумма ухнула в трубу?..

Но может быть, кто-то объяснит мне почему? Ведь абсолютная идентичность. Объективная эстетическая ценность все та же. Да и так ли уж она непостижимо высока? Конечно, это не неряшливая геометрия Кандинского или квадраты Малевича. Еще все-таки цветочки, подсолнухи… Одна из вангоговских копий висит в мюнхенской Новой Пинакотеке. Посетители, обратив внимание на табличку, непременно останавливаются возле скромного полотна, примечательного разве что своим тусклым колоритом, – и отходят с непременным едва заметным пожатием плеч. Своего мнения не высказывает никто.

Быть может, десятки миллионов долларов – это цена отрезанного безумным художником собственного уха? Кстати, отрезанное ухо Ван Гог отдал в бордель. Не в этом ли какая-то мистическая разгадка?..Но чур меня! Знаменитый голландец вовсе не из этой компании и жил не в этом веке, а в прошлом (и между прочим, сам многомудрый автор сей эстетической экспертизы поместил в своем кабинете весьма недурную репродукцию вангоговских «Лодок на морском берегу»)…

«Я хочу, чтобы все люди думали одинаково»

В начале 90-х годов еще только входивший во славу писатель Сорокин выступил по ТВ. Уже появился его первый роман «Норма», уже читающая публика была ошеломлена, но обнаружила на экране вполне пристойного молодого человека. Он скромно, даже застенчиво отвечал на вопросы интервьюера, сказал, в частности, что роман был написан для узкого дружеского круга, в котором трактуемая тема постоянно обсуждалась. Он, Сорокин, удивлен неожиданной популярностью своей вещи, рассчитанной, так сказать, на любителя, в самых широких читательских кругах…

Словом, писатель тогда еще и подумать не мог, чтобы, скажем, объявлять во всеуслышание, что человеческие экскременты различаются лишь по запаху, на вкус же все они вполне пресный продукт…Что и говорить, старик Фрейд просто зарыдал бы от счастья, встретив такого пациента! Ярчайший, ничем не замутненный фекально-анальный синдром (комплекс), притом не загнанный во тьму подсознания, как принято думать, но господствующий в интеллектуальной сфере данной личности. То есть пациента незачем укладывать на знаменитую психоаналитическую кушетку и месяцами (а то и годами) морочить ему и себе голову – тут все как на блюдечке, все как со слюной собачек Ивана Петровича Павлова, наглядности экспериментов которого Фрейд, между прочим, втайне завидовал…

Своеобразие сорокинской темы, конечно же, покорило высоколобых радетелей отечественной словесности. «Сушеные экскременты, которые в обязательном порядке поедают все добропорядочные герои первого сорокинского романа, не случайно названы НОРМОЙ, – сообщает нам Дмитрий Быков, принадлежащий к генерации молодых и отважных критиков, не испытавшей гнет коммунистической цензуры. – Недобирая за счет эмоций более высокого порядка, он компенсирует это избытком шокирующих деталей. Но и к этим избыткам гнойно-рвотно-каловых масс привыкаешь… Сорокин – самый нормальный писатель. Лично я бы читал и читал».

Феномен не новый. «Привычка свыше нам дана…». Общественным деятелям и политикам это давно известно и является мощным подспорьем в их деятельности. Взгляните хоть на непотребства Жириновского – при полной безнаказанности и

уже даже равнодушии общества. Тоже ведь герой нашего времени. А вот и другой герой, несравненно большего масштаба. Во вступительной речи при торжественном открытии 15 октября 1996 года московской конференции «Федерации семей за мир во всем мире» почетнейший гость Сан Мен Мун обращается с высокой трибуны к собравшимся: «Вы пробовали свои козявки из носа? Какие они на вкус: сладкие или соленые? Соленые, правильно? Раз вы отвечаете, значит, пробовали! А почему они не казались вам грязными? Потому что представляли часть вашего тела! Я, преподобный Мун, додумался до того, что никогда не приходило никому в голову…».

Что ж, хлопают. И встают, чествуя «преподобного» Муна, самозваного главу самозваной «Церкви объединения», почтившего Россию своим прибытием. Тут же в московском переполненном зале присутствует Джордж Буш, экс-президент Соединенных Штатов. Тоже встает и хлопает. Затем звучно поздравляет «преподобного» Муна с замечательной речью, не смущенный тем, что «преподобный» в этой речи посоветовал Иисусу Христу жениться и обзавестись собственной семьей, что тоже «никогда не приходило никому в голову».

Не надо думать, что христианин Джордж Буш, бывший морской летчик, герой Второй мировой войны, да и президент не из худших, лукавил. Или преследовал некие тайные цели… Нет, срабатывает обычный синдром стадности. Ну и есть известная отвага в том, чтобы вот так вот выложиться перед огромной аудиторией…

Человек, как известно, существо общественное. Все встают и хлопают; очень трудно самому не захлопать и не встать. Все вокруг уверяют, что от телезаклинаний Кашпировского у них пропали бородавки, – как тут не поверить? Наш отечественный преподобный Чумак зарядил своей энергией завтрашнюю «Вечернюю Москву» – попробуйте наутро удержаться и не купить газету. Глоба на ночь глядя транслирует миллионам свой «глобальный прогноз» – миллионы не ложатся спать, ожидают появления брадатого Глобы…

В математике есть понятие множества, есть теория множеств, которой так недостает социологии…Кончина в цветущем возрасте от банальной хвори калифорнийца Марка Хьюза, создателя «на основе четырех тысяч трав, собранных в Тибете во время полнолуния», универсального спасительного средства «Гербалайф», пошатнула чью-то веру. Но сектоведы отмечают в это самое время неожиданное массовое пополнение общин сайентологов. Их священная книга – «Дианетика: современная наука душевного здоровья». Знаете ли вы, что медитировать

полезнее всего в безлунную ночь?..

Эх, сами-то мы смертны. Вера в чудеса – бессмертна.

Живописцы Малевич и Пикассо, шоумен Титомир, поэты Иосиф Бродский и Геннадий Айги, литературные критики Александр Генис и Дмитрий Быков, нынешние философы Кедрин с Рабиновичем, психи из австрийской клиники, прозаик Сорокин, наконец, сам «преподобный» Мун, разом венчающий по радио

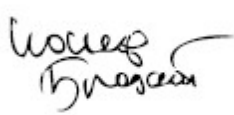
тысячи молодоженов, собирающихся для этого на стадионах, прочие и прочие звезды нашего, увы, звездного века – все это разные люди. И масштаб их действий разный. И мотивы тоже разные. Далеко не каждый из них бездарен, не каждый безумен, отнюдь не каждый прохвост. Есть личности чрезвычайно значительные сами по себе. Но все они оснащены оглушающим нас апломбом и – как следствие этого – способностью создать внимающую им аудиторию. Подчас многомиллионную. Такое стало вполне возможным в наш век массовых коммуникаций, в обществах поголовной (но, не забудем, весьма относительной) грамотности. Когда искусство стало общедоступным, толпа делает выбор в пользу тех, кто способен ее перекричать.

«Я хочу, чтобы все люди думали одинаково» – таково программное заявление Энди Уорхола, одного из отцов поп-арта, американизированного чеха (Андрей Вархола), завалившего планету бесконечным тиражированием (с помощью элементарного типографского трафарета) изображений банки пепси-колы наряду с банальнейшей мордашкой Мэрилин Монро.

Многие современные так называемые звезды подписались бы под такой программой. Суждено ли ей осуществиться?».

P.S.

Как видим, и соплеменники Бродского на Западе не все думают одинаково, даже если бы славословие принесло им какие-то выгоды.





Евгений Рейн (справа вверху) и Иосиф Бродский в Норинской. За спиной Бродского хозяйка дома, в котором он снимал комнату.

А. Буров – тракторист – и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые – шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага…

Бродский: протестант или вечный жид?



Когда Иосиф Бродский прилетел в Стокгольм получать Нобелевскую премию, один журналист прямо в аэропорту спросил его: «Вот вы американский гражданин, живете в Америке, и в то же время вы русский поэт и премию получаете за русские стихи. Кто же вы – американец? Русский?». – «Я еврей», – ответил Бродский. Сложный и больной вопрос. Ясно одно: Бродский не сионист – даже в Израиль не съездил.

«Я еврей на сто процентов, – признавался поэт. – Нет на свете человека, который был бы большим евреем, чем я». По своему культурному багажу, как признают многие исследователи-евреи, Бродский, без сомнения, был типичным представителем своего поколения советских евреев, абсолютно оторванного от национальных корней. Даже Библию Бродский впервые прочитал уже в Америке.

В библейском рассказе евангелистов упоминается Вечный жид – иудей-ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Иисуса Христа, несшего Свой Крест, который отказал Иисусу и оттолкнул его, когда тот попросил позволения прислониться к стене его дома, чтобы отдохнуть. Иоанн Буттадей (buttare – бить, ударять; deus – Бог) ударил Иисуса Христа, причем сказал ему дерзкие слова: «Ступай мимо, отправляйся на смерть». Христос ответил ему: «Я пойду, но ты не умрешь до моего возвращения». Сущность легенды, если отвлечься от частностей, – воздаяние Божества человеку, выражающееся в вечном скитании или вечных муках человека, согрешившего против Христа. Примерял ли на себя судьбу Вечного жида Иосиф Бродский?

«Когда кто-нибудь спрашивает меня о моем этническом происхождении, я говорю, что я еврей. Довольно смешно мне с моим носом было бы называться русским», – говорил поэт. Из этого видного, что понимание еврейства для Бродского сводилось к чисто внешним антропологическим признакам. Однако на глубинном уровне по своей идентификации Бродский был

универсалистом и космополитом. Он сформировался как личность под влиянием прежде всего русской литературы, западноевропейского искусства и истории классической древности. «Римские элегии», «К Урании», «Венецианские строфы», «Двадцать сонетов Марии, королеве шотландской» – вот типичные образчики творчества Бродского, созданные под явным влиянием европейского литературы эпох позднего Ренессанса и романтизма.

В 1972 году поэт оказался в числе 32 тысяч советских граждан, которым накануне визита американского президента Никсона позволили уехать на Запад (а некоторых, в том числе Бродского, выдворили чуть ли не насильно). Тем не менее, Бродский никогда не был отказником, не стремился уехать на родину предков. «Мои расхождения с советской властью не политического, а эстетического свойства», – говаривал он.

Однако в 1972 году еврейское происхождение Бродского дало советским властям основание избавиться от неудобного поэта. Бродского вызвали в ОВИР и сказали, что он должен написать заявление с просьбой о том, чтобы его отпустили в Израиль – «а иначе у вас будут серьезные проблемы». У Бродского не было никакого желания покидать страну, тем более он не собирался репатриироваться в Израиль. Тем не менее через несколько недель он уже был в Вене, где находился перевалочный пункт, принимавший советских эмигрантов. Больше он никогда не был в России, даже после распада СССР. Больше он никогда не видел своих родителей. Согласно завещанию, Бродского похоронили в Венеции. Почему там? По мнению Льва Лосева, в Венеции – это все равно, что нигде. Венеция – это универсальный символ космополитичной цивилизации.

Александр Байгушев – критик-русофил, который никогда не скрывал любви к Бродскому и писал, что ездил «хлопотать за него в Ленинград, на прем к его тогдашнему партлидеру, члену Политбюро Романову разбираться с той поганой провокацией против никакого не антисоветчика, а честнейшего и искреннейшего русского поэта еврейского происхождения Иосифа Бродского, и когда-нибудь расскажу об отвратительных действующих лицах той циничной истории. А сейчас лишь подчеркну, что, даже эмигрировав в ореоле обиженного «красными русскими» в США, Иосиф Бродский категорически отказался от еврейской общины: «Никаких синагог, пожалуйста. В синагогах я выступать не буду. Считаю ли я себя евреем? Я плохой еврей! Считаю себя русским поэтом. Я даже понимаю антисемитизм. В вопросе антисемитизма надо быть очень осторожным. Нельзя заставлять себя любить насильно, как это

делают евреи в России. Ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты. Мне нравится русский тип красоты. И в Израиль я не ступлю ни ногой даже за Нобелевскую премию. Я русский поэт. А вы знаете, для русского человека нет большой разницы между Ветхим и Новым Заветом. Для русского человека это по сути одна книга с параллельными местами, которую можно листать взад-вперед. Поэтому, когда я оказался на Западе, я был поражен строгим разграничением на евреев и неевреев. Я думал: «Ерунда! Чушь собачья! Ведь это лишает талант перспективы». Многие недоумевали, почему Бродский не вернулся после падения советский власти в Санкт-Петербург, хотя страшно тосковал по родному городу. Но куда ему было возвращаться? Опять в окружение тех, кто его затравил и сдал, а теперь еще и к «демократической» власти пришел?!».

Мой друг критик Владимир Бондаренко, автор знаменитой «Программы Бондаренко – Бродского» по налаживанию русско-еврейских взаимоотношений в замечательной книге «Живи опасно» недоумевал: «Меня в Иосифе Бродском удивляет другое: что русскости в своей поэзии и даже в жизни, в ее запредельности и амбивалентности он так и не сумел преодолеть. И еврейскость в свою культуру не пустил. На этом сходятся и Александр Солженицын, и Наум Коржавин, и Шимон Маркиш. Откровенный Шимон Маркиш пишет: «Смею полагать, что в уникальной поэтической личности Бродского еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского «материала» поэт Иосиф Бродский не знает – это «материал» ему чужой…» Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению, впрочем, так же, как и Осип Мандельштам, и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную судьбу в русской культуре».

Напротив, критик Федор Мальцев написал категорично: «Талант, помноженный на психушку, тюрьму и ссылку, эмиграцию и еврейство, создал феномен нобелевского лауреата Бродского». Так где же правда? Послушаем соплеменников поэта.

В сентябре 2007 года в литературно-художественном журнале «Лехаим» появился материал «Бродский: протестант или жид», в котором на четыре вопроса отвечают: Зеев Бар-Селла (ниспровергатель Михаила Шолохова), Леонид Кацис, Виктор Куллэ, Лев Лосев. Беседу вел еврейский журналист с русским именем и азербайджанской фамилией Афанасий Мамедов, который так предварил интервью: «От Иосифа Бродского мы, похоже, отдалились на то почтительное расстояние, когда могли бы уже говорить о нем только как о великом поэте и исключительно с придыханием, но не получается пока что у нас,

возможно, именно потому и образ его не только не тускнеет с годами, но, напротив, становится еще более объемным и живым. Миф о Бродском активно творится на наших глазах, обрастая бытовыми подробностями, новыми деталями биографии, переплетающимися с его творениями. Можно, конечно, спорить об очевидных недостатках такого активного мифотворчества, но, кажется, это тот случай, когда недостатки переходят в достоинства, и очень скоро миф «Бродский глазами современников» примет уже иные, академические черты. А пока что в майском номере журнала «Лехаим» открылась новая рубрика – «Часть речи», посвященная одному из самых знаковых поэтов конца XX века. И текст Аркадия Львова «О Бродском» (№ 5–6, 2007), открывавший вышеназванную рубрику, уже обратил на себя внимание, сложив еще один фрагмент, перетасовав главные вопросы. Но в нашей, пока еще литературоцентристской стране, у каждого свой Бродский и, естественно, свои «главные вопросы». Есть они и у меня: где истоки метафизики Бродского, как сочетаются в его поэтике ветхозаветное мирочувствование и христианские мотивы, космополитизм и внеконфессиональность, два русско-американских культурных героя: Набоков и Бродский?.. И, конечно же, одной из самых полемичных остается тема отчуждения от еврейства (отчуждения ли?..).

От жертвоприношения Авраама до Освенцима
Зеев Бар-селла, писатель, лингвист, литературовед

– В эссеистике Иосифа Бродского не раз встречается слово «отчуждение», в значении непременного условия существования подлинного поэта. Насколько оно оказалось ключевым в жизни и творчестве Бродского, как повлияло на его отношение к еврейству?

– Я думаю, что он был прав: отчуждение – одна из примет поэта, потому-то и вел он свою жизнь исключительно поэтически отчуждался абсолютно от всего. От родного города, еврейства, Израиля… Видимо, он понимал природу отчуждения евреев и считал, что такого рода отчуждение дано слишком многим, а он все-таки был поэт. Хотя еврейство для него – вечный мотив, можно буквально по пальцам пересчитать случаи, когда он об этом говорил. Занявшись Бродским, я еврейскую тему отставил в сторону. Во-первых, она была слишком очевидна, во-вторых, я не видел в еврействе Бродского ключа к его творчеству. Так было, пока я не начал анализировать поэму «Исаак и Авраам». К собственному удивлению (хотя Куллэ считает, что для меня это было презумпцией) я обнаружил, что смысл в этой поэме (в том числе поэтический смысл) можно отыскать, лишь признав, что написана она на совершенно конкретную тему. И тема эта – осмысление еврейской Катастрофы посредством выстраивания прямой линии от жертвоприношения Авраама до Освенцима. Как только мы это поймем, множество непроницаемых до того моментов становится осмысленными. В «Исааке и Аврааме» Бродский постиг смысл еврейской судьбы. Я не хочу сказать, что он понял его верно, а может, и верно, – поэт все-таки гениальный. По мнению Бродского, так, как я это мнение понимаю, Б-г заключил с евреями не завет, не договор – Он вынес им приговор. И еврейская Катастрофа была ничем иным, как приведением этого приговора в исполнение. Когда-то в журнале «22» я писал, что еврейский народ – единственный, у которого конец света позади: евреи после Катастрофы так и не поднялись. Да, они продолжают существовать, даже государство создали, но того еврейского народа, который был до Катастрофы, – никогда уже не будет. И Бродский в этой поэме проделал со своим народом весь путь от начала – жертвоприношения Авраама – до самого конца.

После «Исаака и Авраама» у Бродского был выбор: либо умереть вместе с умершими, либо перестать быть поэтом. Бродский выбрал третий – перестал быть еврейским поэтом.

Следующим за «Исааком и Авраамом» произведением была «Большая элегия Джону Донну». Произведение абсолютно гениальное, но это произведение уже другого человека, другого поэта, и свою статью об «Исааке и Аврааме» я закончил тогда так: «Только теперь, двадцать два года спустя, мы начинаем понимать, какого поэта потеряли». Последним поэтическим жестом, жестом отчуждения, были смерть и погребение… Ведь что такое Венеция? Это не «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Это смерть не на земле. Смерть между небом и водой, там, где парил дух Б-жий!..

– Сегодня в израильской поэзии есть кто-нибудь, кто идет за Бродским так же, как он шел за Оденом?

– Дело в том, что израильская поэзия – вещь в себе; она никому не нужна, и прежде всего самим израильтянам. Я прожил в Израиле больше тридцати лет и не припомню случая, чтобы кто-нибудь процитировал хоть одну строчку израильского поэта. Израильтяне оценивают литературу вообще, и поэзию в частности, как учебник жизни. Такое отношение пыталась вбить в голову ученика советская школа, а добиться этого удалось в Израиле. В том, что пишут израильские поэты, попросту отсутствует поэтическое содержание, исключений меньше, чем пальцев на одной руке, – Хаим Гури, Ури-Цви Гринберг… В этой поэзии принципиально нет разницы между стихом и прозой. Потому и наследовать Бродскому никто не может. Вся его проблематика, проблематика Одена, израильской поэзии глубоко чужда, и потребности в ней нет. Бродского, конечно, переводят на иврит, но переводят, не понимая. Ни о каком влиянии и речи не может быть. В Израиле был только один поэт – Давид Авидан, который Бродского мучительно ненавидел. Причина, видимо, в том, что Авидан был настоящим поэтом и видел в Бродском вызов себе. Всех прочих поэзия Бродского оставляет абсолютно равнодушными. Скорее всего это вызвано тем, что поэту в Израиле психологически комфортно. А когда человеку комфортно жить, ему незачем взламывать язык поэтическим словом. Ведь поэзия – это когда слов не остается и приходится искать иные средства.

– Как вы относитесь к эссеистике Бродского, считаете ли, как некоторые критики, что именно благодаря своим эссе Бродский стал одним из ведущих поэтов американской литературы конца XX века?

– У Бродского есть одно достоинство, которое при желании можно считать недостатком: он очень умен. Пастернак тоже не

был дураком, но он и в прозе создавал такой клубок поэтических ассоциаций, что впрямую воспринимать сказанное им было просто невозможно. Эссеистика Бродского интеллектуально прозрачна. Возможно, именно в силу этого обстоятельства Бродский имеет успех в Америке. Он сказал простыми словами то, что поэты простыми словами не говорят. Но когда имеешь дело с великим поэтом, предпочитаешь иметь дело именно с поэтом. Умных людей много. Очень умных – немногим меньше. А великих поэтов… По-моему, Бродский – единственный, и его уже нет с нами.



Иосиф Бродский и Игорь Ефимов в Норинской. Из архива Я. А. Гордина

– Я знаю, еще недавно вы склонны были считать, что своим космополитизмом, внеконфессиональностью Иосиф Александрович в какой-то степени отступился от еврейского народа. Вы и сейчас уверены в его ренегатстве или сменили точку зрения?

– Это не ренегатство. Это решение собственной проблемы. К счастью, XX век, точнее, его конец позволил человеку (например, в Америке) существовать без того, чтобы постоянно решать национальную проблему. Бродский ее и не решал. Он ее решил и больше к этому не возвращался. Когда от него требовалось сказать что-то на уровне простых высказываний, например, ответить на вопрос, крестился ли он, он отвечал, что нет, не крестился, тем самым как бы негативно утверждая свой

еврейский статус. При этом он не говорил, что чувствует себя евреем. Конечно, Бродский чувствовал себя евреем, но это было фоном его личности, а не сутью. По крайней мере он сам своей сути в этом не видел. Сутью было то, что он – поэт Иосиф Бродский. Простым людям всегда хочется числить в своих рядах великих людей, вне зависимости от того, что великие по этому поводу думают и говорят. И простые люди всегда болезненно воспринимают высказывания великих по национальному вопросу, особенно когда высказывания эти не комплиментарны. Бродский старался не затрагивать еврейской проблемы, видимо, полагал, что в среде принадлежащих к высшему поэтическому рангу национальный вопрос не стоит. Когда Ахматова говорила о нем, как о втором Иосифе, я думаю, менее всего Бродский склонен был предполагать, что она говорила о нем, как о втором еврее в русской поэзии. Я думаю, он воспринимал ее слова как безусловный комплимент в свой адрес. Проблема еврейства неоднократно вставала перед ним, требовала ответа, а он не желал размениваться: это не решало тех задач, которые он ставил перед собой. Как пример – его нежелание приехать в Израиль. Он был приглашен, все было договорено, оформлено, куплены билеты, и ровно за сутки он позвонил и сказал, что приехать не сможет. Почему? Срочная необходимость держать корректуру своего сборника. Ему предложили приехать на одни сутки, но Бродский вновь отказался. Мне неизвестно, действительно ли на него свалилась нежданная корректура, но точно знаю, что сборник стихов – не газета… Полагаю, что приезд в Израиль был чреват для Бродского сильными переживаниями, которых он не желал. Вполне возможно, что он не хотел чувствовать себя ренегатом. Да и в каком качестве он бы в Израиль прибыл? В качестве американского поэта? Но ведь все знали, что он – еврей. А еврейского поэта Бродский в себе уже пережил.

«В сем христианнейшем из миров поэты – жиды!»
Виктор Куллэ, поэт, литературовед, переводчик

– Отношения к религиям у Иосифа Александровича было своеобразным, ряд его высказываний на эту тему – не без очевидного перехлеста. Как бы вы прокомментировали, к примеру, вот эту цитату: «Как убеждение христианство не слишком удовлетворяет меня, оно не очень мне интересно… Знаете, я открыл принцип, на котором держится эта ментальность. Как в продуктовой лавке – платишь столько-то, получаешь столько-то. Меня же куда больше привлекает идея непостижимости божественного»? Не получается ли из этого пассажа, что иудаизм в какой-то степени все-таки был ближе Бродскому?

– Дело в том, что Бродский был человеком достаточно противоречивым. На приведенную вами цитату я легко могу привести иное его высказывание: «Я человек христианской культуры». Сам Бродский каких-то конкретных, конечных высказываний на занимающую вас тему не оставил. Более того, он ее по мере сил избегал. В известном интервью Ани Эппельбуан он говорил, что в синагоге был один раз любопытства ради, да и то по пьяному делу. В семье Бродских тоже не было глубоких еврейских традиций, при том, что семья была чисто еврейской. Если же говорить о христианстве, то и тут не все так просто, христианство по Бродскому можно назвать христианством в кавычках. Есть замечательная фраза Ахматовой, которую он любил цитировать: «Христианство на Руси не проповедано». Под христианством он понимал некую византийскую модель, которая была действительно ему глубоко чужда. Этому, кстати говоря, посвящено эссе «Путешествие в Стамбул», в котором он не видит особой разницы между православной версией христианства и исламом. С другой стороны, идея непознаваемого Б-га иудаизма в какой-то степени была ему близка, но опять-таки примерно в той же степени, в какой были близки любому творческому человеку, жившему в сталинском государстве, мысли Надежды Яковлевны

Мандельштам о некой параллели загадочного тирана и Б-га Ветхого завета, грозного, непознаваемого.

В конечном счете, он по своей природе был человеком вне-конфессиональным. В какие-то времена даже увлекался

восточной религией, рассказывал, что прочитал Бхагават Гиту раньше Священного Писания. В эссе о Достоевском, если я не ошибаюсь, он пишет, что всякий стихотворец по своей природе протестант, то есть не терпит посредников между собой и Г–сподом, ему не нужна конфессия, он хочет вести разговор напрямую. Может, поэтому он и избегал еврейской темы, что, заметим, многим сильно досаждало. Чаще всего реакция эта была вызвана какими-то прижизненными обидами на поэта. У меня есть статья «Бродский: парадоксы восприятия», в которой я полемизирую с Зеевом Бар-Селлой, обвиняющим Бродского в том, что, мол, став космополитом, он предал свой народ. Пробуя разобраться в механизме этого обвинения, я старался показать, что все далеко не так. Когда Бродского спросили, что было бы с ним, если бы он остался в СССР, он ответил, что, как еврей, наверное, может существовать в любых условиях, за исключением газовой камеры. Разве не говорит это в пользу четкой самоидентификации? Думаю, что у Иосифа было достаточно поводов почувствовать себя евреем. На своей шкуре испытать, что такое остервенелый, мешающий жить и любить антисемитизм: увольнение с работы отца по «пятому пункту», антисемитский настрой в семье Марины Басмановой, с бытовым антисемитизмом он частенько сталкивался в школе. Есть и еще один важный момент в этом непростом вопросе: всякий большой художник просто по природе свой почти всегда занимает сторону неправедно гонимого.

Приведу высказывание, на сей раз уже цветаевское, которое Бродский многократно повторял и, несомненно, примерял на себя: «В сем христианнейшем из миров поэты – жиды!» Что касается жизни Бродского в Штатах, он немало общался с русской эмиграцией, которая больше чем наполовину состояла из евреев. Правда, надо заметить, что в Штатах евреи не были так гонимы, как на родине поэта, потому, наверное, и еврейский вопрос отпал. И все же выпады в адрес поэта продолжались, но уже с другой стороны: евреи вдруг начали обижаться, что Иосиф нечетко обозначает свою национальную принадлежность. А Лев Новрузов, наоборот, говорил, что Нобелевская премия была Бродскому обеспечена происками еврейской мафии и газеты «Нью-Йорк ревю оф букс».

– Разговоры о том, что искусство-де не терпит ничего лишнего, мне всегда казались сомнительными, напротив, – именно «лишнее» и делает искусство искусством. Бродский один из самых «многословных» наших поэтов, как и с чем связано «лишнее» у Бродского, откуда пришло и когда стало алгоритмом его творчества?

– Просто это иной тип дарования, такое «барокко». В свое время Михаил Айзенберг в статье «Бродский: новая Одиссея» писал о том, что Иосиф творит некий новый лирический эпос. А в эпосе детали играют не последнюю роль. Искусство, как известно, держится на деталях, по крайней мере точность деталей – знак мастера. Для сюжета гомеровской поэмы абсолютно не важно, что там было на щите Ахилла, а ведь это одна из самых емких метафор искусства. Кстати, есть замечательные стихи Одена на эту тему. Другое дело, что Бродский разработал механизм самовозгонки в пределах жанра больших стихотворений, классический пример – «Большая элегия Джону Донну», много подобного рода примеров в позднем творчестве – на одном дыхании существующих длинных стихов. Я не думаю опять-таки, что какие-то куски там «лишние», просто Иосиф чувствовал некую медиумическую силу и словами себя исхлестывал для вхождения в это состояние. То, что на уровне общего правила для иного поэта было бы пустословием, для Иосифа – единственно возможная форма высказывания.

– У вас есть статья «Демон Набокова и небожитель Бродского», в которой вы подробно касаетесь темы взаимоотношений двух великих космополитов. Как относился Набоков к Бродскому, слышал ли о нем, читал ли, высказывался?.. И с чем связано, на ваш взгляд, переменчивое отношение Бродского к своему земляку?

– Не думаю, что Бродский как-то специфически негативно относился к Набокову. Это очередной миф. Естественно, что всякий стихотворец – тварь ревнивая, особенно к чужому успеху. Ну и, естественно, современники редко ценят друг друга. Но, еще раз повторюсь, никакого антагонизма по отношению друг к другу у них не было в помине. Другое дело, что Бродский не считал Набокова выдающимся стихотворцем, но прозу его читал довольно внимательно еще в Советском Союзе. Имеются даже определенные следы чтения набоковской прозы в ранних, доотъездных стихах Бродского. Например, в «Посвящается Ялте». А в 1979 году Бродский перевел по просьбе американского журнала несколько русских стихотворений Набокова на английский. У Бродского и Набокова было много общих друзей, которые не раз пытались их свести. И все-таки Бродский пренебрег этой возможностью. Почему? Тут можно только предполагать. То ли не хотел ехать на поклонение, то ли ему казалось, что он будет чувствовать себя неловко в присутствии мэтра. Что касается Набокова, он был заочно знаком с творчеством Бродского через их общих издателей Профферов. Надо заметить, ему не особо понравились стихи Бродского (вот

он-то как раз считал их многословными), правда, Набоков читал лишь ранние вещи Бродского, по книге 1965 года, к выходу которой автор, как известно, имел мало отношения. Хотя я не думаю, что Набокову и зрелый бы Бродский понравился: совершенно иной темперамент, иное чувствование мира. Тем не менее Набоков отметил чрезвычайное дарование молодого поэта и, конечно же, возмутился произволом советских властей: Иосиф был тогда в норинской ссылке. Была довольно смешная история, когда в середине 60-х годов Набоков передал с Карлом Проффером Бродскому джинсы – реальная помощь! – и Проффер привез их, и Иосиф в них ходил.

– Известна почти маниакальная страсть Бродского к путешествиям, на ваш взгляд, с чем это было связано, с европеизмом Бродского, с врожденной потребностью вбирать все и вся как губка, или то стиль жизни нобелевского лауреата диктовал? А может, в нем говорила еврейская тяга к странствиям?

– Европеизм тут ни при чем – скорее всего второе и третье. Не знаю, существует ли на генетическом уровне еврейская тяга к странствиям. Возможно, жадность к миру, стремление все увидеть своими глазами, везде побывать и является отличительной чертой еврейского народа, но ведь жадность к миру – это в принципе нормальная черта всякого большого стихотворца. Бродский еще до эмиграции объездил значительную часть России с геологическими экспедициями, путешествовал и просто так с друзьями, ездил в Якутию, был в Самарканде, на Алтае… Возможно, это было связано, как у всякого советского человека, с «комплексом тоски по чужбине». Тебя не пускают, и ты поэтому томишься. Потом, когда Бродский попал на Запад, ему, естественно, хотелось облететь, увидеть весь мир… Распространенный еврейский упрек: почему, дескать, Иосиф за время своих многочисленных турне ни разу не посетил Землю обетованную. Столько всего написал, опираясь на Священное Писание, а тут… Ну хотя бы просто на камни посмотреть, прикоснуться, вдохнуть воздуха… Сам Иосиф на этот вопрос отвечал довольно просто, ссылаясь на то, что с момента, как уехал на Запад, бесконечно преподавал, в разъездах находился только во время каникул. На зимние – Венеция, туда его тянуло неимоверно, и он каждую зиму проводил в Венеции, а на летние – просто боялся поехать в Израиль из-за жары. В летнее время Иосиф всегда уезжал на Север. Он ездил в Швецию не потому, что там какие-то красоты, а просто потому, что места эти напоминали родной балтийский город, и там ему, сердечнику, действительно дышалось легко и вольготно. Что же до путешествий вообще,

думаю, что всякий человек, получивший некую степень материальной свободы, тянется компенсировать то, чего был лишен в детстве. Я заметил, что братья-эмигранты, выросшие на колбасе за два двадцать и на кильках в томате, оказавшись на Западе, становятся изысканными гурманами.

Образ поэта и актуальная сфера говорящего
Леонид Кацис, литературовед

– О еврействе и нееврействе русских писателей и поэтов, евреев по происхождению, внесших значительный вклад в литературу XX века, – спорь хоть до хрипоты. Скажи, как специалист, есть ли вообще какая-то исследовательская надобность, литературоведческий смысл надрывать связки по сему поводу или это больше связано с желанием потрафить национальному чувству?

– Когда такого свойства вопрос задается о русско-еврейской культуре, он обессмысливается до ответа: истоки – не в России. Еще в начале 20-х годов прошлого века в Германии под редакцией Густава Кроянкера и Мартина Бубера вышла книга «Современные немецкие писатели-евреи», которая содержала в себе более двадцати имен евреев, писавших по-немецки. От крайнего еврейства Эльзы Ласкер-Шулер, специфических аспектов творчества Арнольда и Стефана Цвейгов до никому уже не известных немецких писателей, отрицавших свое еврейское происхождение и называвших себя чуть ли не «Зигфридами». В Россию проблема этой бинациональной не еврейскоязычной еврейской культуры, желание с большей или меньшей степенью взаимодействовать с культурой окружающей пришла из Германии. (Мне это стало очевидно, когда я занялся еврейскими мотивами Мандельштама). Если говорить об американо-англоеврейской культуре, когда евреи из идишских, ивритских семей во втором поколении заговорили по-английски, тоже следует признать, что они создали огромную культуру.

Наша же проблема заключается в том, что в чистом виде в России не было ни американской ситуации, ни немецкой. Не было у нас ста пятидесяти лет немецкого культурного развития евреев и такого последовательного развития, каким оно было в Америке. Все, о чем мы можем говорить, это о появлении в России в 60-х годах XIX века первых еврейских журналов. Связано это было с ассимиляционными процессами, которые проводились сверху. Поэтому, если рассматривать вопрос на раннем этапе, – это будет одно, и совершенно другое, если говорить о том, скажем, как и почему Мандельштам основывал свои произведения на еврейских подтекстах. Вопрос более сложный, который я затрагиваю в обзорах, посвященных недавно опубликованной переписке Пастернака, вопрос о переживании

другого рода, который шел от Бубера: отказ от своего еврейства и комплексов, с ним связанных.



Один из автопортретов Бродского. 1963 г. Из архива Э. Б. Коробовой

Переживание того, что мессианские ожидания христианизирующегося Пастернака не реализовались в том виде, в котором он того желал. Другое дело, что многие произведения, не обязательно еврейские в русской культуре, или евреев в русской литературе, эти слова надо различать, приходят к нам в том виде, в котором они приходят. А мы ведь не можем гарантировать, что Данте или Гёте в русской культуре имеют хоть какое-то отношение к Данте или Гёте в итальянской и немецкой. Возвращаясь к Мандельштаму: в его случае никто не понимал эту русско-еврейскую культуру, чтобы увидеть ее, а это очень высокого уровня европейская еврейская культура на русском языке. Раньше выдвигалась точка зрения, что проза Мандельштама не имеет вообще никакого значения, туда, мол, сливались миазмы, мешающие его поэтическому творчеству. Но тогда придется выкинуть две трети им написанного. Если нам это не интересно и мы читаем его вещи как абстрактные монады – пожалуйста, но исследовательская необходимость есть всегда, потому что наступит момент, когда спросят, почему две трети произведений поэта вдруг оказались не нужны, а, например, Толстого или Пушкина подавай академически до чеков из прачечной? Такого не должно быть, и тексты придется доскональнейшим образом изучать. Иначе будет происходить то, что происходит сейчас: на том неподобающем ей месте, которое занимает русско-еврейская литература в русской культуре, будут вперемешку выясняться философские, экономические, социальные, половые и любого другого характера вопросы. Пока не произойдет то разделение, которое, например, давно уже существует в Европе, говорить о проблеме, связанной с удовлетворением национальных чувств, не приходится.

– Какую роль в творчестве Бродского сыграло врожденное и неизбывное ветхозаветное мирочувствование, не было ли именно оно основной компонентой гения Иосифа Александровича?

– Мы знаем, что в ранних сочинениях Бродского существовали стихотворения на библейские и еврейские темы. Если открыть его собрание сочинений, то можно найти, например, разъяснение того, кто такие ламедвавники. Зачем ему были нужны эти слова, зачем он обозревал романы Филиппа Рота? Наличие у Бродского стихотворений о библейских героях, пророках уже говорит о том, из чего возникал поэт. Разумеется, для того времени это было достаточно диссидентским занятием. Дело в том, что когда мы говорим об «избывности» или «неизбывности» еврейского чувства, то обычно это какая-то метафизика, но давай обратим внимание на такую простую вещь, кто был лидером тогдашней поэзии середины 50-х годов, когда

вырастал Бродский? Прежде всего из официальных поэтов – Сельвинский, Багрицкий, Слуцкий… Только пару лет назад мы узнали, что автор шутливых стихов про Мотьку Молхамувеса или про караимского мудреца, Сельвинский, много лет писал пьесу про Лжедмитрия II как еврея-кабалиста. Есть такая легенда. Так вот, этот человек, создававший советский эпос, писавший во время войны про крымские рвы, где убиты евреи, и параллельно – вот эта пьеса! Такое вот «избывно – не избывно»… Так же точно и Бродский мог прекратить писать об этом, что дела не меняет. На этом фоне его еврейство не носит метафизического характера, и то, что в свое время ему неоднократно задавали «еврейский» вопрос и он очень по-разному на него отвечал, – значимо. Одна из главных проблем при рассмотрении твоего вопроса заключается в том, что от русско-еврейского писателя требуют оставаться на уровне первого этапа русско-еврейской литературы, а более продвинутых в эту страну не пускают! Да ничего подобного: в XX веке они вполне освоили все окружающие приемы, и важна только точка зрения литератора на евреев и себя самого. Это иногда взгляд со стороны, иногда ориентация на библейские еврейские образы. И если мы посмотрим Полное собрание сочинений Иосифа Бродского, то увидим, что для него еврейская тема существует, периодически он что-то рецензирует, что-то отмечает. В тот единственный раз, когда мне пришлось его видеть, в 1991 году на мандельштамовской конференции в Лондоне, он специально говорил об иудейско-христианской поэзии Мандельштама. В современном мире, когда наследуешь Пастернаку или кому-то еще из подобного уровня поэтов, о чисто еврейском отношении мы говорить не можем. Так же точно, как нельзя говорить: иудаизм считает, а Бродский думает. Ну нет того человека из замкнутого местечка, ешивы, который бы воспроизводил именно эту парадигму. Может быть, сегодня, в нашей нынешней ситуации, может появиться и такая литература: сугубо религиозная, для внутреннего употребления. Тем более что в Америке она никуда не девалась. Но выбор Бродского здесь – совершенно нормальный выбор еврея XX века.

– Иосиф Бродский – один из немногих до конца верных себе поэтов, хотя в «Диалогах с Бродским» Соломона Волкова он порою и примеряет маску циника и конформиста. В нем, как мне кажется, жило то самое «нет», что, по Эренбургу, являлось вековечной еврейской чертой. Не кажется ли тебе, что и поэзия Бродского в значительной мере заряжена этим «нет»?

– Некоторым шестидесятникам невозможно представить себе, например, что «Ода» Мандельштама Сталину – не циничное и не авангардное произведение. А Бродский в разговоре со мной на

конференции, посвященной Осипу Мандельштаму, утверждал, что оно одно из самых потрясающих, гениальных у Мандельштама, причем доказывал как раз с точки зрения высказанного тобою предположения. В 1991 году вышла моя статья, посвященная «Оде», хотя тогдашние редакторы и уговаривали меня не начинать биографию с этой статьи: «Если у тебя есть статьи о “Неизвестном солдате”, говорили они, неси, напечатаем». Я отказывался, мне-то как раз была интересна эта парность. И вдруг прямо тогда в «Континенте» выходят «Диалоги с Бродским» Соломона Волкова с теми самыми словами Бродского, попавшими только в примечания моей статьи, потому что невозможно было никуда больше их вставить.

Обстановка была тогда вообще своеобразная. Когда ему присудили Нобелевскую премию, никто это особо не приветствовал в наших газетах, говорили, что премия продажная, еще что-то в том же духе, а некоторые тогдашние патриотические публицисты делали на том карьеру. Ну вот и решила группа интеллигенции скромно отметить премию Бродского: один раз собрались в Пушкине в библиотеке, другой – в кафе напротив издательства

«Наука». И, знаешь, было интересно, что за исключением одного-двух человек, которые на тот момент успели побывать в Нью-Йорке, встретиться с Бродским, все говорили о нем в прошедшем времени. В лингвистике есть такое понятие – «актуальная сфера говорящего», так вот, уже тогда Бродский не входил в актуальную сферу говорящего как реальность, а только как образ. Это было поразительное ощущение. Тем, кто сегодня обсуждает эту тему, неплохо было бы понять: Нобелевскую премию получил человек, который нам недоступен, даже если мы слышали его выступления, встречались на конференциях. В конечном итоге все, что мы получили от него вне времени и пространства, – это семь томов собрания сочинений и ненапечатанный архив, такой, какой он есть на сегодняшний день.

– Почему Бродский, обладая ветхозаветным мирочувствованием, выбрал в поводыри не средневекового еврейского поэта, скажем, Эммануила Римского, не Филиппа Сидни или Бена Джонсона, а именно Джона Донна? Что это, тогдашняя мода на Хемингуэя и его знаменитый роман, какая-то необъяснимая в силу своей иррациональности связь, ниспосылающая единственную возможность отложиться от всех, взяв направление к звонящему и по тебе колоколу?..

– Думаю, проблема заключалась в том, что Бродский не был американским поэтом с университетским образованием, с

возможностью «гулять» по роскошнейшим библиотекам: бывает, знаешь, такой судьбоносный случай в жизни – первая прочтенная неслучайная книга. Важно, что именно она позволила Бродскому построить свой исключительно оригинальный мир. Построить по-русски, с незнакомой прежде метафизикой, со странной образностью. Важно, что книга эта позволила кратчайшим путем связаться с Блейком, Элиотом, Оденом… Давай не будем забывать, что вообще-то Бродский – петербуржский поэт «в натуре». Ему необходимо было найти себя в невероятно плотной среде, которая (мы это сегодня отчетливо наблюдаем) уплотняется все больше. А приплюсуй сюда еще и то обстоятельство, что рядом, вообще-то говоря, жила Ахматова, и надо было не попасть под влияние классика и ее непростого окружения…

А чего стоит история с «Доктором Живаго»? Бродский не мог не задаться вопросом, почему, к примеру, Сельвинский со Шкловским осудили Пастернака. Крайне непростой вопрос. Именно в ту пору и прекращается воздействие Сельвинского на Бродского. И как тут не вспомнить о «Большой войне», недавно опубликованной в «Звезде», произведении, показывающем нам поиски в рамках той самой эпической традиции, к которой стремился поэт в плотной петербуржской среде, находя свое дыхание именно в таком вот размере, стихе, отчасти старомодности, европейскости… Бродский – поэт-метафизик! Его место тем-то и отлично в русской поэзии. Ни просодией, ни произношением, ни самим способом подачи стиха, а именно метафизическим и эпическим настроем. А выбор техники – это вопрос поэтической одаренности. Подобные размеры можно найти и в русской довоенной конструктивистской поэзии. Бродский же прекрасно отдавал себе отчет и в своем поэтическом происхождении, и в том, что его позиция в русской поэзии исключительно принципиальна и оригинальна. Это и позволило ему синтезировать опыт самых разных поэтов, тех же Сельвинского, Пастернака, Слуцкого с европейскими метафизиками.

Поэт своей цивилизации
Лев Лосев, поэт, переводчик, литературовед

– В своем эссе «Поклониться тени» Бродский объясняет причину перехода на английский: «Моим единственным стремлением тогда, как и сейчас, было очутиться в большей близости к человеку, которого я считал величайшим умом XX века: к Уистону Хью Одену». Дальше следует, по-моему, совершенно потрясающее по глубине высказывание, которое можно и должно рассматривать шире поэтических рамок: «Это – самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас». Бродский вообще считает подобного рода поступок «сутью всех цивилизаций». Скажите, почему никто сегодня не продолжает в духе самого Бродского, я не беру в расчет, конечно, ту лавину эпигонства, которая обрушилась на нас в 80—90-х? Не говорит ли это о конце нашей цивилизации?

– Рискуя показаться педантом, я вношу несколько уточнений. Во-первых, Бродский не переходил на английский. Все его основное поэтическое творчество до конца оставалось на русском. Во-вторых, что вы имеете в виду под «нашей цивилизацией»? Иудео-христианскую цивилизацию последних двадцати веков? Цивилизацию послепетровской России? Эпоху модернизма, индустриального общества? Вот это последнее, конечно, подошло к концу, и Бродскому была свойственна обостренная интуиция этого конца (post aetatem nostram). Именно в силу обладания подобными интуициями, пророческим даром, способностью доходить во всем, как сказал другой великий поэт-модернист, «до самой сути», Бродский и был поэтом своей цивилизации. Это, по существу, романтический тип гения, к нему принадлежат и Пушкин, и Вордсворт, и Рильке, и Мандельштам, и Оден, собственно все, кого мы считаем великими поэтами последних двух веков. Я, увы, к этому разряду не принадлежу, «заветов грядущего вестником» не являюсь, и у меня нет ясного видения, что происходит, что произойдет. У меня есть только достаточно смутные ощущения, вполне возможно, ошибочные. Если они вас интересуют, то да, мне кажется, что что-то необратимо изменилось, что в парадигме новой культуры нет места для поэта-гения, но происходит некоторое растворение, расплывание поэзии в культурной среде. Я думаю так, потому что великих поэтов не вижу, а хороших стихов появляется много, очень много, значительно больше, чем тридцать – сорок лет назад.

– Мартин Бубер говорил: «Обретение целостности души – это древнейшее внутреннее переживание еврея, внутреннее переживание, которое со всей силой азиатской гениальности проявилось в личной жизни великих евреев, в которых жил глубинный иудаизм». Скажите, на ваш взгляд, слова Мартина Бубера имеют какое-то касательство к жизни и судьбе Иосифа Бродского?

– Я не понимаю высказывания Бубера в целом и по частям. Я не знаю, что такое «целостность души», что такое «азиатская гениальность», чем она отличается от «европейской гениальности» или австралийской. Я бы сказал, что мне невнятен и «глубинный иудаизм», но тут, по крайней мере, вспоминается высказывание Бродского о том, что он ощущает себя евреем, поскольку в нем живет ощущение ветхозаветного Б-га как судии. Собственно Бродский сказал так: «Б-г – это насилие». Такое необычное чувство еврейской самоидентификации не мешало Бродскому также считать себя «христианином-заочником». Тут я не вижу противоречия, поскольку в первом случае речь идет о религиозной идентификации, а во втором о культурной. В качестве примечания могу добавить, что много лет назад, когда я прочитал «Я и Ты» и задумался о сходстве идей Бубера и Бахтина, я спросил Бродского, читал ли он этих авторов. Он сказал, что Бубера не читал, а Бахтина просматривал «Поэтику Достоевского», и добавил: «Цитаты понравились».

Шарль Бодлер говорил, что ближе всех к Б-гу священники, воины и поэты. Для них более чем для кого-либо тот свет «зреет» на этом. «Облетевшему» Б-га очевидно Его единство, не отсюда ли и внеконфессиональность Бродского? Что же до его еврейства, от которого он не отрекался, думается, прав Леонид Кацис, поэта Иосифа Бродского следует изучать не только в контексте русской, но и русско-еврейской культуры, изучать без удовлетворения национальных чувств, чтобы не скатиться до бытовых, низкопробных положений».

Да-а, чего только ни наворочено в этих пространных ответах, кто только ни привлечен: и Набоков, и Цвейг, и Бахтин, и немецкие еврейские писатели, но все сводится, по существу, к одной фразе: «В Штатах евреи не были так гонимы, как на родине поэта, потому, наверное, и еврейский вопрос отпал». Верно, а у нас он и сегодня искусственно раздувается: «Мы – по-прежнему в России гонимы». И под эти крики почти все богатства страны, почти все СМИ оказываются под контролем определенных кругов, не забывающих о гонимости. А что касается Бродского, то он, скорее, может числиться протестантом не только из-за своей рациональности и отпадения от любой церкви. Ведь название

«протестанты» первоначально было дано германским князьям и городам, подписавшим на Шпейерском сейме 1529 так называемую Протестацию – протест против решения большинства этого сейма об ограничении распространения лютеранства в Германии. Вот и Бродский внутренне готов подписать любой протест против официальной или навязываемой ему ограничительной доктрины.



И. Бродский на первомайской демонстрации. 1957 г. Из архива Я. А. Гордина

«Еврей ли вы?»

Практически ни одно выступление поэта перед русскоязычной аудиторией в Америке не обходилось без настойчивых расспросов о его религии и национальности. Бродский не любил рассуждать на такие темы, но полностью уйти от них все же не мог. В своих многочисленных интервью нобелевскому лауреату приходилось касаться и этих предметов. О «еврействе» и «христианстве» Бродского написано немало. Можно отметить статью Шимона Маркиша в сборнике «Иосиф Бродский: труды и дни» и главу «Проблемы пятого пункта» в книге Людмилы Штерн «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph». Но ведь интересно узнать, что именно говорил и писал об этом сам поэт.

Можно применить опыт воображаемого, своего рода «синтетического» интервью, содержащего реальные ответы Иосифа Бродского на реальные вопросы, которые задавали ему разные люди в разное время. Как видно из названия, материал составлен в форме единого интервью. Ответы на них иногда незначительно сокращены, а в некоторых случаях, если вопросы сходны между собой, сведены воедино. Но тексты вопросов и ответов точно соответствуют опубликованным записям интервью.

«Я был воспитан вне религии»

– Расскажите немного о семье, об отце и о вашей связи с ним.

– По образованию он был журналист, вернее, у него было два диплома: один – географического факультета; но потом, когда он понял, что как географу ему не придется путешествовать, поскольку он еврей, то он окончил Институт красной журналистики и работал фотографом.

Затем, уже после войны, он два или три года работал в Военно-морском музее, куда я часто ходил. Потом вышло постановление Жданова о том, что лица еврейской национальности не должны обладать высокими воинскими званиями, и отец демобилизовался. Некоторое время он был без работы, и мы жили на зарплату матери – она работала в бухгалтерии местного жэка.

– Ваши родители были ортодоксальными евреями?

– Вовсе нет. Я был воспитан вне религии, но не мог не знать, каково быть евреем: это вроде отметины. Люди называют тебя «жид», тебя преследуют антисемитские замечания; в какой– то степени человек становится изгоем. Но может, это и хорошо: тем быстрее привыкаешь не зависеть ни от чьего мнения.

Понимание того, что я еврей, пришло ко мне довольно рано. Мою семью ничто не связывало с иудаизмом, абсолютно ничто. Но у системы был способ заставить человека осознать свою этническую принадлежность. В Советском Союзе есть удостоверяющий документ – паспорт, в котором указываются ваши имя, фамилия, место рождения и национальность. Отступление от этого правила может караться законом. Так что антисемитизм в России в значительной степени порождается государством.

В школе быть евреем означало постоянную готовность защищаться. Когда меня называли «жидом», я лез с кулаками. Я вообще довольно болезненно реагировал на подобные «шутки», воспринимал их как личное оскорбление. Меня задевало, что я – еврей. Теперь не нахожу в этом ничего оскорбительного, но такое отношение пришло позже.

Когда я работал на заводе, даже когда сидел в тюрьме, я удивительно мало сталкивался с антисемитизмом. Сильнее всего антисемитизм проявлялся у литераторов, интеллектуалов. Вот где к национальности действительно относятся болезненно, ведь от пятого пункта зависит карьера…

– Что вы делали после того, как ушли с завода?

– Пошел работать в морг местной больницы. Я подумывал о

таком еврейском поприще, как профессия врача, но хотел заранее узнать ее малоприятные стороны.

– *После школы вы хотели продолжить образование?*

– Когда я был ребенком, я много чего хотел. Во-первых, я хотел стать военным моряком или, скорее, летчиком. Но это отпало сразу, потому что по национальности я еврей. Евреям не разрешали летать на самолете. Потом я решил пойти в училище для моряков-подводников. Мой отец во время войны служил на флоте, и я был влюблен в морскую форму. Но это тоже отпало, по той же причине… Постепенно я начал писать.

– *А как люди относились к вам в ссылке?*

– Очень хорошо, они думали, что я попал туда по религиозным мотивам. Никто у меня ничего не спрашивал, и я никому ничего не говорил – народ там неразговорчивый. И не было никакого антисемитизма, это чисто городское явление.

– *Вас воспитывали как еврея или как русского?*

– Хорошо воспитанный человек не спрашивает, кто ты есть. Впрочем, все и так сразу определяют, еврей ты или нет. Русские прекрасно умеют это различать. Когда меня спрашивали про мою национальность, я, разумеется, отвечал, что я еврей. Но такое случалось крайне редко. Меня и спрашивать не надо, я «р» не выговариваю.

«Когда предрассудок становится частью системы»

– Остаются ли у вас воспоминания о еврействе, даже если вы не были воспитаны в еврейских традициях?

– У меня никаких воспоминаний нет, потому что в семье, среди родственников этого совершенно не было. Я был в синагоге только один раз, когда с группой приятелей зашел туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом.

– А каково ваше отношение к христианству? У вас ведь есть и рождественские стихи?

– Черт его знает?! Мне сложно об этом говорить. В свое время, когда мне было года двадцать четыре – двадцать пять, у меня была идея – и я пытался ей следовать, – на каждое Рождество писать по стихотворению. И некоторое время я соблюдал это правило, но потом обстоятельства, что ли, встали поперек дороги… Хотя я до сих пор пытаюсь это делать. Вот, собственно, в этом и заключается мое отношение к христианству (смеется)… если угодно.

– Правда ли, что вы, приехав на Запад, обратились к христианству?

– Это абсолютно бредовая чушь! У меня нет времени. Я плохой еврей. Думаю, что человек должен идентифицировать себя более точно, чем по расе, вере или национальности. Сначала нужно понять, каков ты: труслив, честен, бесчестен. Идентичность человека не должна зависеть от внешних критериев.

– А как же крест, который на вас надет на одной из фотографий, сделанных сразу после отъезда?

– Это был 1972 год. В то время я относился к этому более, так сказать, систематически. Потом это прошло. Опять же, если хотите, здесь связь с Пастернаком. После его «стихов из романа» масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевилась новозаветными идеями. Отчасти такова была форма сопротивления системе, с другой стороны, за этим стоит замечательное культурное наследие, с третьей – чисто религиозный аспект, но с последним у меня отношения всегда были не слишком благополучными.

В принципе систематическая сторона любого дела, как правило, имеет неприятный оттенок, и если уж всерьез говорить о том, что я выбрал в духовном отношении – хотя, может быть, скорее надо говорить об отношении интеллектуальном, – то я, конечно, Новому Завету предпочитаю Ветхий. Метафизический

горизонт, метафизическая интенсивность Ветхого Завета, на мой взгляд, куда выше, чем метафизика Нового. Сама идея грандиознее – идея верховного существа, которое не оперирует на основании этических, то есть человеческих, категорий, а исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол. В этом смысле иудаизм для меня несколько более привлекателен, чем новозаветное христианство…

– Когда вы впервые столкнулись с антисемитизмом?

– В школе. В классном журнале записаны твое имя, фамилия, год рождения, национальность. Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть евреем в большей степени, чем я. Папа, мама не вызывают ни малейших сомнений. Без всякой примеси. Но думаю, я еврей не только поэтому. Я знаю, что мои взгляды отличает некий абсолютизм.

В вопросах антисемитизма следует быть очень осторожным. Антисемитизм – это по сути одна из форм расизма. А мы все в какой-то степени расисты. Нам не нравятся какие-то лица, какой-то тип красоты.

А идеология появляется уже позднее. Ведь что такое предрассудки, в том числе и расовые? Это способ выразить недовольство положением человека в мире. Проблема возникает, когда предрассудок становится частью системы. Посмотрите на Германию: каковы корни немецкого антисемитизма? Тридцатые годы. Страшная экономическая катастрофа после Первой мировой войны. Разумеется, кого-то надо невзлюбить. А кого можно не любить, если не любить нельзя? Будем ненавидеть евреев – у них такие длинные носы.

– Когда умер Сталин, вам было тринадцать. Вы помните этот день?

– Помню, и очень отчетливо. Всех евреев должны были выселить из Ленинграда. Из Ленинграда и Москвы. Только что прошло дело врачей. Хотя процесс и не состоялся, но были все эти ужасные обвинения и антисемитская кампания в прессе. Помню, однажды я заметил, что родители как-то странно смотрят на меня, и спросил их, в чем дело. Они ответили: «Да знаешь, мы решили продать наше старое пианино». Надо сказать, что на нем никто никогда не играл. Я удивился, и они сказали, что нам надо переезжать. Я спросил: куда? Тогда они попытались объяснить, что происходит. Но через несколько дней по радио объявили новость, которая отменила наше путешествие: умер Сталин. Если бы процесс состоялся, врачей обязательно признали бы виновными. В газетах собирались опубликовать письмо, подписанное выдающимися людьми еврейской национальности, в котором они должны были признать, что евреи

скомпрометировали себя и должны уехать, чтобы искупить свою вину. Была уже выделена автономная область возле границы с Китаем. Это не произошло только благодаря смерти Сталина.

– А всех московских и ленинградских евреев должны были выслать?

– Насколько я помню, высылке подлежали все евреи из европейской части Советского Союза. Отец показал мне копию письма, которое должно было появиться в «Правде». Я просто не хочу называть имена людей, подписавших это письмо, потому что многие из них до сих пор пользуются чрезвычайным уважением на Западе.

На этом можно и закончить «сводное» интервью, потому что уже невозможно читать про это: «выслать всех евреев из Москвы и Ленинграда» и прочую чушь, которая, как ни странно, всегда у евреев срабатывает. Ведь в перестройку, когда надо было ускорить оформление выезда в Израиль, еврейские и русские либеральные журналисты принялись распускать слух, что 6 мая, на Георгия Победоносца, начнутся еврейские погромы. Об этом заполошно писали, вопили в телепрограммах. Майский Егорий прошел, конечно, никаких погромов не было и в помине, но никто не покаялся, не принес извинений за истеричное нагнетание страстей. Нормальный такой еврейский ход…

«Еврей – тот, кто на это согласен»

Вернемся к началу этой главы. Итак, когда Иосиф Бродский прилетел в Стокгольм получать Нобелевскую премию, один журналист прямо в аэропорту спросил его: «Вот вы американский гражданин, живете в Америке, и в то же время вы русский поэт и премию получаете за русские стихи. Кто же вы – американец? Русский?». – «Я еврей», – ответил Бродский.

К своему еврейству поэт относился спокойно и естественно. Ему не нужны были чужие одобрения, он не боялся косых взглядов. У него не найти ни ужаса Мандельштама перед «хаосом иудейским», ни нервозности Пастернака, призывавшего евреев «разойтись», исчезнуть, чтобы не мешать счастью человечества. Кажется, со своей поэтической интуицией Иосиф Бродский ближе других подошел к разгадке тайны, мучающей многих людей на протяжении столетий: какова роль еврейского народа в истории и что такое еврей? Александр Исаевич Солженицын, которого многие упрекали в антисемитизме (а после выхода в свет двухтомного труда «Двести лет вместе» многие еще будут упрекать), в интервью главному редактору «Московских новостей» сказал: «У меня разгадки нет. Это метафизический вопрос, сложнейший. Это не дано человеческому разуму в полном измерении. Непонятно. Что-то загадочное все равно остается».

Символично, что обрушить лавину репрессий на Бродского было доверено совершенно ничтожному «винтику» советской системы – Якову Михайловичу Лернеру. Человек это был малообразованный. Будучи евреем, он не мог сделать в сороковые годы партийную карьеру, а вот в смутное хрущевское время Лернер пытался уловить карьерные возможности. Случай представился в 1956 году, когда он занимал скромную должность завхоза в Ленинградском технологическом институте. В октябре группа студентов института, в которой активную роль играли Рейн, Найман и Бобышев, выпустила стенную газету «Культура» со статьями о западноевропейском искусстве нового времени. Это само по себе политически нейтральное событие совпало с волнениями в Польше и революцией в Венгрии. В обеих странах студенты были застрельщиками выступлений против коммунистического режима, и советская власть, подавляя мятежи за рубежом, усилила контроль и за собственным студенчеством. Сигнал о крамольной «Культуре» подал Лернер – написал в институтскую многотиражку разоблачительную статью-донос. За статьей последовали разбирательства и санкции против сотрудников «Культуры». Рейн вынужден был перейти в другой,

менее престижный институт.

В архиве ЦК КПСС сохранилось письмо, написанное Лернером Хрущеву 11 марта 1963 года, то есть сразу после публикации отчета о мартовской встрече Хрущева с писателями и деятелями искусства. Содержание этого не слишком грамотного документа сводится к льстивым похвалам Хрущеву. Лернер благодарит вождя за то, что в Советской стране нет и не может быть антисемитизма, жалуется на евреев, которые преследуют его за то, что у него русская жена, внучка православного священника, сообщает о своей дружинной деятельности. Скорее всего, главная цель опытного карьериста состояла в том, чтобы лишний раз обратить на себя внимание властей. Лернер понимал, что оттаскиванием пьянчуг в вытрезвитель и хулиганов в кутузку карьеру не продвинешь, а вот разоблачением «чуждого элемента», идейного растлителя молодежи в разгар всесоюзной идеологической кампании можно.



Иосиф Бродский и Анна Ахматова. Фото (предположительно) А.И. Бродский, 1960-е гг.

Бродский был другом Рейна, Наймана и Бобышева, которых Лернер помнил с 1956 года. Он не имел постоянного места работы, и, таким образом, его можно было «подвести под указ» как тунеядца (что тоже немаловажно, потому что разоблачение

идеологических противников не входило, строго говоря, в компетенцию милиции и народной дружины, а вылавливание тунеядцев входило). Наконец, Бродский жил в Дзержинском районе, где Лернер был своим человеком в райотделе милиции. Лернер завел досье на Бродского. В папке, которую он показывал журналисту О. Г. Чайковской, были не только записи его наблюдений за Бродским, но и личный дневник шестнадцатилетнего Бродского (1956 год). Дневник мог быть либо выкраден, либо получен от знакомых следователей КГБ. 21 октября Лернер позвонил Бродскому и как руководитель народной дружины попросил его зайти для разговора. Как понял Бродский, единственной целью пятнадцатиминутной встречи было выяснить, не устроился ли он на постоянную работу. Постоянного места службы Бродский не имел, и Лернер решил: его можно было объявлять тунеядцем.

29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», подписанная Лернером и двумя штатными сотрудниками газеты, Медведевым и Иониным. Писали они в том же вульгарном стиле, что и автор вышеупомянутой статьи «Бездельники карабкаются на Парнас» в московских «Известиях». Лернер и его соавторы четырежды повторили в своей статье полюбившуюся им фразу. Бродского называли «пигмеем, самоуверенно карабкающимся на Парнас», говорили, что ему «неважно, каким путем вскарабкаться на Парнас», что он «не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем». Клеймили его даже за то, что он желает «карабкаться на Парнас единолично», как если бы коллективное карабканье заслуживало снисхождения. Лернер не отличался аккуратностью, материалы своих доносов не проверял, и в статье переврано почти все, что относится к Бродскому. К возрасту его прибавлено три года, ему приписана дружба с людьми, которых он никогда в глаза не видел. Из трех стихотворных цитат, призванных проиллюстрировать упадочничество, цинизм и бессмыслицу его стихов, две взяты из стихов Бобышева (о чем Бобышев сделал заявление в Союз писателей сразу же после опубликования статьи). Третья, из юношеской поэмы Бродского «Шествие», представляет собой окончания шести строк, от которых отрезаны первые половинки, до цезуры, из-за чего текст действительно превращался в бессмыслицу. В статье в беллетризованной форме пересказывался самаркандский эпизод – недоказанная попытка угона самолета и попытка передачи рукописи Уманского Мелвину «Бейлу» (почему-то простая фамилия Белли чекистам не давалась):

«Бейл пригласил [Бродского и Шахматова] к себе в номер. Состоялся разговор.

– У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, – сказал Бродский американцу. – Не хотите ли ознакомиться?

– С удовольствием сделаю это, – ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: – Идет, мы издаем ее у себя. Как прикажете подписать?

– Только не именем автора.

– Хорошо. Мы подпишем ее по-нашему: Джон Смит».

Эта идиотская сцена насмешила бы даже неприхотливого читателя советского шпионского романа, но в данном контексте она была грозным сигналом: за Лернером стоит ленинградский КГБ, без поддержки которого материалы по делу Уманского в печать бы не попали. Угрожающе звучало и название статьи: «трутень» – синоним слова «тунеядец». Чаще всего за такого рода фельетонами для их героев следовали неприятности типа исключения из комсомола или учебного заведения. Исключить Бродского из комсомола или института было невозможно, так как он ни там, ни там не числился, а вот за «тунеядство» могли судить. «Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний (!) парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом», – говорилось в заключительной части статьи. Тунеядец, пишущий формалистические и упадочнические стишки, пресмыкающийся перед Западом – получался собирательный образ отщепенца, прямо по докладу Ильичева на июньском пленуме ЦК.

Почему для расправы с Бродским было выбрано обвинение в тунеядстве? Историк В. Козлов объясняет: «В середине 60-х годов, до и после снятия Хрущева, идет поиск наиболее эффективных мер воздействия на инакомыслящих, соблюдая при этом правила игры в социалистическую законность. Дело Бродского – это один из экспериментов местных властей, которым не нравится некая личность с ее взглядами, убеждениями и представлениями, но которую по законам советской власти нельзя судить за эти убеждения и представления, ибо он их не распространяет… Значит, эксперимент – судить Бродского за тунеядство». Лернер очень старался, чтобы этот эксперимент прошел успешно. Бродский, строго говоря, даже по советским законам, тунеядцем не являлся. Частая смена места работы не поощрялась, но «Указ о борьбе с тунеядством» был нацелен не на «летунов», а на тех, кто вообще не работает, живет на нетрудовые доходы (мелкая спекуляция, проституция, нищенство), пьянствует, хулиганит.

Нужно было представить дело так, что, по крайней мере весь последний год, после казахстанской экспедиции в сентябре 1962

года, Бродский бездельничал. Но в этот период Бродский как раз начал зарабатывать литературным трудом. В ноябрьском номере журнала «Костер» за 1962 год была напечатана пространная «Баллада о маленьком буксире». Осенью 1962 года в московском издательстве «Художественная литература» вышла антология кубинской поэзии с двумя переводами Бродского, в 1963-м еще два его перевода были включены в сборник поэтов Югославии, и уже имелись договоры с этим солидным издательством на новые переводы. Лернер специально поехал в Москву, напугал руководство «Художественной литературы» антисоветской репутацией молодого ленинградца и добился аннулирования новых заказов на переводы.

Поначалу Бродский среагировал на появление пасквиля наивно: он написал обстоятельный ответ, доказывая по пунктам лживость и несостоятельность обвинений. Письмо осталось без ответа. Поход «за правдой» вместе с уважаемым ученым-китаистом Борисом Бахтиным, сыном прославленной советской писательницы Веры Пановой, в Дзержинский райком партии к секретарю райкома Н. С. Косаревой, которая была не прочь порой проявить либерализм, никаких результатов не дал. К этому моменту решение покарать Бродского, чтобы другим неповадно было, уже приняли на высшем ленинградском уровне. Да и неспособный к идеологической мимикрии Бродский на приеме у партийной руководительницы Дзержинского района неуместной откровенностью лишь убедил ее в своей глубокой испорченности. На вопрос, почему он не стал получать высшее образование, Бродский ответил: «Я не могу учиться в университете, так как там надо сдавать диалектический материализм, а это не наука. Я создан для творчества, работать физически не могу. Для меня безразлично, есть партия или нет партии, для меня есть только добро и зло». Это из сжатого отчета Н. С. Косаревой, то есть не абсолютно точное цитирование, но характерные для молодого Бродского высказывания тут узнаются.

Поскольку дело шло о поэте, ленинградский Союз писателей не мог остаться в стороне. Его руководителем был в это время А. А. Прокофьев (1900–1971), небесталанный поэт, сам некогда бывший объектом официальной критической проработки, но убежденный «солдат партии», человек со вздорным характером, несколько сродни хрущевскому. Руководил он писательской организацией авторитарно с помощью правления и партийного бюро, составленных главным образом из его прихлебателей, самых бездарных литераторов, каких только можно было найти в Ленинграде: это были пожилые поэты Н.Л. Браун и И.К. Авраменко, прозаик П.И. Капица и несколько серых

приспособленцев помоложе. Несмотря на постоянную готовность Прокофьева служить партии, понадобился специальный трюк, чтобы вызвать особую ярость этого темпераментного человека по отношению к Бродскому. Кто-то из окружения подсунул ему грубую эпиграмму, каких было немало (обычно в них заглазное прозвище «Прокопа» рифмовалось с неприличным словом). Автором объявили Бродского, хотя, как пишет близкий друг Бродского, «никаких эпиграмм Иосиф на Александра Андреевича не писал. Прокофьев, честно говоря, интересовал его весьма мало».

Повторю один из постулатов Бродского: «В Советском Союзе есть удостоверяющий документ – паспорт, в котором указываются ваши имя, фамилия, место рождения и национальность. Отступление от этого правила может караться законом. Так что антисемитизм в России в значительной степени порождается государством». Сегодня вертикалью власти поддерживается, напротив, если не русофобия, то борьба с мнимым русским антисемитизмом и национализмом. Все либеральные СМИ, особенно электронные, находятся в руках либералов-космополитов, которых поддерживает по всем опросам и результатам выборов лишь около 5 % населения России. Графа «Национальность» в паспорте – почему-то отменена. Накануне нового 2013 года в Госдуму был внесен законопроект о возвращении в российские паспорта графы о национальности. Как пояснила автор проекта, коммунистка Тамара Плетнева, в случае принятия документа сведения о национальности будут вноситься в паспорт по желанию гражданина. Эту графу, как ИНН, группа крови и резус-фактор, она предложила сделать необязательной в паспорте. А вот штампы о регистрации по месту жительства, о заключении и расторжении брака, о наличии детей до 14 лет, о воинской обязанности, а также о выдаче загранпаспорта, как и сейчас, будут заполняться в любом случае. По-моему, все логично и ясно. Но после застойных зимних каникул вдруг прорвало интернет.

Так, в Гайд-парке Ари Лютая перепечатала заметку из Росбалта с комментариями: «Коммунист Тамара Плетнева разработала законопроект о внесении в паспорт графы «Национальность». Предполагается, что заполнять эту графу можно будет по желанию, как и две другие – группу крови и индивидуальный налоговый номер. Как известно, у этой идеи существует довольно много сторонников. При этом сторонники ссылаются 26 статью Конституции, где сказано так: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность». Но кроме сторонников, существуют и

непонимающие. «Зачем заявлять о своей национальности? – не понимают эти непонимающие. – Какой от этого прок?» Ведь ты становишься русским, евреем или татарином не от того, что ты написал об этом в паспорте. А потому, что ты ощущаешь себя русским, евреем или татарином.

А я вам сейчас поясню. Возьмем, к примеру, гомосексуалистов. Никто ведь не против гомосексуалистов как таковых, правда? (Неправда! Как это: никто? – да все истинные православные или мусульмане, например. – *А.Б.*). Каждый делает в своей спальне, что хочет. Но гомосексуалистам отчего-то скучно в их спальне. И они выходят на гей-парады для того, чтобы объявить всем вокруг: Смотрите! Мы – гомосексуалисты! И в общем случае окружающих это раздражает.

Так и с людьми, которые хотят указать свою национальность. Природа этого желания точно такая же, как природа желания гомосексуалиста объявить о своей ориентации всему миру».

Полная глупость и явная провокация, тем более, что наш «национальный лидер» любит повторять, что мы живем в многонациональной и многоконфессиональной (вот последнее – неправда: их немного, конфессий-то!) стране, но про многоцветье сексуальных ориентаций Путин даже в предвыборной статье по национальному вопросу – не написал. А вот наличие этого злободневного вопроса – обозначил, и любая печатная или интернетовская дискуссия подтверждает его остроту.

Вот и в Гайд-парке многие юзеры вспомнили сразу, что в Татарии этот вопрос давно решен. Русская Славянка: «В Татарии есть вкладыши в паспорт. Лично я не понимаю, что так кипишуют евреи… ну, будет национальность, допустим, в паспорте и что? Писать стыдно? Но можно ведь и не писать, нутро от этого не пострадает, как был евреем, так и останется».

Александръ В стал гнуть в другую сторону: «Мне не нравится смысл, какой вкладывается в это слово со времен Ленина. Из-за его идиотизма мы имеем единственную в мире «многонациональную» страну, в которой каждый народ, обозванный «нацией», начинает претендовать на свою государственность. Все прочие страны – полиэтничны, но мононациональны».

Увы, так записали в ельцинской танковой конституции – про «многонациональный народ России». Противники графы принялись иронизировать.

Валерий Дулин: «В ходе переписи населения, которая состоялась в 2010 году, далеко не все россияне серьезно относились к предложенным им анкетам. В заполненной графе «национальность» можно было встретить «люди земли», «человек

мира» или «афророссияне». А составители путеводителей, скажем, по Москве, могут иметь в виду, что здесь проживают 46 «джедаев», 20 «эльфов», есть «готы», «гном» и «самурай».

Русская Славянка гнула свое: «Так ответ очевиден… я про перепись. Все просто! Практически все народы в массовом количестве указали свою национальную принадлежность! Исключение – евреи. То, что они евреи, указали всего около 150 тысяч членов. А вот главный раввин уверяет, что в России около шести(!) миллионов евреев! Смотрим итоги переписи… Число лиц, не указавших свою национальность – 5 629 000… Прибавить тех, кто не постеснялся, и получаем те самые почти шесть миллионов… Ну, так кто стесняется своей национальности и вопит что ее не нужно указывать в паспорте? А?».

Тут на нее обрушились: мол, и в СССР не было 6 миллионов, а тогда с документами построже было! Но заступился Николай Васильевич: «Про шесть миллионов раввин говорил совсем недавно, когда выбивал у правительства квоту на увеличение количества синагог. Лазар это был!». Кстати, косвенно подтвердил правоту Славянки и Владимир Познер в одном из своих откровенных интервью: «В Советском Союзе мне встречалось довольно много евреев, которые в глубине души хотели бы отказаться от своего еврейства, которые этого стесняются. Причем, я не буду никого называть, но есть среди них весьма известные люди, они бы дорого дали, чтобы иметь другую фамилию. Меня это всегда поражало. На мой взгляд, это трагическая штука. Ведь человек хочет отказаться от какой-то своей части. Это трудно себе представить, и именно этого я не понимаю».

Но всепонимающий Валерий Дулин продолжал иронизировать: «Подскажите, кто-нибудь знает методику определения национальности? Слышал, что А. Гитлер знал, но вроде как методика утеряна. Или «коммунист Тамара Плетнева» раскрыла тайну?». Вообще-то тайну сию печатно и на весь мир раскрыл еще полунемец-полудатчанин Владимир Даль, который считал себя русским и принял на старости лет православие. Кстати, в дореволюционных паспортах была графа «вероисповедание». И всем было все ясно. Потому и появлялись демонстративные выкресты вроде Пастернака.



У окна квартиры с видом на Спасо-Преображенский собор. 1956 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика

Кстати, еще о методике. Как ни странно, но именно еврейская газета «Boocnik» на прекрасной мелованной бумаге, раздаваемая бесплатно на Московской книжной выставке-ярмарке (а если надо – и домой будут присылать), публикует, напротив, скрупулезное исследования Анны Школьник с цветными иллюстрациями. «20 фактов о еврейском лице».

1. «У тебя такое еврейское лицо», – сказали однажды Букнику с любовью, и он немедленно забыл все те случаи, когда эту же фразу произносили с отвращением, смущением, сарказмом, враждебностью и даже брезгливостью. По лицу будешь узнан, а

потом уже по делам, и никуда от этого не деться.

2. Узнавание еврея по лицу стало наукой. Узнавание еврея по лицу – врожденный навык некоторых народов, в частности, самих же евреев. Узнавание еврея по лицу – это народная забава, ибо известно, что еврей – вечно чужой, хотя может казаться бесконечно своим. И важно уметь его узнавать.

3. Искусство чтения лица – физиогномика – давно стало наукой. Если верить ей, глаза, нос, уши, рот – эти своеобразные антенны, которые двадцать четыре часа в сутки сообщают, что делается вокруг, и их форма, а также мимические морщины, многое могут сообщить о человеке. Получается, что крупные, широко открытые глаза того самого усредненного еврейского лица – признак непреходящей способности удивляться и взаимодействовать с окружающим миром. Про крупные уши – те же выводы, а вот крупный нос… Нет, не получается. Ни в одном из изученных нами текстов не говорится о том, что лица еврейской национальности каким-то особенным образом воспринимают запахи. Разве что тот самый общий средиземноморский предок передал нам привет вместе с крупным носом – благо пряностей и благовоний на Ближнем Востоке немало.

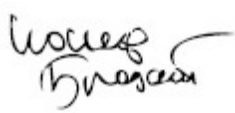
И так далее, вплоть до скрупулезных исследований, которые, по словам автора, «были свернуты» как бесполезные: «Замечено, что среди ашкеназских евреев процент светловолосых людей ниже, чем у других жителей Северной Европы, а среди сефардов и мизрахов процент таких людей выше по сравнению с арабами и другими азиатскими группами. Светловолосых больше среди ашкеназов, среди сефардов их меньше, еще реже они встречаются среди мизрахов. До Холокоста среди германских евреев 30 % были светловолосыми, среди английских – 25 %, но среди итальянских – всего 5 %. Исследования, проведенные в начале XX века, показали: среди ашкеназов (Галиция, Польша, Германия) светловолосых от 10 до 30 % и рыжих – от 2 % до 4 %. Сефарды (Босния, Англия, Италия) – 10 % блондины, 1 % рыжие. Среди горских и дагестанских евреев – 2 % блондинов и 2 % рыжих. В России, Галиции и Польше наблюдалась самая высокая концентрация рыжих».

Мне этот «Букник» на книжной выставке сунули, я читал газету в метро и глазам своим не верил! Пещерный расизм с легкой книжной иронией – мне бы лично и в голову никогда не пришло написать про 20 внешних отличий русских.

Но главное, что заставило и меня вступить в полемику, заключается в том, что многие вменяемые, обсуждая провокационный пост, высказывали трезвую мысль: а почему у

нас все решает достаточно специфическая по социальному и национальному составу Государственная дума? Почему не вынести этот важный, как показывает любая подобная полемика, вопрос на референдум, ну, на национальный опрос хотя бы. Задай на федеральном канале такой вопрос: «за?», «против?», и – считай голоса, как на любом пустом «Поединке» Соловьева или пропавших «Уроках истории». Или уж гражданам России совсем не доверяют?

Галахическое определение еврея («рожденный еврейкой или перешедший в иудаизм») своими корнями уходит в глубокую древность. Остроумное высказывание раввина Штейнзальца: «Еврей – тот, у кого внуки евреи», – напротив, обращено в туманное будущее, но чрезвычайно злободневно. Сколько раз я наблюдал в домах творчества еврейские семьи литераторов. Бабушка и (или) дедушка – типичные евреи, дочка, которая приезжала в гости, уже не несет ветхозветных черт лица, а своего сынишку от русского мужа привезет – ну, просто русский мальчик. Чувствует ли он себя евреем? – размышление как продолжение определения раввина. Да, сложный и загадочный вопрос, но, наверное, для таких людей, как Иосиф Бродский, больше подходит афоризм советского писателя Юрия Марковича Нагибина, который писал о русской истории, литературе, деревне («Председатель»), но в последние годы заявил о себе как о яром юдофиле. Так вот, он выразился кратко: «Еврей – тот, кто на это согласен». Бродский иногда соглашался на это, но чаще взбрыкивал, становясь русским поэтом. Загадка…



От Норинской до Праги: «русскость» Бродского



В райцентре Коноши Архангельской области прошла конференция, посвященная периоду ссылки и творчеству Иосифа Бродская. Собственно, конференция проходила в двух населенных пунктах – городе Коноши и той самой деревне Норинское, где Иосиф Бродский в 1964-65 годах отбывал ссылку. Из воспоминаний друга Бродского Якова Гордина: «Деревня находится километрах в тридцати от железной дороги, окружена болотистыми северными лесами. Иосиф делал там самую разную физическую работу. Когда мы с писателем Игорем Ефимовым приехали к нему в октябре 1964 года, он был приставлен к зернохранилищу – лопатить зерно, чтобы не грелось. Относились к нему в деревне хорошо, совершенно не подозревая, что этот вежливый и спокойный тунеядец возьмет их деревню с собой в историю мировой литературы».

Как именно сбывается это пророчество, смогла воочию увидеть филолог Татьяна Никольская, когда-то лично знавшая Бродского, а теперь вот побывавшая на конференции, посвященной его ссылке. Привожу беседу двух Татьян: вторая – журналистка Татьяна Вольтская.

«Татьяна Никольская: «Приехали люди из разных концов России, из Швеции был друг Бродского Бенгт Янгфельдт. Местные жители считают, что благодаря Бродскому Коноши на карте мира стоит наряду с таким городами как Петербург, Нью-Йорк и Венеция. Несколько лет назад местной библиотеке города Коноши было присвоено имя Бродского. Каждый год в день рождения Бродского они проводят в библиотеке какой-нибудь вечер или, чего Бродский, честно говоря, не любил, поют песни на его стихи, устраивают доклады. Этот день для них – праздник. Они разработали экскурсии, очень интересные, и для нас, участников конференции, эти экскурсии были проведены. И показали даже отделение милиции, в котором Бродский сидел за нарушение паспортного режима, даже лужу показали, которая

тогда была и сейчас осталась. Там люди очень увлечены своей работой. Есть в Коношах и краеведческий музей, где тоже часть экспозиции посвящена Бродскому, и даже находится подлинный красный шерстяной шарф, который Ахматова прислала в ссылку Бродскому.

Татьяна Вольтская: «Татьяна, вы мне дали такой замечательный рекламный проспект Коношей, и я с некоторым изумлением вижу, что тут рекламируются и кружева, и ткачества, и гармошки, и местные грибы, и земляника, и, в то же время – фотография Бродского. Вот не было ощущения овеществленных Васюков таких»?

Татьяна Никольская: «Я бы не сказала. Исторически так сложилось, что туда посылали на исправление спецпереселенцев. Они там, действительно, к ссыльным очень хорошо относились, они же с ними бок о бок жили и работали. Более того, эти люди способствовали подъему промышленности Коношей. Например, из докладов, которые делали местные жители, был один очень интересный – "Друг Бродского Черномордик" – посвященный человеку, благодаря которому Бродского записали в библиотеку города Коноши. Дело в том, что тогда его туда не записывали, потому что он был прописан в деревне Норинское, которая в 20 километрах от Коношей, и нужно было за него поручительство. Бродский с этим Черномордиком, тоже спецпереселенцем, встретился случайно около входа в библиотеку, они разговорились. Черномордик был заместителем директора завода местного, под его поручительство Бродского записали в библиотеку. Выяснилось, что Черномордик тоже пишет стихи, из-за стихов он и попал на Север, поскольку, будучи в Москве в командировке, он увидел газету, в которой было написано, что МГУ на Ленинских горах строят студенты, а он знал, что это заключенные строят. Написал на эту тему резкое стихотворение, читал его, что и закончилось ссылкой. Бродский с Черномордиком подружились, поскольку нашли общие литературные интересы, и даже после возвращения Бродского из ссылки Черномордик к нему приезжал, но поскольку у Черномордика уже было много неприятностей в жизни, Черномордик и Бродский договорились, что Бродский никогда не будет упоминать его имени, чтобы у человека не было новых неприятностей. Вот этот доклад был очень интересный. Опять же, доклады краеведческие: что представляли Коноши в 60-е годы. А, кроме того, по сути дела – жизнь и творчество Бродского в период ссылки. Был интересный доклад не приехавшего, но прислвшего воспоминания Анатолия Генриховича Наймана, были доклады чисто уже касающиеся творчества. Мне очень понравился доклад

аспиранта из Владимира Ильи Соколова об англоязычной поэзии в творчестве Бродского на примере тех антологий английской поэзии, которые были присланы Бродскому в ссылку. А я сама сделала доклад под названием «В деревне никто не сходит с ума», где сопоставляла религиозно-философскую концепцию этого стихотворения Бродского, написанного до ссылки, и стихотворения «В деревне бог живет не по углам» – о том, что если в первом стихотворении присутствует свойственный раннему творчеству Бродского эсхатологический характер и апокалипсические ноты (там не случайно назван Иоанн Богослов, который глядит с часовни на деревню), то во втором стихотворении, как мне показалось, такое пантеистическое восприятие, и я проконсультировалась с одним известным эллинистом Александром Леоновичем Хосроевым, который подтвердил мои интуитивные соображения и конкретно назвал стихотворение Горация, которое близко к стихотворению Бродского.

Т.В.: «Если возвратиться к Норинскому, то, все-таки, что показывают в маршруте экскурсионном?».

Т.Н.: «Бродский там жил в двух домах. Показывают эти дома, места, где он работал, источник, колодец, где он должен был брать воду – водопровода-то не было. Уже в конце ссылки он справки разные принес, что у него врожденный порок сердца, и что ему не очень полезно заниматься такой тяжелой физической работой. Узнав, что он хорошо фотографирует, его взяли на работу в Коноши в качестве разъездного фотографа, в местный Дом быта. И нам этот Дом быта показывали. Бродский сидел в Доме быта, ждал, пока будут заказаны фотографии. Там была пишущая машинка системы “Ундервуд”, на которой он мог писать свои стихи. Заказы могли прийти на фотографирование из соседних деревень, куда было довольно трудно добраться, и он добирался частично на попутной машине, а частично – на велосипеде. Он обязан был возвращаться ночевать в деревню Норинское, где он был прописан, он не мог в том же Доме быта ночевать, это считалось нарушением паспортного режима. Известна история, когда Бродского приехали навестить друзья на день рождения, а он сидел как раз в отделении милиции за нарушение паспортного режима. И тогда один из друзей пошел и договорился, что Бродского на время отпустят, а потом он свое отсидит».

Т.В.: «Деревня, вообще, живая?».

Т.Н.: «Полуживая. 12 домов. Летом там живут дачники. В зимний период только в двух домах живут. Они очень хотят, чтобы сохранился дом, в котором Бродский жил, но нужно, чтобы

там все время были люди. И если удастся организовать туристический маршрут, будет туристическая инфраструктура, смогут местные жители заботиться о туристах, обеспечивать их едой, жильем и тогда люди там смогут жить круглый год».

После примирения, в Норинскую к Бродскому приезжала Марина Басманова, родившая в 1967 году от него сына Андрея. Первые стихи Бродского с загадочным тогда еще посвящением «М.Б.» датированы июнем шестьдесят второго года. Инкогнито этих инициалов давно раскрыто. За ними – Марина Басманова, главная и, может быть, единственная любовь поэта. Первые строфы, обращенные к ней, совершенно не предвещают того накала страстей, который вскоре между ними возникнет.

Ни тоски, ни любви, ни печали,
ни тревоги, ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.



Бродский на похоронах Ахматовой. Из архива Б. С. Шварцмана

При всей своей проницательности Бродский на этот раз в этих внятных стихах с блоковской интонацией – ошибся. С Мариной Басмановой будет у него все – и тоска, и любовь, и печаль, и боль – сердечная мука на целых три десятилетия вперед, практически на всю оставшуюся жизнь. Большинство из тех, кто знал эту девушку, отмечают ее несомненную привлекательность. Стройная, высокая, с мягким овалом лица, темно-каштановыми волосами до плеч и зелеными глазами русалки, она буквально приворожила молодого поэта. Бродский восторгался ее талантом художника, ее музыкальной

одаренностью. Но сам музыкальных и пронзительных стихов о любви писать никогда не умел:

М. Б.

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.

При чем тут стул?..

Трудно со всей очевидностью предположить, что произошло в ту злополучную новогоднюю ночь с шестьдесят третьего на шестьдесят четвертый, когда на даче под Ленинградом собралась веселая молодая компания. Все собравшиеся – близкие друзья Бродского. Самого Иосифа в ту ночь среди них не было. Он находился в Москве. Поэт Дмитрий Бобышев привел Марину Басманову. Объяснил, что Бродский в свое отсутствие поручил ему заботу о девушке.

После возвращения Бродского из Москвы Бобышев помчался к нему с объяснениями. Никто не знает, о чем говорили бывшие друзья. Известно одно – Бродский Дмитрия не простил, навсегда вычеркнул его из списка своих знакомых. Но Марину он ждал. Жаждал увидеть. Никуда поэтому из Питера не уезжал…

Друг поэта Яков Гордин так охарактеризовал молодого Бродского в те годы: «Определяющей чертой Иосифа в те времена была совершенная естественность, органичность поведения. Смею утверждать, что он был самым свободным человеком среди нас, – небольшого круга людей, связанных дружески и общественно, – людей далеко не рабской психологии. Ему был труден даже скромный бытовой конформизм. Он был – повторяю – естествен во всех своих проявлениях. К нему вполне применимы были известные слова Грибоедова: «Я пишу как живу – свободно и свободно».

В 1963 году обострились его отношения с властью в Ленинграде. «Несмотря на то, что Бродский не писал прямых политических стихов против советской власти, независимость формы и содержания его стихов плюс независимость личного поведения приводили в раздражение идеологических надзирателей», – написал известный приспособленец Евгений Евтушенко. Вечером 13 февраля 1964 года на улице Иосиф Бродский был неожиданно арестован.

Видимо, Басманова трезво оценивала качества возлюбленного и свои перспективы. Несмотря на то, что стараниями таких столпов советской литературы, как Чуковский, Маршак, Анна

Ахматова, Бродского удалось досрочно освободить, несмотря даже на рождение сына, она все-таки опять от него уходит. Бродский снова один. Спустя почти три десятилетия после первого посвящения Бродский адресует Марине последнее, прощальное стихотворение. Издатели отказывались его печатать – так о женщине, пусть даже любимой в прошлом, не говорят. Но Бродский настоял. Среди прочих убийственных строк там есть и такие:

Четверть века назад ты питала
пристрастие к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте,
немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась
с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Да уж… Издатели правы, когда хотели пощадить лирическую героиню. Но у Бродского даже в афоризмах есть оправдание своей мелочности и злопамятности: «Любовь больше того, кто любит». Кстати, думается, что именно внимательное и неспешное чтение книг в архангельской глуши заронило в изощренный ум Бродского склонность к афоризмам. Они рассыпаны по эссе, статьям, привычным интервью. Вот наиболее удачные, на мой взгляд, хотя никаких великих истин они не открывают:

– В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор.

– Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно.

– Проза есть продолжение поэзии другими средствами.

– Поэзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», это – высшая форма существования языка.

– Эстетика – мать этики.

– Тюрьма – недостаток пространства, возмещаемый избытком времени.

– Фольклор – песнь пастуха – есть речь, рассчитанная на самого себя: ухо внемлет рту.

– …Ибо красота есть место, где глаз отдыхает.

– Именно армия окончательно делает из тебя гражданина; без нее у тебя еще был бы шанс, пусть ничтожный, остаться человеческим существом.

– Есть преступления более тяжкие, чем сжигать книги. Одно из них – не читать их.

– Для человека, чей родной язык – русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение…

– Жечь книги – это, в конце концов, всего лишь жест, запрещать их публикацию – это фальсификация времени.

– Книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы.

– Нравится нам это или нет, мы здесь для того, чтобы узнать не только что время делает с людьми, но что язык делает с временем.

– Печальная истина состоит в том, что слова пасуют перед действительностью.

– Подлинная история нашего сознания начинается с первой лжи. Свою я помню.

– Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного нами в счастливом процессе эволюции.

– Для писателя упоминать свой тюремный опыт – как, впрочем, трудности любого рода – все равно что для обычных людей хвастаться важными знакомствами…

– Поэт – средство существования языка.

– В русском языке односложное слово недорого стоит. А вот когда присоединяются суффиксы, или окончания, или приставки, тогда летят пух и перья.

– Нет в России палача, который бы не боялся стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, которая не призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом.

– В конце концов, скука – наиболее распространенная черта существования, и можно только удивляться, почему она столь мало попаслась в прозе XIX века, столь склонной к реализму.

– Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего.

Ссылку поэт в деревне Норинской («В Норинской сначала я жил у добрейшей доярки, потом снял комнату в избе старого крестьянина. То немногое, что я зарабатывал, уходило на оплату жилья, а иногда я одалживал деньги хозяину, который заходил ко мне и просил три рубля на водку»).

Вот одно из его писем этого периода.

Письмо И. Н. Томашевской

19.1.64. Норинское

Дорогая Ирина Николаевна!

Более чем с месячным опозданием попробую ответить на Ваше письмо, которое сейчас взял и перечел. Попробую – потому что действительно ответить невозможно. (Да и вообще невозможно). Тут все так складывалось, что был не в состоянии

даже просто поблагодарить, не говоря уж о письме, для которого нужно хоть физическое равновесие. Теперь чуть лучше.

Все время – в „Крестах“, на пересылках, в Столыпине – все время я читал (позволили брать книгу) Вашу статью в томике Баратынского. Она, по-моему, действительно замечательна, лишена всякого блеяния (как, впрочем, все, от Вас исходящее), а своим разделением (эпигр., элегии и проч.) Вы превратили его в классика (нужен чисто формальный прием), за какового его никак не хотят признавать. По-моему, теперь (1946–1964) все стало на свои места, и при переиздании следует настаивать на таком его виде. Вообще-то, наиболее трогательное впечатление <его> стихи производят вперемежку, но если будет академич. издание, нужно, чтобы он принял именно такой вид, какой придали ему Вы.

Знакомые (в письмах) поговаривают, что, м.б., пришлют мне машинку; тогда (во что бы то мне ни стало) напишу о нем статью и пошлю ее Вам, если хотите. (Если напишу). Столько неубитых медведей!.. – машинка, напишу ли, захотите ли. Медведей! Простите, Ирина Николаевна!

Я живал по-разному и поэтому всем происшедшим не очень обескуражен. О причинах я и вовсе не думаю. По-моему, никто ни в чем не виноват. Видимо, слишком велико было мое аутсайдерство; но, должен сказать, от перемен оно не изменилось, во всяком случае, не стало меньше. Мне было очень плохо в тюрьме, но, очевидно, все переносят тюрьмы. В конце концов переносят. Да и, кроме того, всей этой истории предшествовали муки более сильные, так что я был как бы оглушен и многого не слышал.

Сейчас я работаю в совхозе. Иногда очень выматываюсь, иногда совсем легко. Знаете, под открытым небом, тучи, птицы и прочее. Недавно начал писать стихи. Вся история в том, что я никогда не старался ради чего бы то ни было конкретного. Моя самая главная цель, как я теперь понимаю, – звучание на какой-то ноте, глуховатой, отрешенной. Не знаю, как и сказать.

Знаю только, что ни звонкой, ни убедительной, и еще какой-то она не будет. Вот ради этой „ноты“ и вся жизнь. И самые главные стихи где-то этого достигают. Поэтому теперь в писании превалирует композиция, а не экспрессия, эмоция. Я теперь скорее драматург, Ирина Николаевна. К сожалению, сказанное почти никак не относится к тому, что сочиняю сейчас. Эти стихи – я пришлю как-нибудь – говорят, в общем, о какой-то заинтересованности в окружающем, чего на самом деле вовсе нет. Но они как-то связаны (нет, пожалуй) с действительностью. <Впрочем, в них действительность сомневается сама в себе – вот

в чем дело (и, м.б., обаяние).>

Самое горькое – потому что всего остального я не помню, – самое горькое, что я не могу здесь писать свои главные стихи. Для этого нужна все же какая-то ясность, которая совсем невозможна <музу можно упрекать только в капризности>. Часть этих больших стихов я написал летом у Вас на канале, а часть осенью в Комарово. С тех пор силы земли (и неба!) на меня весьма ополчились, и только сейчас похоже на отбои (где тут плюнуть, чтоб не сглазить)».

Вот хорошо известный диалог между Соломоном Волковым и Бродским о времени ссылки:

«С.В.: И как же вы там обжились?

И.Б.: А замечательно! Это, конечно, грех говорить так, и, может быть, это даже и неверно, но мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе.

Не говоря уж об общении с начальством. Во всяком случае, так мне это тогда представлялось.

С.В.: И большая деревня?

И.Б.: Нет, там четырнадцать дворов всего и было. Но я вот что скажу. Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение! Если с птичьего полета на эту картину взглянуть, то дух захватывает. Хрестоматийная Россия! Ну, разумеется, работа эта тяжелая, никто работать не любит, но люди там, в деревне, колоссально добрые и умные. То есть не то чтобы умные, но такие хитрые. Вот что замечательно.

С.В.: И как они к вам относились?

И.Б.: Совершенно замечательно! Видите ли, у них там ни фельдшера не было, ничего. А у меня лекарства с собой кое-какие были. И я как мог их подлечивал – знаете, из старых своих медицинских амбиций. Давал им болеутоляющее, аспирин. Ничего этого у них там не было. Или за этим добром надо было ехать километров тридцать. Не всякий день поедешь. Потому что дороги, как полагается, чудовищные. У них ведь там и электричества не было, никаких там «лампочек Ильича».

С.В.: А книги к вам в ссылку доходили?

И.Б.: Мне присылали книги, и довольно много. С книгами было все в порядке. Когда я освободился, то увез с собой в Ленинград сто с лишним килограмм книг.

С.В.: А стихи вы там писали?

И.Б.: Довольно много. Но ведь там и делать было больше нечего. И вообще это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше – пожалуй, не было».

Многие исследователи – от критика Владимир Бондаренко до поэта Евгения Рейна считают, что окончательное созревание Бродского как поэта произошло в архангельской ссылке, где были написаны лучшие стихи. А Рейн в «Литературке» пишет, что и самые нужные книги были внимательно прочитаны там: «Он вообще был замечательным читателем: если углублялся в какую-то сферу, то всегда умел из этой сферы что-то для себя извлечь. Так, одно время он переводил поляков (в основном Галчинского), и это тоже, я думаю, как-то на него повлияло. Но самым внимательным, решительным образом он прочел английскую поэзию в ссылке, в деревне, куда ему прислали антологии английской и американской поэзии. И вот, когда он прочел эти такие совершенные, с большим пониманием отобранные книги, в нем и завершился некий процесс формирования его поэзии. И произошло это в деревне Норенская, где он написал замечательные, на мой взгляд, большие свои стихи: «Новые стансы к Августе», «Два часа в резервуаре», «Старому архитектору в Риме» – и немало других.

Если их внимательно посмотреть, там уже есть практически весь Бродский. Он только еще не перешел к крайней мизантропии и к такой серой палитре своих стихов, которая появилась у него впоследствии. Но уже и образность, и его личная философия были в этих стихах проявлены. Другое дело, что это еще он излагает при помощи неких стилизаций на основе немецкого филистерства, как в «Двух часах в резервуаре», или на основе европейской натурфилософии, как в «Новых стансах к Августе». Там еще есть достаточно светлые краски, от которых он потом совершенно отказался. Вернувшись из ссылки, он иногда пишет такие стилизованные картинки, вроде замечательного стихотворения «Стихи на смерть Т.С. Элиота». Но это, по сути, перевод стихов Одена «На смерть Йетса», просто Иосиф как-то его переписал на другой тематической основе.



Бродский с Ефимом Эткиндом и Генрихом Бёллем. 1971 г. Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика

После ссылки он прожил в Ленинграде больше шести лет. За это время им довольно много написано, причем основные стихи, я думаю, – «Разговор с небожителем», «Речь о пролитом молоке», целый ряд лирических стихов («Я обнял эти плечи и взглянул») и большая, как бы отдельная книжка – незаконченная – «Школьная антология». И эти стихи уже абсолютно лишены сколько-нибудь оптимистического взгляда – он переходит к абсолютно подавляющему минору. Как-то он сам сказал, что для него главная философская мысль – это шутка Светлова, слишком известная, чтобы ее здесь цитировать.

Несмотря на юмористический цинизм этого высказывания, оно действительно имеет определенные основания – после ссыльных лет Бродский становится тем мизантропическим и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем; причем практически нигде себе не изменяет. Иногда он пишет какие-то такие забавные стилизации, вроде «Нового Жюля Верна» или поздней поэмы «Представление», но и там шутки довольно саркастичны и злы и никакого просвета в этих стихах нет….

Со временем Бродский вообще становится стопроцентно безрадостным поэтом, в его стихах все более и более проявляются элементы необарокко, так как он обладал замечательно изощренным зрением, он умел вытащить метафору из любого положения, из любого слова. И хотя все эти метафоры или минорны, или злоязычны, или презрительны, но тут нет какого-то всемирного наплевательства. Он и по отношению к себе почти всегда выступает с такой отрицательной краской. Вот вспомним, как он себя описывает: «Кариес, седина, стыдно где…» – значит, он себя вполне заносит в тот серый минорный пейзаж, который он создает, глядя на наш мир. Причем он делает вещи, не очень принятые в поэзии, особенно в русской, в частности, то, что он пишет о своей возлюбленной в стихотворении «Бюст Тиберия», впрочем, как уже сказано выше, он и себя описывает в таких иронических и очень сниженных тонах.

Вообще описываемый им мир – это мир такой сумеречный, пессимистический, не оставляющий никакой надежды. Иногда вдруг проявляется какая-то крайне редкая позитивная черта, причем она звучит довольно стильно именно потому, что это в его поэзии – большая редкость. Вот в стихотворении «На свое сорокалетие» он пишет: «Только с горем я чувствую солидарность» – и это едва ли не единственный позитивный элемент. Даже когда он пишет стихи по поводу смерти своей матери и смерти отца, тут нет никакого, я бы сказал, погребального торжества – так сказать, никаких элементов надрыва. Несомненно, что своих родителей он очень любил (особенно отца), что он был с ними сердечно и душевно связан. Но, когда дело доходит до стихов, изобразительный, словесный, лексический ряды чрезвычайно притушены. И я помню, как мне он однажды сказал: «Вы все, – он имел в виду русских поэтов и, наверное, меня в их числе, – вы все привыкли рвать на себе рубашку, а я предпочитаю бормотать». И это справедливо. Мы действительно довольно часто берем такие высокие ноты – одни меньше, другие больше – и иногда даем петуха, чего у него совершенно нет». Так ведь и песни возвышенной нет!

Критик Владимир Бондаренко написал нашумевшую статью

«Русский менталитет Иосифа Бродского». Привожу ее почти целиком.



Владимир Бондаренко: русский менталитет Бродского



«Я не хочу выискивать в многочисленных интервью русского поэта Иосифа Бродского аргументы в поддержку моей уверенности в его русском природном менталитете. В многочисленных американских интервью Бродского можно найти аргументы в поддержку любой версии. Да он и сам посмеивался над этими интервью.

Кто знает его творчество, тот найдет подтверждение в стихах, кто верит мне, поверит и моей концепции, а кто не хочет видеть в Иосифе Бродском русского поэта (такие есть и справа и слева, и среди русских, и среди евреев), пусть ищут в нем что-то иное. Создают облик чисто американского или чисто еврейского поэта. Мне важнее высказать саму версию. И если она правдива, она и восторжествует. Любой миф, в том числе и критический, держится на правде, и каждый Генрих Шлиман в конце концов находит свою Трою.

Да, Иосиф Бродский сотни раз называл себя “русским поэтом”, не стеснялся выступать не только от своего имени, но и от имени русской культуры, русской поэзии. Это больше всего и поражает, он – ярчайший индивидуалист, сделавший ставку на личность, вдруг перебарывает себя, отказываясь от своего “я” ради русского народного “мы”. Думаю, это тема для будущей статьи: “я” и “мы” в творчестве Иосифа Бродского.

К тому же, кроме таких объективных исследователей, как Лев Лосев, или мемуаристов, как Евгений Рейн, большинство пишущих о Бродском или вообще не касаются его поэтической, творческой и эмоциональной русскости, или же начисто отрицают ее. Старательно обходя высказывания и стихи самого же Бродского, или находя в них примеры его раздражения и полемики с коммунистическими властями.

Пожалуй, кроме Льва Лосева никто не посмел опубликовать тот вполне убедительный и подтвержденный факт православного крещения маленького Иосифа Бродского его нянькой в Череповце

в 1942 году, где он жил с матерью в эвакуации из блокированного Ленинграда, факт, о котором мать Бродского Мария Моисеевна доверительно рассказала в свое время Наталье Грудининой. А ведь внимательный и дотошный исследователь еще может поднять все документы в череповецких церквях. Найти достоверных свидетелей. Думаю, это череповецкое крещение пусть и неосознанно, провиденциально всю жизнь сказывалось в его творчестве, как бы он сам шутливо ни отмахивался от своей воцерковленности. Может быть, мои вологодские и череповецкие друзья помогут мне документально подтвердить рассказ Натальи Грудининой.

Конечно, в самой русской культуре он принадлежал к ее западническому крылу, и в споре славянофилов с западниками он, безусловно, защищал интересы западников. Но – русских западников, русских европейцев. Когда же ему приходилось встречаться с неприкрытой русофобией, неприятием России и русской культуры, он интуитивно, не размышляя, становился на сторону русских. Так было и с западником Герценом, который для Карла Маркса был замшелым русским мракобесом. Не знаю, шла ли воинственная защита русской культуры Бродским от офицерства его отца, коим он гордился (жаль, не поступил в училище подводников, все равно стал бы поэтом, но уже иным поэтом), или же зачарованность русскостью пришла в его северной ссылке, которую он вспоминал с восторгом до последних дней своих. Или же он пропитывался ею во время встреч и разговоров со своей возлюбленной – русской художницей Мариной Басмановой, несомненной участницей русского кружка в Петергофе художника Стерлигова, который в свое время часто посещал и я?

Все аргументы в его стихах, которые он никогда не прикрывал неким размытым “лирическим героем”, а следовал девизу своего любимого поэта Константина Батюшкова: “Живи – как пишешь, пиши – как живешь”, шли от него самого. И потому соглашусь с мнением автора книги о Бродском Львом Лосевым: “Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет”.В стихотворении “Народ”, признанном Анной Ахматовой, как гениальное, он пишет:

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас…

Это означает, что не некий лирический герой воспевает

русский народ, а непосредственно поэт Иосиф Бродский поет гимн своему русскому народу и своему русскому языку. Впрочем, его русский менталитет чаще всего проявляется спонтанно, неожиданно, к примеру, в довольно грубоватом и хлестком, для него самого "рискованном стихотворении". "На независимость Украины", написанном после отделения Украины от России, проскальзывает: "Не нам, кацапам, их…обвинять в измене…".

«Их…». То есть, ощущает себя "кацапом", русским. А ведь написано уже в Америке, спустя годы после эмиграции, когда его довольно настойчиво подталкивали к признанию своего еврейства, которое "стало чуть более заметным для меня именно здесь, где общество построено с учетом строгого разграничения на евреев и неевреев". И при этом строгом разграничении он в вольных поэтических строчках вольно чувствовал себя именно "кацапом". И остро переживал отделение Украины от России. Уж тут его, как в случае со стихотворением "Народ", никто в "паровозности написания" ради скорейшего освобождения из ссылки не обвинил бы. В Прибалтике он был гостем, Украину всегда чувствовал, как и все мы, частью единого целого. Любил героическую историю обороны Севастополя. Да и Киев для него был "мать городов русских". Потому так остро, болезненно реагировал даже в далеком Квинсе на незалежность Украины.

С Богом орлы-казаки, гетманы, вертухаи,
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.

И не случайно, читая его в США, в Квинс-колледже, он добавил: "Сейчас найду стихотворение, которое мне нравится … я рискну, впрочем, сделать это…". У меня хранится дома аудиозапись с этого поэтического вечера. Не было бы в нем русского менталитета, какое бы ему было дело до любого развала его бывшей родины?

Его естественность и искренность поведения была заложена с детства, стала его позицией, и нынешним исследователям не приходится отделять его искренние стихи от стихов, написанных в угоду властям или кому бы то ни было. Разве что единственный, может быть, раз в жизни, во время суда над ним в Ленинграде, он выдавил из себя: "Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд…" Потом он сам же и высмеял свою попытку заигрывания с судом в иронических стихах, когда он писал в "Речи о пролитом молоке" об "Ученье строить Закону глазки, / Изображать немого…".

Насколько я знаю, больше никогда никакому Закону он глазки не строил, и с уверенностью можно цитировать его стихи и высказывания, как истинные мнения самого поэта, какие бы ни политкорректными или наоборот, неполиткорректными эти высказывания не были. Вообще, он не выносил политкорректность по характеру своему, был всегда максималистом, в лицо говорил человеку все, что он думал.

Да и что он выигрывал, к примеру, от письма Леониду Брежневу, посланного перед отъездом из России в эмиграцию? Зачем-то писал, требовала ли этого его душа? Сегодня это письмо иные его поклонники хотят обратить чуть ли не в пьяную шутку, в пародию, написанную совместно пьяной компанией перед отлетом из России. Нет, господа, такие проникновенные письма в шутку не пишутся: “Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. (И не повлияла. – *В.Б.*) Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятва с трибуны…”.

В этом письме продумано каждое слово. Это его писательская концепция, подтвержденная всей жизнью и творчеством. К сожалению, по-моему, только я один и опубликовал полностью это письмо дважды в своих книгах “Поэты последней Империи” и “Живи опасно”. Нет его почему-то и в неплохой лосевской ЖЗЛ-ской книге “Иосиф Бродский”.

Никто, по-моему, осознанно не замечает той достаточно жесткой полемики, которую вел Иосиф Бродский с недругами русской культуры на страницах западной печати. Наши либералы до сих пор жестко цензурируют Иосифа Бродского. Хотя никаких запретов на публикацию и цитирование (кроме личного архива) сам поэт не оставлял.

Умудрились в России при множестве изданий Бродского лишь один раз напечатать в дополнительном седьмом томе Собрания сочинений его ответ на антирусские высказывания чешского писателя Милана Кундеры “Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому”(1985), умудрились пройти мимо “Письма президенту” Вацлаву Гавелу (1993), написанному опять же в споре с его речью “Посткоммунистический кошмар”, где чешский президент также позволил себе не просто антикоммунистические, а антирусские высказывания. Лишь недавно была впервые напечатана в малотиражном журнале дискуссия в Лиссабоне о России и Центральной Европе,

состоявшаяся 16–17 мая 1988 года, на которой, откровенно говоря, эмигрант Иосиф Бродский защищал интересы России и русской культуры гораздо более отважно, нежели приехавшие из России Анатолий Ким, Лев Аннинский, Татьяна Толстая и другие, скорее оправдывающиеся перед именитыми западными писателями. Русских участников можно как-то понять – они впервые в начале перестройки выехали на подобную конференцию и послушно каялись за все существующие и несуществующие грехи.



Бродский и Лев Лосев с женой Ниной. 1971 г. Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн

Об этой дискуссии слышал я сразу же после ее завершения от своего друга Анатолия Кима, который признавался, что так яростно спорить с ополчившимися уже не на СССР, а на саму изначальную Россию и русскую культуру позволил себе лишь эмигрант Иосиф Бродский. Кстати, это важная тема для исследования, как защищали достоинство России за рубежом и в самое прокоммунистическое время, и в период антикоммунистической истерии, многие наши самые лютые антикоммунисты Владимир Максимов, Михаил Шемякин, Андрей Синявский, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, и как поливали грязью саму Россию другие диссиденты, от Давида Маркиша до Виктора Топа-лера. Как признавалась в Израиле известный филолог Майя Каганская: “В СССР я думала, что ненавижу все советское, приехав сюда, я поняла, что ненавижу все

русское…”.

Эти статьи и выступления в защиту России и русской культуры Иосифу Бродскому никто не заказывал. Накипело. На Западе он боролся за Россию не менее страстно, чем Александр Солженицын. И спор их друг с другом типичен для русской литературы. Но об этом споре как-нибудь в другой раз. Я согласен с тем же Львом Лосевым, который в книге о Бродском, вышедшей в серии ЖЗЛ, пишет: «Западник” Бродский не менее, чем “славянофил” Солженицын, был всегда готов грудью стать на защиту России, русских как народа, от предвзятых или легкомысленных обвинений в природной агрессивности, рабской психологии, национальном садомазохизме и т. д.». К примеру, высказался он с присущей ему саркастической иронией в адрес ельцинских властей и после печально известного расстрела Верховного Совета 4 октября 1993 года:

> Мы дожили. Мы наблюдаем шашни
> Броневика и телебашни.

Не забудем и о его дружеских отношениях с Глебом Горбовским, поэзию которого высоко ценил, о встречах с Николем Рубцовым и Татьяной Глушковой. Хранил же он у себя в библиотеке книгу стихов Станислава Куняева “Метель заходит в город” с достаточно трогательной надписью автора: “Иосифу Бродскому с нежностью и отчаянием. От меня. Станислав Куняев”. Хранил эту совершенно чуждую ему книгу, подаренную ему после возвращения из ссылки в 1966 году. Но о встречах с русскими писателями-традиционалистами и почвенниками как-нибудь в другой раз.

Для начала обратимся к его полемике с чешским писателем Миланом Кундерой, ныне столь щедро рекламируемом в российской прессе и издаваемом в наших престижных издательствах. Этим бы издательствам заодно в предисловии напечатать сначала статью Кундеры “Предисловие к вариации” из книжного обозрения в “Нью-Йорк таймс” от 6 января 1985 года, а затем и ответ Иосифа Бродского буквально через месяц в воскресном “Книжном обозрении” газеты “Нью-Йорк таймс” от 17 февраля 1985 года, “Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому”. Тем более, что статья Милана Кундеры ни разу не была опубликована в нашей прессе. А на обложку всех книг Милана Кундеры, выходящих на русском языке в России, я бы обязал выносить жирными буквами изречение Иосифа Бродского из его известной беседы с Адамом Михником, тоже стыдливо замалчиваемое в нашей прессе:“Кундера – это быдло. Глупое

чешское быдло”.

Впрочем, еще за год до своей антидостоевской статьи Кундера опубликовал в апреле 1984 года там же, в центральном органе всех мировых либералов, свой нашумевший манифест “Трагедия Центральной Европы”. Кундера, как всякий бывший коммунист, как всякий ренегат, сначала верноподданнически подмахивавший советской власти, и даже споривший с Вацлавом Гавелом осенью 1968, призывая к компромиссу с советской армией, к отказу от сопротивления, к “умеренности и реализму”, отказавшись от своих былых взглядов, стал люто поносить своих бывших единомышленников. Ему уже мало было критики Советского Союза, он решил бороться со всей тысячелетней Россией и ее великой литературой… он решил бороться даже со своим собственным славянством. Он негодует: “Чехам (вопреки предостережениям своей элиты) нравилось по-детски размахивать «славянской идеологией», считая ее защитой от германской агрессии. Русские тоже с удовольствием использовали ее для оправдания своих имперских планов. “Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским” – так в 1844 году … Карел Гавличек предупреждал соотечественников об опасности невежественного восхищения Россией… Джозефа Конрада, поляка по происхождению, раздражал ярлык “славянская душа”, который навешивали на него и его книги… Как я его понимаю! Я тоже не знаю ничего более нелепого, чем этот культ туманных глубин, трескучие и пустые рассуждения о “славянской душе”, которую мне периодически приписывают…”.

Поражает самопредательство славянских писателей, отказ не только от связи с русской культурой, но и от истории своих народов. Решили в немцев или американцев переименоваться, будто те их только и ждут. Куда, на самом деле, деться тому же Джозефу Конраду не только от славянской души, но и от русскости, ежели он, рожденный на Украине, рос и познавал мир все в той же Вологде, недалеко от Череповца, и до конца дней своих говорил по-английски с чисто славянским акцентом? Не уйти было от славянского мира ни Милану Кундере, ни Даниле Кишу, ни Адаму Загаевскому… Вот из таких ренегатов всегда позже и вырастают самые злобные русофобы.

Придуманная ими искусственная концепция Центральной Европы не укладывалась в традиционную западную схему противостояния Запада и Востока. Ибо по этой схеме, привычной для Европы со средних веков, к Востоку относились и все славянские страны, включая Польшу с Чехией. Противоречила она и всей истории Европы. Это была чисто

антикоммунистическая поначалу, но быстро ставшая антирусской государственная концепция бывших социалистических стран. Как знамя воинственной русофобии и поныне звучит манифестная статья Милана Кундеры. Для него Россия всегда была чужда европейскому духу цивилизации. Даже австро-венгерская империя Франца-Иосифа им восхваляется, как заслон от ненавистной России. Он готов быть под австрияками, под немцами, под американцами, под мусульманами, но лишь бы – против России. Вот уж верно, чешское быдло, готовое унижаться и перед немцами, и перед французами, готовое презирать свое славянство и люто ненавидеть его.

Он восхваляет письмо 1848 года Франтишека Палацкого к немцам, где историк оправдывает существование оккупировавшей их империи Габсбургов тем, что она была единственным заслоном от России, от "державы, которая, уже достигнув в наши дни чудовищной силы, продолжает наращивать ее, становясь неодолимой для любого европейского государства". По сути, все либеральствующие интеллигенты и политики стран Восточной Европы – изощренные коллаборационисты, отдающие свои страны и народы – поляков, чехов, сербов – в любое рабство. Лишь бы не союз с Россией, единственной страны, которая никого в рабство заполучать не собирается.

Кундера пишет: "Россия – это особая цивилизация, другая цивилизация… не просто одна из европейских стран…".

Изречения Кундеры и ему подобных хорошо бы вывесить на стенку нашим либералам, мечтающим стать европейцами. Десятку-другую Печериных Европа выдержит, но остальным уж точно даст под зад коленом. Я еще у Ле Пена в свое время в гостях на его даче, спрашивал: "Почему вы так насторожены к русским? Чем арабов и негров пускать сотнями тысяч в Париж, лучше бы русских пустили к себе на черные работы. Или мы для вас не белые?". Ле Пен отвечал: "Вы все-таки другие, другая цивилизация". Но он хотя бы не был русофобом. А вот Милан Кундера пугается даже русской литературы, Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Услышьте же, наконец, господа либералы. Услышьте, Игорь Золотусский и Игорь Волгин о кундеровском "ужасе, перед миром, который встает со страниц его (гоголевской. – *В.Б.*) прозы. Стоит оказаться внутри его, как мы сразу понимаем, насколько он нам чужд". Кундера обвиняет и Западную Европу за их рационализм, с которым они легко предали восточноевропейские страны в угоду русским.

И вот сейчас все эти страны вошли в НАТО, в общую Европу, подавляя своими голосами европейские интересы в угоду главному хозяину – Америке. За что уважать эти сервильные

лакейские образования, лишенные всякой истинной независимости? Еще раз повторю знаковые слова Иосифа Бродского в адрес Милана Кундеры: “Кундера – это быдло. Глупое чешское быдло”.

А я вспоминаю откровенный разговор с одним из крупнейших политиков Германии: “С вами, русскими мы еще договоримся, у вас есть своя цель, свой смысл существования, но уж с поляками дозвольте нам справиться самим. Это не народ. Так. Напыщенное лакейство…”. И так думают почти все западноевропейские политики, временно политкорректно пряча свои мысли.

Иосиф Бродский со своим русским менталитетом свои мысли не прятал, и при всем уважении и поляков и чехов, сохранившимся с былых советских времен, слыша их уничижительный разговор о русской литературе, он перечеркивал даже былые дружбы.

Милан Кундера в своем письме “Предисловие к вариации”, пока еще скрываемом от русского читателя (полный перевод которого Регины и Григория Бондаренко я опубликую в одном из номеров “Дня литературы”), пишет: “Когда в 1968 году русские оккупировали мою маленькую страну, все мои книги были запрещены, и я внезапно потерял все законные возможности получения средств к существованию. Кое-кто пытался помочь мне, – так в один прекрасный день режиссер предложил мне написать текст инсценировки романа Достоевского “Идиот”. Перечитав роман, я осознал, что не возьмусь за эту работу, даже если буду умирать от голода. Созданный Достоевским мир отталкивал меня (так же, как раньше отталкивал мир Гоголя. – *В.Б.*) напыщенными жестами, грязной изнанкой и агрессивной сентиментальностью…Меня раздражала атмосфера романов Достоевского: мира, где любая мелочь оборачивается переживанием, или, другими словами, где чувства возводятся в ранг ценностей и истин…”.

Но таким же, как Федор Достоевский, был поэт Иосиф Бродский. Очевидно, между русскими евреями, укоренившимися в России, и европейскими евреями, принявшими западный индивидуализм и рационализм, разница почти такая же, как между самими русскими и, к примеру, поляками или чехами. Это Иосиф Бродский воспринимал фильм Вуди Алена как пережитое лично им самим. Это Иосиф Бродский любил говорить: “У русского человека, хотя и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь…”. Будь это женщина Марина Басманова или поэзия Баратынского. Западных рационалистов поэзия Иосифа Бродского должна раздражать так же, как, к примеру, проза Достоевского. Впрочем, и самые резкие

нападки на него после вручения Нобелевской премии обрушились из европейских стран, прежде всего из Англии.

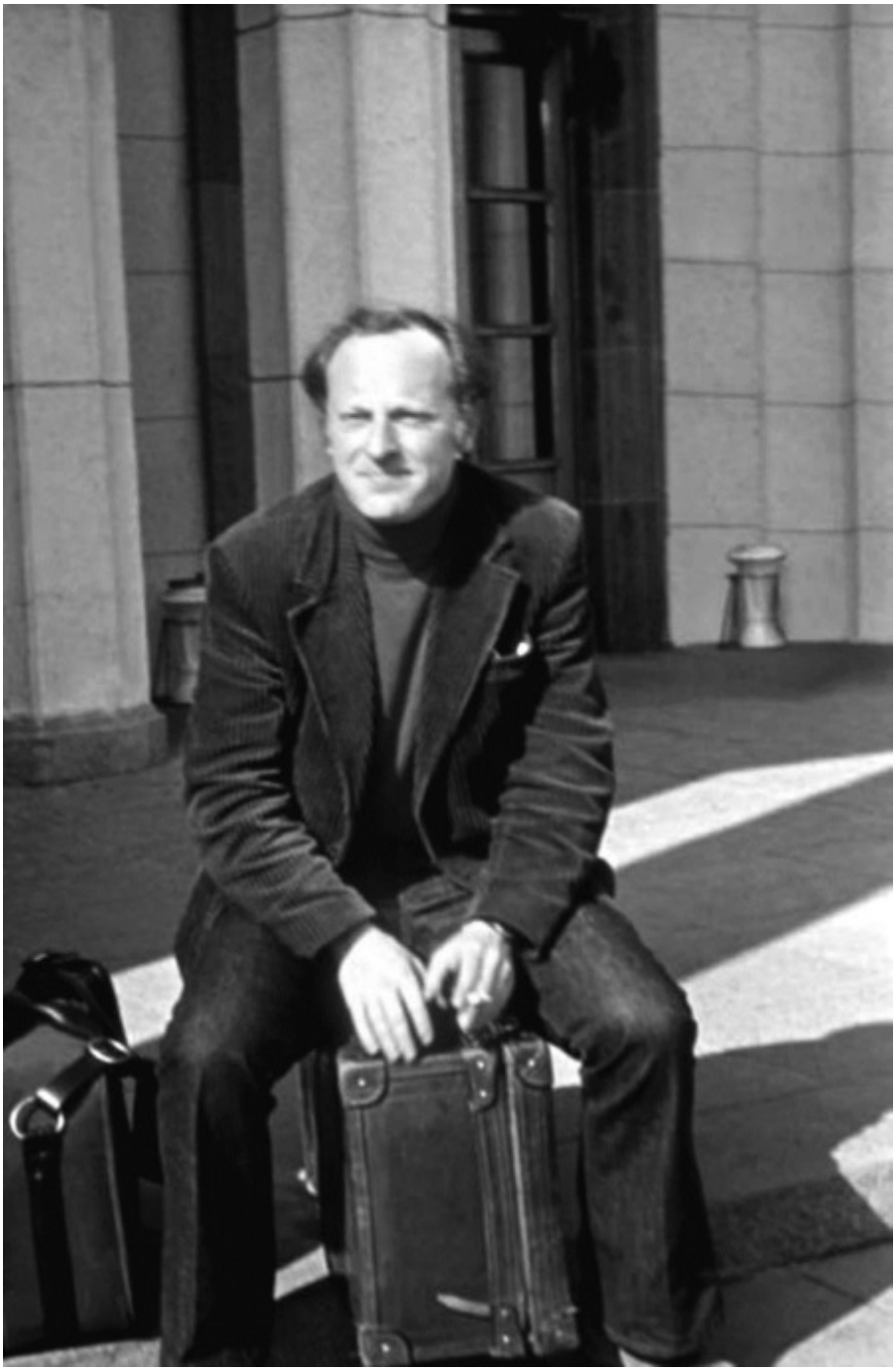
Когда-то в 1968 году Кундеру на улице Праги для обыска остановил советский офицер, и между делом, без всякой злобы, сказал, что вообще-то русские любят чехов, а это большое недоразумение рассеется само собой… Кундеру поразил уже не сам факт обыска, а сентиментальность и чуть ли не романтическое признание в любви обыскивающего его офицера. Ему бы лучше подошел какой-нибудь эсэсовец, без разговоров бьющий в морду или в пах. Он бы и подчинился, и слушался бы его дальше. А вот русская сомнительная чувствительная оккупация чеху чужда, и виноваты в этой оккупации – по Кундере – не советские танки, и не коммунистический режим, а Достоевский и Гоголь, вечная сентиментальная имперскость.

Казалось бы не Иосифу Бродскому, осудившему советскую оккупацию Чехии в своем стихотворении “Письмо генералу Z ”, а позже, после ввода войск в Афганистан, написавшему резкие “Стихи о зимней кампании 1980 года”, набрасываться на Милана Кундеру (а заодно и на других, таких же) с их антиоккупационными манифестами и заявлениями. Но очень быстро эти Кундеры и Гавелы перешли от советских танков к осуждению возвышенных эмоциональных чувств русской нации, к осуждению русскости как таковой. Либералы могут не сомневаться, какая-нибудь Наталья Иванова или Сергей Чупринин для писателей, подобных Кундере, все равно не люди, дикари и варвары, “Васьки” из романа Дмитрия Быкова “ЖД”. Ведь “человек, преисполненный лирического жара, способен предаться зверствам во имя святой любви”. Одно дело – продуманные, рассчитанные зверства тех же американцев в Югославии, Афганистане, Ираке, к ним готовы присоединиться и чехи, и поляки… А вот истинно русское “возведение чувств в разряд ценностей”, идущее в православие от древних иудеев, непонятно и враждебно рациональному Кундере. Христианский императив “Возлюби Бога”, и живи с этой любовью, ему и его соотечественникам куда страшнее атеистического рационалистического императива “Возлюби Закон”. За Достоевским чувствуется православная сентиментальность и умственная иррациональность, отвергаемая всем телом, всем сознанием восточноевропейского обывателя. Иное дело ясный немецкий приказ: всем евреям нашить желтые звезды, или же американское следование грубой силе: сильный берет себе все. Чешский или польский обыватель готов становится в очередь хоть в крематорий, хоть под американские бомбардировки, но мистическая неопределенность Руси чужда его душе.

“Столкнувшись с бесконечностью русской ночи, я ощутил в Праге насильственный конец западной культуры, появившейся на заре нового времени… конец Запада, каким он представлялся мне на заре модернизма. В маленькой западной стране я видел закат западного мира. Это было великое прощание”.

За напыщенностью последних фраз сквозит горечь от потери тем самым любимым Западом собственной веры и убеждений. От потери Западом и своей религии, и своей культуры. Но если это так, зачем же Чехии стремиться в этот обреченный обезличенный и обескультуренный мир? Зачем же так ненавидеть Достоевского, чтобы подобно героям кундеровской “Невыносимой легкости бытия” уйти от всех и устремиться в пропасть?

Иосифа Бродского трудно было смутить антисоветской риторикой письма, он писал и похлеще Кундеры, но объявить убийцей западного мира его любимого Достоевского он не позволил бы никому. Представляю, какой заряд хлесткой ненависти обрушил бы Иосиф Бродский, будь он жив, на Анатолия Чубайса за его признание в ненависти к Достоевскому. Впрочем, этим Чубайс и себя выдал. Не обладая, подобно Бродскому, русским менталитетом, он готов подчиниться любым указаниям из-за океана, даже во вред себе, лишь бы уничтожить раз и навсегда ненавидимую им русскую достоевщину. И кто же будет заселять воспеваемую им “Либеральную империю”? Варяги и хазары, герои еще одного дурашливого произведения Дмитрия Быкова о ЖеДах?



В аэропорту «Пулково» в день эмиграции. 4 июня 1972 г. Из архива М. И. Мильчика

В своем изгнанничестве русский европеец Иосиф Бродский оказался более эмоционален, более умственно иррационален, чем

иные, ныне присмиревшие чисто русские интеллигенты, предпочитающие Достоевскому уютно обывательского, с маленьким мирком рассчитанных страстей и дозволенных эмоций Милана Кундеру. Бродский оказывается даже непоследователен: всегда отказывающийся и в поэзии, и в эссе от русского коллективного “мы”, всегда этике предпочитающий эстетику, вдруг, задетый выпадами русофобов, он сам неоднократно повторяет это русское “мы”. В своей политической поэзии (когда надо) он не боится быть неполиткорректным и по отношению к России, прежде всего к ее властям. Он даже готов смотреть на Москву сквозь прицел бомбардировщика. Но это, как всегда в России, по-пушкински, эмоции “среди своих”. Когда же чужие на твою Россию и на всю великую русскую литературу накладывают свои грязные руки, от его антисоветских эмоций не остается и следа. Он первым кидается в бой даже со своими друзьями.

И дело даже не в том, что не Достоевский и его сторонники вводили в Прагу советские танки в 1968 году, скорее, наоборот, те, кто вводил, ни Достоевского, ни Гоголя не читали. Те, кто вводил танки, подчинялись именно что рациональному марксистско-коммунистическому западному доктринерству. Иосиф Бродский замечает, что большинство преступлений, совершаемых той или иной идеологической системой в России и за ее пределами – “совершались и совершаются во имя не столько любви, сколько необходимости – исторической, в частности. Концепция исторической необходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла со стороны западной”. Все эти идеи о социальных государствах, идеальных обществах – “ни одна из них не расцвела на берегах Волги”. В конце концов, и “Капитал” Маркса, – замечает Бродский – “был переведен на русский с немецкого”.

Подобно Александру Солженицыну отметает он и версию о желательности и притягательности этой западной марксистской теории именно для России. “Необходимо, тем не менее, отметить, что нигде не встречал этот призрак (призрак коммунизма. – *В.Б.*) сопротивления сильнее, начиная с “Бесов” Достоевского и продолжая кровавой бойней Гражданской войны и

Великого террора, сопротивление это не закончилось и по сей день. Во всяком случае, у этого призрака, – ехидно добавляет Бродский, – было куда меньше хлопот в 1945 году, когда он внедрялся на родине Милана Кундеры, как, впрочем, и в 1968-м”. В другом месте, в знаменитой беседе с Адамом Михником Бродский утверждает, что “ то, что произошло с Россией, не является ее виной. Ведь Маркс родился не на Волге”…

Адам Михник считает – суть полемики Бродского с Кундерой

в том, что Россия – это часть Европы, фрагмент Европы, и потому, все, что там происходит – это общеевропейское дело. Бродский уточняет, что Россия – “это часть христианской культуры. А знаешь, что сказал Чеслав Милош об этой полемике? Посмеялся и сказал: чехи – новички в этих вопросах”. Кстати, почти все свои полемические статьи в защиту России Иосиф Бродский печатал прежде всего у своего друга и единомышленника Владимира Максимова, которого всегда высоко ценил и защищал. Об этом в бродсковедении пока тоже ни слова.

Короче говоря, Иосиф Бродский в ответе Кундере резко отделяет русский народ и русскую литературу от любых политических доктрин, время от времени побеждающих в том или ином регионе. Как второгоднику, забывшему ответы на все вопросы, Бродский объясняет нашкодившему Кундере, что он лишь пал жертвой геополитической детерминированности – концепции деления мира на Запад и Восток, придуманной все на том же рациональном Западе, никак не желающем впускать в Европу чересчур громоздкую Россию. Но заодно относящих к тому же Востоку и всех этих “полячишек, чешишек и прочих румы-нов”. Нынешнее ужесточение всех правил ассимиляции и миграции жителей даже в пределах единой общей Европы демонстрирует борьбу старой Европы с комплексом польского сантехника и румынского водопроводчика. Не столько с русскими будут бороться в ближайшее время старые европейские страны, сколько с нашествием этих дремучих пражско-варшавских варваров. А планы Центральной Европы перечеркнуты, будто их и не бывало. Как сказал бы Суворов: это все англичанка гадит, ныне переполненная поляками.

Указал Иосиф Бродский презрительно и эстетическое место Милану Кундере в сравнении с Федором Достоевским. “ Если у литературы и есть общественная функция, то она… в том, чтобы показать человеку его духовный максимум. По этой шкале метафизический человек романов Достоевского (так же, как герой стихов Иосифа Бродского или Юрия Кузнецова. – *В.Б.*) представляет собой большую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и сколь бы распространен он ни был”. Но, предавая Россию и Достоевского, Милан Кундера, сам, может быть, не догадываясь об этом, далее предает и свой любимый Запад, предает свою Чехию в угоду Западу, и воспевает лишенное и религии, и культуры, и любой другой фундаментальной основы безликое безнациональное общество взаимных предателей. Читая Кундеру, понимаешь, что ждет Европу от исламских фундаменталистов. Как его любимая героиня Сабина из “Невыносимой легкости бытия”, он пестует

предательство как образ жизни.

Читая Бродского, понимаешь, что у русской иррациональности есть еще какие-то шансы на спасение. Как и все русские поэты, он жил и умер идеалистом, хотя сам же и посмеивался над своим русским идеализмом. Еврей Бродский в быту, в веселой еврейской компании, чему и я бывал свидетель, чисто по-еврейски подсмеивался над русским поэтом Бродским. Как русский поэт он “привык смотреть на свое существование как на опыт, который ставится на нем Провидением. Это означает, что основная задача русской культуры… – оправдать свое существование. Желательно на метафизическом, иррациональном уровне. Это означает, что во всем, что с тобой происходит, ты усматриваешь длань Господню”… Тебя сажают в тюрьму, отсылают в ссылку, бросает любимая – все это по Бродскому – инструмент Провидения. Точно такой же инструмент Провидения – его стихи. “Когда я писал стихи, я хотел одного – изменить уровень сознания и мышления своих читателей…. Думаю, что хоть немного мне это удалось…”. Чисто литературоцентричная консервативная модель русского мира. Не будем забывать, когда сегодня в московском метро мы слышим стихи русских поэтов – это осуществление идеи Иосифа Бродского, и никого другого. Сначала он заставил в американских метрополитенах во всех вагонах наклеивать короткие стихи ведущих национальных поэтов. Как водится, наши начальники метро заимствовали у американцев этот опыт, может, не догадываясь, что идея-то чисто русская. И сам же называл свои стихи – стишками, сам же высмеивал поиски смысла поэзии. Высмеивал свою Провиденциальность. Высмеивал свою “нахальную декларацию идеализма”. Но, тут же добавлял, что “в каждой шутке большая доля правды”.

Как всегда, для того, чтобы понять сущность Иосифа Бродского, надо не лезть в его поздние американские посленобелевские беседы, когда он иногда вынужден был, как в разговоре с судьей Соловьевым, политкорректно облекать свои мысли в какие-то общечеловеческие сентенции. Скажу честно, я такого Бродского не люблю. Да и не Бродский это вовсе, так же, как не Бродский призывал признать в строительстве коммунизма его интеллектуальный труд. Из его откровенных бесед ценю беседы с Волковым, с Михником, с ними он высказывался так же искренне, как в своих стихах. “Живу и говорю”. Вот так однажды он и выразил свою суть своему другу Адаму Михнику в той же беседе, где определил место и положение Кундеры: “Сразу скажу, с кем ты имеешь дело. Чтобы у тебя не было иллюзий. Я состою из трех частей: античности, литературы абсурда и лесного

мужика. Пойми, я не являюсь интеллигентом…” Римская античность, а затем и китайская древность – не забудем его изумительный цикл стихов “Письма династии Минь”, где поэт волшебным образом переплел собственную судьбу с мотивами древней китайской поэзии (впрочем, об этом цикле я позднее напишу отдельную статью: в конце жизни Бродский стал учить китайский язык). Литература абсурда – из его старой и любимой скандинавско-английской Европы. Третья – земная часть русского лесного мужика (ибо на Руси еврейских лесных мужиков не бывает, нет их и в Израиле). Иногда он перемешивает эти части, переходит от античности порой резко к мужицкому говору, и, наоборот, к примеру:

Ночь. Камера. Волчок
Хуярит мне прямо в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной…
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
Вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Аполлон!

Лесной мужик Бродский хуярит напролом и сталкивается здесь в одном пространстве тюремного коридора и стиха с античным Фебом-Аполлоном, и их общность вполне органична. Не эпатажна, не вызывающа, но вот интеллигентности здесь уж верно, делать нечего. Он ценит дворянскую культуру или же русскую народную культуру, ценит людей принципов и чести, к примеру, Виссариона Белинского, ценит независимых русских писателей всех мастей, от Лескова до Боратынского, но всю образованческую групповщину он глубоко презирает. Либеральную ли, прогрессивную, академическую, филологическую. И он, глубоко понимающий русскую, как низовую, так и верхнюю культуру, чувствуя себя своим в этой культуре, в глухой архангельской деревне или среди утонченных русских эстетов, имеет право говорить от имени русских: “Мы совершенно не могли состыковаться с цивилизованным миром. Речь идет о разнице в том, что у тебя стоит на полке, и что происходит за окном. У русских необычно сильное ощущение того, что одно с другим не имеет ничего общего… В России это впечатление гораздо сильнее, поскольку ты понимаешь, что ничего изменить не сможешь, и само ничто не изменится”…

Еще более решительно Иосиф Бродский перечеркнул весь набор русофобских версий, обвиняющих Россию и русский народ

чуть ли не во всех бедах XX столетия на Второй Уитлендской конференции по литературе в Лиссабоне, проходившей под покровительством доктора Марио Соариша, президента Португалии, где были собраны писатели Восточной Европы и России. Где предполагалось окончательно взорвать стену между русской литературой и другими литературами Европы. Но каким образом? Заставив прежде всего каяться во всех грехах абсолютно всех русских писателей! Даже Татьяну Толстую там представили как имперскую захватчицу, вводившую советские танки в Будапешт и Прагу. Советский Союз уже таял на глазах. И потому основной огонь сосредоточили на России и русской культуре, на русском неисправимом менталитете.

Поначалу русские писатели, как дети, решившие, что пришли на рождественскую елку, раскланивались направо и налево, объединяясь и с писателями-эмигрантами, и с писателями из стран Восточной Европы. При этом говорили они горделиво и об уникальном русском опыте XX века, из которого, по их мнению, русская литература вышла вполне достойно. И вдруг в ответах от венгра Дьердя Конрада, от поляков Адама Загаевского и Яна Щепаньского, от югослава Данило Киша они услышали не поддержку в свой адрес, а обвинения в учительском тоне, в излишней имперскости, чуть ли не в том, почему они не взрывают у себя на родине советские танки. Присутствующий там же, я уж не знаю, от имени какой Европы, Салман Рушди вообще обвинил и Татьяну Толстую и других в “колониальном” тоне разговора, в имперской и безнравственной позиции. Представляю, каково было удивление членов русской делегации, отобранных из самых демократически настроенных писателей перестроечного времени. Татьяна Толстая почувствовала себя в роли Василия Белова и Александра Проханова. Лев Аннинский стал как бы Михаилом Лобановым. Сразу зазвучали из их уст и покаяния, и извинения, и отказ от любой имперскости. На всякий случай, даже за Иосифа Бродского извинились, за его излишнюю дерзость, за его употребление слова “империя”. И лишь Иосиф Бродский, скептически просмотрев и прослушав весь этот шитый белыми нитками балаган наших бывших союзников перед окончательным разрывом с Россией, резко заявил: “Никакая это не имперская политика. Я бы сказал, что это единственно возможный реалистический взгляд на данную проблему, который для нас, русских, возможен. … Концепция Центральной Европы ничего не дает. Мы писатели, и нас нельзя определять нашей политической системой… Определяет нас язык, на котором мы пишем, то есть, мы – русские писатели…”

Бродский утверждал, что нельзя Россию и русскую

литературу отделять от Европы. А понятие Центральной Европы – это вообще нелепое и ненужное с точки зрения литературы. “Есть польская литература, чешская литература, словацкая литература… невозможно говорить об этой концепции даже с точки зрения литературы…”. В ответ писатель из Сербии Данило Киш признал, что концепция Центральной Европы возникла даже не как антисоветское, а как антирусское понятие: “Антирусская по своей идее, потому что мы оказались между двух культурных влияний и пытаемся найти собственное место…”. Признался, что своего места в культуре у них не оказалось, или русское влияние, или американское…

Жаль, что Данилы Киша, веселого сербского гуляки и хорошего писателя, нет уже в живых, иначе бы я ему напомнил наши долгие разговоры в Загребе на одном из конгрессов ПЕН-клуба. Когда мы с ним на хорошем русском и с хорошим запасом хорошей русской водки, обычно в его номере, выясняли место и роль русской литературы. У меня и сейчас лежит на полке надписанная им книга с признанием в любви к России. И так ли мы, русские, мешали сербской литературе? Не думаю, что натовские бомбы помогли им определить их собственное место в мировой культуре.

Но спрашиваю всех оппонентов русскости Иосифа Бродского и справа и слева: зачем ему, американскому лауреату, еврею, было влезать в это запланированное и продуманное избиение русских писателей, становиться на их защиту? Ведь отошли же сразу в сторонку и Сергей Довлатов, и Зиновий Зиник. А… сидела в нем всю жизнь русская заноза, и метафизическая, и реальная “М.Б.”, и требовала дать бой зарвавшимся “жертвам русской имперскости”.

“Мы – русские писатели…”, “Определяет нас язык…” Что заставляло этого лютого индивидуалиста перейти на столь соборный язык? Какая Провиденциальность? Какое предназначение? Или в эти минуты его брала за руку та череповецкая русская бабка, которая отнесла его креститься в Православную церковь? Или вставали за ним русские северные богатыри из архангельских лесов? Тот самый Бог, который в деревне живет не только по углам?



На улице Нью-Йорка

Думаю, на Страшном суде эта защита русской литературы всегда и везде ему была зачтена…».

Не знаю, как там на Страшном суде, а вот для суда земного и литературного приведу в заключение два еврейских отклика на статью Бондаренко. Мария Рабинович, психолог написала заметку «Два варианта Любви (Иосиф Бродский и Николай Гумилев)»: «В книге «Последние поэты империи» Владимир Бондаренко интереснейше рассуждает о земной любви Бродского. Однако еврейский фон этой любви Бондаренко опускает. В остальных его главах о Бродском утверждается, что поэт был русским, русским до мозга костей. Давайте, однако, сравним две строчки Бродского и несколькими гумилевскими.

Бродский:

> …Божья любовь с земной – как океан с приливом:
> бегство во тьму второй – знак отступленья первой!
>
> *(«Прощальная ода«)*

Гумилев:

> …Твоих волос не смел поцеловать я,
> …И ты ушла, в простом и темном платье,
> Похожая на древнее распятье.
>
> *(«Пятистопные ямбы«)*

Насколько мне известно, Младенец в стихах Бродского никогда не вырастает. Крепко спит (почти цитата). Не проходит путь до креста, и уж тем более до Воскресенья. Я посмею предположить, что то же самое верно и относительно внутреннего мира поэта Бродского. Любовь (к Ахматовой?) у Гумилева «всего лишь» (хотя и это трагедия) не позволяет лирическому герою вписаться в земной мир. Ему приходится уходить к Богу, к Богородице, в «золотой и белый монастырь». А лирическому герою Бродского некуда уйти. Его путь в небеса – та самая женщина (Басманова?), которая не отвечает ему взаимной душевной прозрачностью. Насколько Бродский в этих двух строчках русский, а насколько все-таки еврей?

Вы знаете, у меня есть крамольная мысль, что Бондаренко такого мерзотного (с моей точки зрения) Бродского нарисовал не совсем специально. В конце концов, Бродский действительно ни разу не съездил в Израиль. И вряд ли Бондаренко придумал из головы, что Бродский отказывался выступать в синагогах. Мне

кажется, причина такой позиции поглубже «патриотизма». Это вполне христианское постановление саркофагов с костями мучеников под алтарь, так было в реальных храмах, в период гонений на христианство (я это почерпнула из книжки «Православный храм и иконы», серия «Азы православия», издательство «Эксмо»). То, что Бродский сам того не желая оказался в некотором роде мучеником, по-моему, так утверждать можно. Другое дело – за что мучеником. Бондаренко загребущей рукою прибирает бродские косточки, а может, тому – в совсем другой саркофаг в совсем другой храм?»

В отличие от Рабинович это «загребание косточек» пришлось по душе израильскому публицисту Исраэлю Шамиру, который написал панегирик – «Возвращение на Родину. Владимир Бондаренко об Иосифе Бродском»: «Когда Иосифа Бродского похоронили в Венеции, многие вспомнили его несбывшееся пророчество – «На Васильевский остров я приду умирать». Но и венецианский погост Сан Микеле был лишь звеном в той цепи отчуждения – покруче полицейского кордона – которую выстроили между поэтом и Россией его друзья и противники, как питерские либералы, так и московские почвенники. Эти заклятые враги сошлись на том, что Бродский, рыжий еврей с Литейного, чужд России; что Россия его не поняла и не приняла; что его поэзия не подходит России, как патроны натовской винтовки М-16 не лезут в магазин «калашникова». Такая позиция устраивала всех.

В первую очередь «питерских стихотворных неудачников, заслоненных в русской культуре яркой фигурой Бродского… Они создают переделанный на свой либерально-местечковый размер облик поэта Бродского, далекого и от России, и от ее истории, мученика и страдальца от российского государства».

Но не в меньшей степени поэта гнали из русской литературы и русские националисты. Александр Солженицын резко обронил: «Бродский не возвратился в Россию даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». (Хотя, справедливо замечает Бондаренко, Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться).

«Увы, русскость в Иосифе Бродском оказалась не нужна ни нашим русским патриотам, для критиков почвенного стана Бродского как бы не существует, ни критикам либерального направления, перечеркивающим Россию как таковую и вычеркивающим любое проявление русскости из судьбы поэта», – пишет Владимир Бондаренко в своей – не побоюсь слова – эпохальной статье об Иосифе Бродском, вышедшей в 2003 году в «Литературной России» и в «Еврейской газете».

Бондаренко, опубликовавший в последние годы серию биографических эссе, посвященных различным знаковым фигурам русской культуры – от Эдуарда Лимонова до Сергея Михалкова, взял на себя труднейшую задачу – разобрать заслон либералов и националистов и возвратить Бродского домой, в лоно русской поэзии. Не как чужого, гонимого, неуместного, но как своего, принадлежащего к мощной державинской традиции в русской культуре. Бондаренко не побоялся упреков слева и справа, но перечел поэзию Бродского свежим взглядом, дал новую интерпретацию делам и словам поэта, и создал нового, доселе неизвестного Бродского. Его эссе можно назвать хрестоматийным в лучшем смысле слова: оно заслуживает почетного места в школьных хрестоматиях, чтобы школьники новой России правильно воспринимали замечательного русского поэта Иосифа Александровича Бродского.

Бондаренко убедительно доказывает, что эмиграция Бродского и его демонстративное невозвращение – даже земным прахом – в Россию были связаны в значительной степени с трагической неизбывной любовью поэта к Марине Басмановой, матери его сына Андрея. Марине были посвящены десятки лучших стихов поэта; если первый датирован 1962 годом, то последний – 1989-м, за год до поздней женитьбы Бродского. Ее уход заставил Иосифа Бродского оставить родину; непрекращающаяся боль разлуки с любимой мешала ему приехать в Ленинград, где каждый камень напоминал бы о Марине. «Окончательное решение о месте захоронения поэта (в Венеции) принимала его жена, итальянка Мария. Не было ли в этом чисто женского нежелания отдать, вернуть сгоревший прах поэта в город его возлюбленной? По женски-то она была права?!» – замечает Бондаренко.

И впрямь, мне, опытному эмигранту, легче принять версию Бондаренко, нежели ссылки на большевистскую тиранию. Любовь – или ее провал – чаще гонит нас за рубеж, в том числе и за рубеж жизни, чем самые суровые репрессии властей. Так любовь Менелая к изменнице Елене погнала сотни лучших ахейских воинов на дальнюю малоазийскую землю Трои.

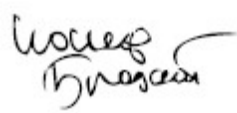
Ни в эмиграции, ни в ленинградском диссидансе, Бродский не смог «отделиться от русскости в своей культуре, от русскости, как следования русским канонам в литературе, в понимании поэзии, в жертвенном отношении к поэзии. От русскости, как полного погружения в русскую языковую стихию. И даже от русскости, как модели жизненного поведения, от максимализма, стремления постоять за правду своя и за други своя, до излишней анархичности и бесшабашной надежды на «авось», пишет

Бондаренко.

Иосиф Бродский запретил отпевать его в синагоге. Бондаренко раскрывает, как отбивался Бродский от попыток загнать его в еврейский закут: он отказывался читать стихи в синагогах, хотя этого не чурались Евтушенко и Вознесенский, не хотел даже посетить еврейское государство, отклонял приглашения Иерусалимского университета.

Сейчас Израиль тратит миллиарды долларов на постройку всемирной идеологической стены, отделяющей «избранный народ» от прочих, неизбранных, наподобие той, что строит Шарон на палестинских землях. Сионистские организации активно импортируют еврейский расизм в Россию, небеспочвенно надеясь на цепную реакцию. Важнейшее дело сделал мой друг Владимир Бондаренко, и не одно. Он поставил преграду сионистским сеятелям раздора, соединил в диалектическом единстве Инь и Ян русского духа, возвратил поэта Иосифа Бродского – русской поэзии, и исполнил пожелание поэта, писавшего: «Я верю, что вернусь, ведь писатели всегда возвращаются – если не лично, то на бумаге».

Да, подтвердим: Бродский так вернулся в Россию, что заполонил все книжные стеллажи, интернет, затмил своим днем рождения 24 мая и день рождения гения Михаила Шолохова в этот же день, и Праздник славянской письменности и культуры. Все телеканалы, все либеральные журналисты, мечтающие съездить в США и в Венецию, все прозападные СМИ делают этот день праздником еврейской литературы, что бы там ни писал мой друг Володя Бондаренко о русскости Бродского. Хорошо хоть про славянство Иосифа не распространялся, а то ведь на любой упрек они бы с еще большой наглостью отвечали: ну да, о Шолохове и славянской литературе не говорим – зато славим русского поэта Бродского от Норинской до Праги.



О поэте, «харкающем в суп»



Далеко не все литераторы вслед за русским критиком Бондаренко и израильским публицистом Шамиром разделяют тезис о «великом русском поэте». Так, издательство имени А. С. Суворина (Союз писателей России. СПб., 1996 г.), выпустило тиражом 999 экземпляров брошюру академика Ю.К. Бегунова, который, конечно, не так известен, как Бондаренко, но все-таки он доктор филологических наук России и Болгарии. Профессор Политологии Балтийского Государственного Универстета («Военмех»), почетный профессор Великотырновского Университета (Болгария), член союза писателей России, член Русского Исторического общества, автор около 500 книг, статей как научных, так и публицистических. Предисловие к этой книжке написал издатель Александр Сушко. Оно называется «Когда поэта нет в живых».

«И уже нет Бродского. О мертвых хорошо или ничего – утверждали древние.

Наш век внес в это известное изречение небольшой, но существенный мыследовесок: он добавил:… но лучше правду.

И нам симпатично это уточнение, ибо так получилось, что мертвые порой живее всех живых». Мертвые в веке нашем продолжают жить. В свое время Солженицын уверял, что «мертвый он сделает даже больше, чем живой». И он имел все основания так заявить: мертвые продолжают свое бытие, одни с положительным потенциалом для общества, другие – с отрицательным.

Примером положительного можно безоговорочно считать Пушкина. Он помог утвердиться многим поэтам «серебряного века»: он был нравственной опорой Ахматовой и Цветаевой. Есенин по Пушкину выверял не только плащ и цилиндр, но и свое творчество. Отрицание Пушкина легло в основу программы отечественных футуристов. Маяковский одно из итоговых стихотворений посвятил Пушкину. Для Георгия Иванова ностальгия по родине, выверенная по Пушкину, уложилась в стихи, достойные золотого фонда отечественной поэзии. Можно

ли представить Ходасевича без Пушкина? А поэта поэтов Блока? А сколько еще их, значимых, но не упомянутых!

Водопад дифирамбики в адрес Бродского, обрушившийся на русского читателя в последнее время, как бы вынес безоговорочный вердикт его гениальности, его значимости для нас, не в полной мере до этого знакомых с его творчеством. Усомниться в этом означало по меньшей мере добровольное обнародование своей неполноценности, своей ущербности. Как-то даже стало неприлично после такого славословия припоминать другое древнее выражение: о необходимости всегда выслушать и противоположную сторону. Ей вроде бы даже и неудобно слово предоставлять.

Но, несмотря ни на какие соображения неприличия, неудобства, она на устах многих. Она существует. И эта скромная брошюра академика Ю.К. Бегунова как раз и посвящена диаметрально противоположному взгляду и на творчество поэта, и на мифологию, которой он стал обрастать. Она – как охладительный душ на разгоряченные головы, порой напоминающих тиффози, поклонников поэта.

Жестко, последовательно, ступенька за ступенькой поднимается ученый в анализе событий, легших в фундамент первого мифа о Бродском, скажем так: недурно театрально обставленного мифа, не хуже, чем горбачевский фарс в Форосе.

Своеобразие первого мифа о Бродском, который развенчивает Бегунов, заметим, еще и в том, что появился он в одном из самых диковинных городов России (кстати, родине поэта), городе, вознесшемся над болотами, пронизанном всеми социальными миазмами, городе удивительной взлетности духа и одновременно мерзопакостнейших людишек, приюте большинства человекоуподобленных особей, восходящих еще к эпохе Достоевского, их бы назвать своим именем – монстрами, мутантами, недочеловеками – но не поворачивается язык, мешает притча о Лазаре – с их архиизощреннейшим самомнением, сих нелепейшими претензиями к миру и к окружающим их, которые принимают порой гипертрофированные формы. Они наложили своеобразный отпечаток на творчество поэта, именно они для него стали (с какой стати?) олицетворением всего русского народа.



С Владимиром Высоцким. Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн

Бегунов добросовестно цитирует апологетов Бродского, даже название одного из разделов о нем заимствует у них – «Шекспир наших дней». Отметим, однако, что восхищение Шекспиром на русской почве не всегда безоговорочное.

Лев Толстой, как известно, к творчеству английского драматурга ничего, кроме отвращения, не испытывал на протяжении всей своей жизни (см. его знаменитые статьи), ибо он оценивал его творчество с позиций высочайшей нравственности, с которой Шекспир обращался достаточно вольно. У серьезной русской литературы никогда не сбрасывается со счетов заповедь Пушкина: творчество и судьба нераздельны. И мы, говоря о Бродском, заметим, что он не пошел вслед за Пушкиным, для которого нет ничего выше истории своего народа.

И, разумеется, мы будем несправедливы к тем, кто утверждает, что большую роль в привлечении внимания к фигуре Бродского и к его творчеству сыграло присуждение ему Нобелевской премии. Для многих это явилось полнейшей неожиданностью. И поэтому мы попытаемся высказать в адрес уважаемого Нобелевского комитета несколько нелицеприятных мыслей по поводу его оценок наших мэтров в литературе.

Я коснусь только пишущих на русском языке. Только пяти литераторам дано было право получить знаменитую премию. Из них только имя Бунина лично для нас не вызывает никаких сомнений в правомерности ее вручения. Александр Солженицын

получил ее за обогащение мирового языка словосочетанием «Архипелаг Гулаг». Пастернак получил ее за смелость передачи на Запад своего романа, а не за литературные достоинства своего произведения, у которого были маститые предшественники: «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького и «Хождение по мукам» Алексея Толстого… Однако присуждение премии Шолохову ставит всех в тупик. Ведь «Тихий Дон» был завершен писателем слишком давно, остальное его творчество серьезной критики не выдерживает.

Присуждение ее прошло в атмосфере недоверия писателю, которому брошено было обвинение в плагиате. Подлинность «Тихого Дона» доказали: Гейр Хетсо из Осло, Герман Ермолаев из Принстона, Мэрфи из Оксфорда. Конец всем спорам положила книга московского журналиста Льва Колодного, нашедшего в частном архиве рукопись «Тихого Дона», относящуюся к 1927–1929 гг.

Вернемся к нашей брошюре. Пусть все высказанное нами гроша ломаного не стоит. Но академик Бегунов ищет истину. Читателю судить – нашел ли он ее. И это важно. Ибо еще древние говорили: дорог Платон (а мы вслед за ними перефразируем их: дорог Бродский), но истина дороже».

Вот начальная глава этой книжки, из которой вполне ясна оценка филолога-академика.

Академик Бегунов. «Шекспир наших дней»

Кто сегодня не знает русскоязычного поэта, прозаика и переводчика Иосифа Александровича Бродского? Он получил мировое признание. Его стихи триумфально шествуют по миру. Назовем некоторые из вышедших в свет его сборников: «Стихотворения и поэмы» (Вашингтон – Нью-Йорк; 1965), «Остановка в пустыне» (Нью-Йорк; 1970), «Конец прекрасной эпохи» (Анн Арбор; 1977), «Римские элегии» (Нью-Йорк; 1982), «Часть речи» (М., 1990), «Осенний крик ястреба» (Л., 1990), «Назидание» (Л., 1990 и М., 1991), «Письма римскому другу»(Л., 1991), «Холмы. Большие стихотворения и поэмы» (СПб.,1991), «Бог сохраняет все» (М., 1992), «Рождественские стихи»(М., 1992), «Форма времени» (Минск, 1992), «Сочинения. В четырех томах» (М., 1992), «Избранное» (СПб. и М., 1993), «Каппадокия» (СПб., 1993), «Избранные стихотворения» (М.,1994) и многие другие. В современной России его сочинения издаются многотысячными тиражами.

Бродского изучают в школах и университетах, читают и перечитывают и не могут понять: что за поэт? Но вокруг все говорят: «Классик, Блок наших дней», и этим все сказано. Почитатели называют Бродского «нашим феноменом культуры» и даже «Шекспиром наших дней». Спрашивается: оправданы ли такие пышные титулы?

Друг Бродского, живущий в Нью-Йорке, острый и хлесткий журналист Владимир Соловьев, пишет о «трагедии русской культуры в связи с там, что в ней все-таки нет Бродского». Так ли это? Кажется, совсем напротив: слишком много нынче Бродского в официальных анналах русской культуры, выставленной как бы напоказ, т. е. на всеобщее обозрение!

Родившийся в Ленинграде 24.V.1940 г. в семье фотокорреспондента Александра Ивановича Бродского (мать Мария Моисеевна Вольперт), ныне Иосиф Бродский с 1972 г. живет на чужбине, в Нью-Йорке. Он гражданин США, удостоенный в 1987 году Нобелевской премии. Сам шведский король Карл XVI Густав вручал ему эту премию. Постоянный секретарь Шведской академии наук Стуре Аллен произнес речь на торжественной церемонии, в которой назвал Иосифа Бродского продолжателем традиций русской классической литературы. Вот его подлинные слова: «Характерная черта Нобелевского лауреата Иосифа Бродского изумительная радость открытия. Он видит связи и сближения, тончайшим образом передает их словесно, затем видит их новые сочетания. Нередко они противоречивы и

неоднозначны, часто уловлены в молниеносном прозрении… Иосиф Бродский теперь гражданин США, но родился он и вырос в Ленинграде или Питере (от старого имени Петербург, как он называет свой город). В стенах этого города работали Пушкин, Гоголь, Достоевский; его архитектурные красоты, даже в том, поврежденном войной виде, относящемся к 1940—1950-м годам, родственны существеннейшему в истории нашего мира искусству.

Иосиф Бродский принадлежит к классической школе русской поэзии, включающей такие имена, как Мандельштам, Ахматова и лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак. В то же время, он искусный обновитель поэтического языка. Он находит вдохновение и на Западе, в особенности, в англо-американской поэзии от метафизика XVI столетия Джона Доннадо Роберта Фроста и Уинстена Одена… Через все испытания: суд, ссылку он сохранил свою цельность и веру в литературу и язык. Он говорит, что существуют критерии человеческого поведения, идущие не от общества, а от литературы.

Поэт играет ключевую роль как экзаменатор и испытатель, как тот, кто ставит вопросы. Поэзия превращается в решающий противовес времени, т. е. принцип деформации. Поэт равно становится глашатаем в умопомрачительном молчании тоталитарного и информационном наводнении открытого общества…

Для меня было честью и радостью представить Вас, Иосиф Бродский, публике на моем родном языке. Смысл всего сказанного мной, пожалуй, сосредоточен в одной строке одного из Ваших последних стихотворений: «Позволь сказать тебе: с тобою все в порядке». В самом деле, Вы принадлежите к той истории XX века, о которой идет речь».

Последняя фраза правдива. Наследие Иосифа Александровича принадлежит истории XX века и людям тех стран, где он жил и творил. Поэтическое наследие Бродского огромно и неоднозначно. Оно еще будет уделом пристального изучения. Однако уже сегодня ясно, что его нельзя безоговорочно причислять к русской литературе, продолжающей традиции Пушкина, Гоголя. Скорее всего, перед нами нечто постмодерное, русскоязычное, близкое по духу Мандельштаму и Пастернаку, но не равновеликое им.

«Всемирно восприимчивый» (определение Евгения Рейна), вобравший в себя эллинское, римское, российское и даже англо-американское, а также «различные узоры культур», Бродский замкнут в архитектурно подобных конструкциях современного стиха. Это «длинные поэмы» и краткая лирика в духе элитарной поэтической культуры (такой, как у Мандельштама и

Пастернака). Его поэзия реализована в необыкновенно остроумных, броских строфических формулах, формально совершенных, и она, однако, совершенно чужда исконному строю русской художественной речи. Русскоязычное – это еще не русское. Можно ли это понять? Да. При желании можно. И ничего в этом обидного для художника нет. Смотря кто и что выбирает в искусство. Кому и чему служат его музы – Эвтерпа, Мельпомена, Каллпопа. Поэзия Бродского – это искусство ясных поэтических образов, страстного и энергичного стиха, музыкального и одновременно резкого как трубный звук. Где здесь напевность и музыкальность подлинного русского акцентного стиха? Где реминисценции былинного фольклора, как у Цветаевой, или Древней Руси, как у Волошина, или хотя бы барокко и рококо? Нет ничего подобного. Или, может быть, в поэзии Бродского слышится хотя бы слабое подражание великому Пушкину? Нет, не слышится. Есть только сильное подражание творчеству англоамериканского поэта Томаса Элиота(1888–1965), Нобелевского лауреата, автора «Бесплодной земли», «Голых людей», «Пепельной среды» и «Убийства в соборе». Вся эта «оксфордская поэзия» предназначена для избранных, рафинированных интеллектуалов, не поддерживающих национального в искусстве и мечтающих о приоритете общечеловеческих ценностей над национальными. Здесь ясно видится путь к космополитическому, общечеловеческому, захлестывающему все и удушающему последние ростки «своего» в России.

Космополитизм Бродского, его принадлежность к кочующей интеллигенции «граждан Мира», ярко выражен в следующем его стихотворении:

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, поющих вопли гумна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок,

позволял своим связкам звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

1980

Россию и Петербург, его вскормившие, Бродский не видит и не слышит, что подтверждают его стихи: Петербург – это только холодные, серые громады, свинцовое небо и серые тучи, да еще мосты, наконец, это население – люди, бабы, без определенной национальности, ибо все они в его поэтическом мире – только лишь участники своеобразного вербального действа – волхвы. Вот поэтическое подтверждение только что сказанного:

В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлием из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о Ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежное чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришельца.
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

«24 декабря 1971-го», 1972

– Опомнитесь, – однажды заявил Я. М. Лернеру Бродский, – нас же окружают одни хазырим (т. е. «свиньи», евр.). Ненависть к русскому народу обуяла будущего поэта чуть ли не с рождения. Типичное для Бродского-поэта самовыражение, принимающее внешние атрибуты христианства, но весьма далекое от сущности нашей религии: высочайшей нравственности, духовности, всепрощения, подвига самопожертвования ради спасения народа и страны. У Бродского не найдешь слов: «Мой Израиль». Тем более нет и слов: «Моя Русь». Бродский вовсе не Минин и отнюдь не Пожарский, тем более не патриарх Гермоген!



Поэт в США.

«Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым…»

И. Бродский. «Колыбельная Трескового мыса»

А как раз наоборот – диссидент без стержня, без царя в голове! В лучшем случае, Бродский может порассуждать о правах или об унижении русскоязычного поэта, но останется абсолютно безучастным к голосам страждущих русских людей. Он не интересуется Русской идеей, идеей спасения Русского народа от жестокого геноцида. «Искусство – вне политики», – лозунг поэта Бродского. «Искусство – не для народа!», – другой лозунг поэта.

Вот почему поэтические мечты аполитичного «Шекспира наших дней», в котором, по его признанию, «дремлет обезьяна», лишено глубины национальной памяти: Иосиф Александрович и не русский, он и не иудей, потому что не интересуется иудаизмом. Он универсальный поэт Вселенной, глашатай «культуры городов», вечной и бесконечной, мысленно обращается к итальянскому, латинскому поэту Фортунату(VI–VII вв. н. э.), автору «Жизнеописания Радегунды». Фортунат, конечно, не преподобный Сергий Радонежский, с ним можно поговорить

запросто, запанибрата, никого этим не задевая:

Я хотел бы жить, Фортунатас, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава – рука,
и чтобы она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака,
Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветрам —
Тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе,
а я в партере бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».
В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
Я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой там,
где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самое главное – пенальти головой.

(«Развивая Платона»)

На иссушенном, просеянном песке безнациональной пустыни Бродского ничего не растет: ни трава, ни кусты, ни березка; нет там и воды, ни мертвой, ни живой, но есть мертвые города с их Памятниками, с Оперой и Стадионом, Библиотекой и Баром, где можно выпить «чоуки» и все забыть, кто ты и что ты, зачем ты живешь на земле:

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней, как в Аду, но более херово.

(«Похороны Бобо», 1972).

Пустота – питательная среда насилия, бездуховности, поп-культуры, которая сегодня мутной волной захлестнула мою Россию. Мечты поэта витают вдали от нее, вдали от родного очага, вне времени и пространства, вне почвы России с ее языческими корнями, начатками государственности, с ростками православия, с ее одержимостью и страданием, с муками поисков и всплесками обретений, с моментами прозрений и озарений, когда поэту может открыться бездонная глубина первозданной неповторимой красоты Руси, блоковской России с ее тайнами.

Поэзия леденящего холода мертвящих каменных глыб и безликой бронзы, принимаемых за дома и памятники, эта иррациональная поэзия Иосифа Бродского полностью чужда России, хотя она и звучит на русском языке. В ней нет ни тайны русской души, ни тепла русскости, а только холод – холод околомировых параллелей и тонких аллюзий, данных подзнаком вечности. Фортунатус? Зачем русскому человеку латинянин? Разве нам мало собственных леших? Заморскиелешаки из стихов Бродского нынче заполонили словесность, да и нетолько одну ее, и нет от них покоя нигде.

Лешетворчество Бродского в поэзии так же аморально, как порнобизнес, попкультура, наркомания, разорение России, уничтожение культуры. Как истинный гётевский «Фауст» противостоит пастернаковскому «переводу», так и теплый мир Добра и Красоты национальной русской поэзии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина противостоит холодному миру искусственных идеалов «Громады мира». Ясно теперь, почему в поэзии Бродского не найдешь вечных тем и образов русской истории и русской литературы. Они – вне мировоззрения поэта. Русская и советская история прошли мимо поэзии Бродского, и потому она сегодня увяла и поникла. Герои отечественной истории не трогают воображения поэта. Маршал Жуков, герой нашей Священной войны с германским фашизмом, не вызывает у поэта Бродского ни патриотического чувства, ни понимания того, зачем полководец «входил в чужие столицы» и что он там делал:

Вижу колонны замерших воинов,
Гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп
в смерть уезжает пламенный Жуков (…)
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

(«На смерть Жукова», 1974)

Для Бродского – это «убранный труп». Поэт клевещет на маршала! Тот ничего не боялся, выиграв 62 сражения, да и подавив путч Берии, сумел достойно, с высоко поднятой головой пережить и собственную опалу, и почетную ссылку, «уехав не в смерть», а в Вечность, где хранится Память Героев Русской Земли.

Ясность образов Мандельштама – это еще не все для того, чтобы иметь право войти в русскую классическую литературу в качестве полноправного члена. Важно качество образов, их духовно-нравственная основа. Надо еще обладать духовностью и благородством, что дарит земля, чтобы полюбить Россию по-настоящему. А Бродский Россию не любит:

«На моей родине, – утверждает он, – гражданин может быть только рабом или врагом. Я не был ни тем, ни другим. Так как власти не знали, что делать с этой третьей категорией, они меня выгнали».

Бродский Россию ненавидит. Его любимая книга – Маркиз де Кюстин «Россия в 1839 году», содержащая пасквиль на Россию. Другое дело – страна-мечта – Соединенные Штаты Америки. «Никто не может стать такой страной, как США. России не предназначено быть богатой», – вещает он в феврале 1990 г. в интервью корреспонденту «Ньюс дэй». Потому и сделан выбор в пользу Америки. «Рад, что мою поэзию ощущают утратой в России. На Севере было интересно, – продолжает он, – но в мире много других интересных вещей. Величие? Я агностик, отрекаюсь от Бога за то, что его нет. Но люблю Рождество. Пишу по одному стиху на Рождество».

Зачем? Чтобы вспомнить «хаэырим» (т. е. «свиней», евр.), оставленных в России и приговоренных к вечному мучению. Проходя круги ада, русские не ощущают свою ущербность от неприятия ими чуждой поэзии русскоязычного поэта. Утраты нет, потому что фиалки Бродского пахнут не тем. Поэт это скрывает: иначе не будут распространять его стихи, предназначенные быть троянским конем в мире доверчивых славянских чувств. Но поэзию Бродского властью нам навязывают. И в Петербурге тоже. Да, в городе Медного всадника, где камни способны порождать плесень:

> И там были бы памятники. Я бы знал имена
> не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
> истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
> учитывая отпечаток, оставленный ими на
> населении города. И с присохшей к губе
> сигаретою сильно за полночь, возвращаясь пешком к себе,
> как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
> я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.
> И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
> подрывную активность, бродяжничество, менаж —
> а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,

тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» —
я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
Запоминай же подробности, восклицая «ИА!».

(«Развивая Платона»)

Бродский – «не наш», а Петербург не его, России – нет, а есть «отечество белых головок», «равнодушие», где надо говорить не по-русски, а на «зонной фене» в «мокром космосе злых корольков и визгливых сунявок». И звучит печально лира поэта:

Может, лучшей и нету на свете калитки в ничто,
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

(«На смерть друга», 1972)

Порок и добродетель, грех и благословение, все суета, не прибывай ни в чем.

Мир Бродского-поэта – «неизвестно, какие берега», откуда он, в «бесцветном пальто», шлет свои поэтические приветы друзьям и знакомым. Интересно было бы узнать, кто или что сформировал «мир Бродского-поэта», такой отчужденный от России и враждебный? Отвечаем: война, блокада, мрак сталинщины, когда страх вползал в душу каждого, семилетняя средняя школа, которую будущий поэт оставил в 1955-м. Затем многочисленные работы: фрезеровщиком, смотрителем маяка, кочегаром в котельной, санитаром в морге, внештатным корреспондентом газеты «Советская Балтика», коллектором в экспедициях, фотолаборантом, грузчиком, техником в котельной и т. д. Нигде подолгу не задерживаясь, за короткое время сменил 13 мест. Много путешествовал. С 1959 г. стал сочинять и переводить с подстрочником с английского, испанского, польского. Стихи получались корявые, нескладные, «спящие парантеле». Вот образчик таких стихов «новой этики»:

Заснул Джон Донн. Спят все поэмы,
Картины, рифмы, ритмы. И плохих, хороших
Не отличить. Выигрыши, утраты
Одинаково тихо спят в своих слогах.

(«Великая элегия для Джона Донна», 1959)

Еще очень далеко до «Шекспира наших дней»! С поэзией не получается – перешел на похабщину, лихую и необузданную:

Ой ты, участь корабля,
Скажешь «пли» —
ответят «бля».
Сочетался с нею браком —
Все равно поставлю раком.

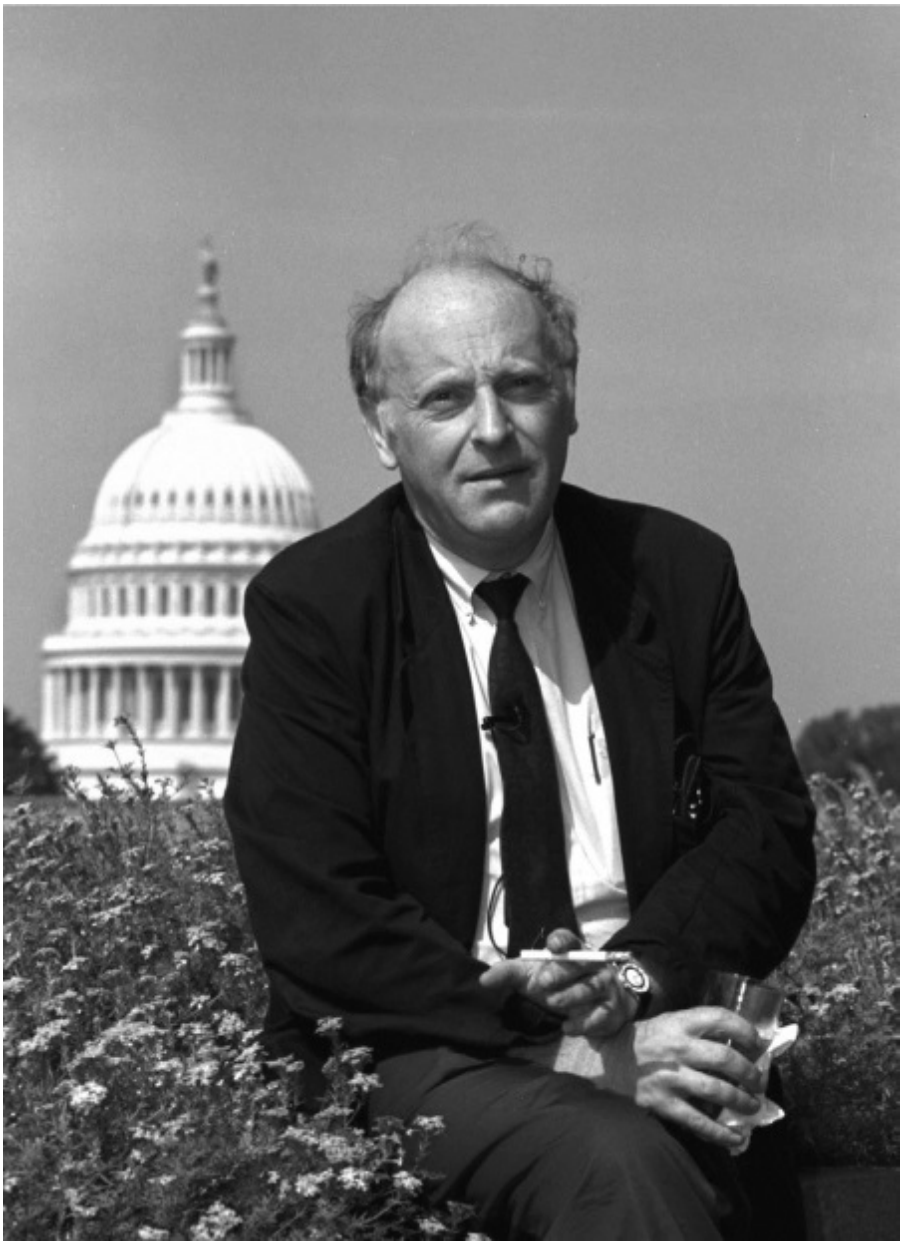
Или еще:

Харкнул в суп,
чтоб скрыть досаду,
Я с ним рядом срать
не стану.
А моя, как та мадонна,
Не желает без гондона.

(поэма «Представление»)

Думаю, не всякий решится поставить эти порностишки в один ряд с поэзией, а тем более с поэзией будущего Нобелевского лауреата. Однако поставили. Поэтический авторитет Иосифа Бродского не только неприлично раздут, он целиком мифилогема небрезгливых и безудержных к саморекламе «Граждан Мира»! «Я не стал ни дураком, ни нытиком. Просто мое субъективное восприятие атрофировалось до стадии хамства, перед моим мысленным взором, – писал Иосиф Бродский, – встают космические пространства и, время от времени, испитая рожа гиганта слова Олега Шахматова (друга Бродского. – *Ю.Б.*)… Имеющая форму чемодана планета продолжает вертеться вокруг второстепенной звезды, и мы – мироздания – подобно пресловутым атомам беспорядочно движемся и оседаем на ее обшарпанных и помятых боках». (Из письма И.А. Бродского к «Джефу», от 16 апреля 1959 г.). «Я уже долго и мудро думал

насчет выбраться за красную черту. В моей рыжей голове созрела пара конструктивных решений. Откровенно говоря, ратуша муниципалитета в Стокгольме внушает мне больше добрых мыслей, чем Красный Кремль». (Из дневника И. А.Бродского 1950—1960-е гг.). «Плевать я хотел на Москву! Чтобы ни случилось, держите на Запад», – такие высказывания характерны для смятенного мироощущения начинающего поэта-диссидента, разочарованного во всем, да к тому же сознательно избравшего не только антитоталитарный, но и вообще антинациональный код для своего творчества. Это мучительно больно и сложно для индивидуума, ибо порождает комплекс неполноценности. Отсюда трагедия Иосифа Бродского, как будущего художника неизвестно какой литературы. Отсюда и ущербные темы «русских» стихов Бродского 1959–1963 гг. – одиночество, оторванность от жизни, узкий мирок обывателя, богоискательство, мистика. На русском языке о родине и народе он говорит сквозь зубы, с иронической издевкой (поэма «Шествие»), мечтает «о родине чужой», куда когда-нибудь уедет. В то время Иосиф Бродский сближается с поэтами Д. Бобышевым, А. Нойманом, Е. Рейном, посещает кружок индийской философии Александра Уманского. «Такова была компания… Круглых дураков окружали дураки поменьше (Гунусов, Восков-Гинзбург, Панченковы, Шахматов), девочки и мальчики, которые, раскрыв рот, слушали все, что преподносилось. Им льстило, что они могли войти в очень избранный круг. Здесь часто назойливо повторяли слова «черные люди». «Черными людьми» называли тех, кто существовал за пределами духовного болотца, кто работал, мечтал, учился и ни в грош не ставил ни философию йогов, ни разглагольствования обносившихся умом личностей. «Сверхмонизм! – кричал Уманский. – Я создал наивысшую философию». (…)



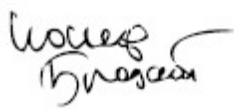
Поэт дает интервью на фоне Капитолия

Йоги, литературные «диспуты», анекдоты – все это лежало на поверхности, составляя лишь скорлупу ядовитого ореха. Сердцевиной была ненависть. Ненависть называли «великим йоги». Ненависть к своей стране, к ее народу, к социализму, к труду, ко всему тому, что близко и дорого обычному советскому человеку»…

PS.

В общем, позиция академика – ясна. Яков Гордин опубликовал разгромную статью-опровержение, но наиболее ценной мне показалась одна фраза из нее: «Вообще, если говорить о мелочах, то в труде академика много забавных курьезов. Так, он называет «другом Бродского» Владимира Соловьева, литератора, живущего в Нью-Йорке, которого Бродский терпеть не мог. Бегунов, очевидно, считает, что все русские литераторы, живущие в Нью-Йорке, – друзья. Это заблуждение».

Конечно, заблуждение, но Соловьев настрогал три внушительных тома о Бродском, который его «терпеть не мог», раздает интервью по сей день, но ни Гордин, ни другие прижизненные приятели поэта его публично не одергивают. У «них» это не принято, а вот по славянскому филологу сам Б-г велит врезать. Нравы…



Пародийное предприятие Бродского – Сергей Довлатов

Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется.

Сергей Довлатов



Для начала приведу слова из аннотации к очередной книге о Довлатове: «Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке 15 лет назад. За прошедшие с тех пор годы довлатовские сборники массово изданы и прочитаны в России. Довлатова проходят в школе, специалисты по Довлатову – довлатоведы – продолжают выпускать о нем книги изучений и воспоминаний. В общем, Сергей Довлатов стал классиком. А превращение в классика, как известно, – путь к забвению. Правда, остались и вопросы: например, в чем состоит феномен Довлатова и был ли этот феномен вообще? У американского лирика Юрия Милославского на эти вопросы одни ответы. У петербургского критика Виктора Топорова – другие. И все они отличаются от канонических». Вот как – уже и канон есть!

Итак, упомянутый Юрий Милославский – не герой знаменитого исторического романа Загоскина о 1612 годе, а – харьковчанин, эмигрант с 1973 года, который работал на «Радио Свобода», печатал позднюю прозу в журнале «Континент», так написал о нью-йоркских земляках в эссе о Бродском и Довлатове: «Благодетелем Бродский был почти никудышным. Быть может, потому, что недурно разбираясь в механизмах, поддерживающих современное ему т. н. западное жизнеустройство, он все-таки оставался детищем иного міра (мифа), где все то, что условно относится к понятию «благодеяние» (более известное как «помочь своему человеку»), витало в беззаконном тумане, в другой системе координат.

Как исконно-порядочный человек, Бродский знал, что надо по

возможности оставаться другом своих друзей. Знал, что помогать следует землякам, школьным товарищам, их семьям, соседям, старинным знакомым как таковым, тем, которые когда-то знали его «еще во-от такусеньким», помнили его маму, папу, тем, в которых он любил «прошлое страданье и молодость погибшую свою», способным сочинителям, которые оказались в нелегком положении. Это был набор из арсенала простецов. Но самая возможность помогать появилась у Бродского лишь тогда, когда сам он вошел в некое привилегированное сословие, членам которого оказано доверие: у них есть право, – весьма, кстати, ограниченное, – предлагать своих кандидатов на раздачу благодеяний.

Право это предполагает политическую осторожность и политическую же мудрость. Всего этого у Бродского в ипостаси, например, «нью-йоркого элитарного интеллектуала» было в избытке. Но благодеяния-то он раздавал представителям нижнего господского слоя (я давно предпочитаю это исчерпывающее по свой точности определение, найденное мыслителем и педагогом С.Я. Рачинским – покрывающему слову «интеллигенция»), т. е. к российской/советской интеллигенции, да еще руководствуясь при этом бытовою нравственностью российского простеца. Поэтому почти всегда получалось скверно.

К середине 70-х годов прошлого столетия в Северо-Американских Соединенных Штатах под воздействием различных факторов, на характеристике которых мы останавливаться не станем, практически совершенно отказались от самопроизвольного, как иногда говорят, «качественного» движения направлений и, соответственно, вкусов в области изящных искусств и литературы. Помимо множества иных причин, возникшая к тому времени профессиональная art-индустрия по самой своей природе не могла бы действовать успешно в условиях переменчивости, каприза индивидуальных творческих достижений, борьбы групп и т. п. Таким образом была постепенно достигнута полная и абсолютная «рукотворность» литературного и/или художественного успеха, могущего быть выраженным в положительных (материальных) величинах.

В Отечестве этому явлению соответствуют новые значения существительного «раскрутка» и производные от него слова. Как никакой обычный проситель (обвиняемый, потерпевший) не в состоянии добиться, чтобы его дело – в чем бы оно ни состояло – было хотя бы выслушано судом, – не говоря уж об успехе такого слушания, – без посредства адвокатов, так и литературное или живописное произведение не может быть с пользою реализовано его создателем без посредства представителя art-индустрии.

Положение это кажется нам только естественным; но как следствие его к середине 80-х годов во всей сфере творческого наступило господство злокачественного неразличения этой условной, относительной, договорной, но зато истинной, сравнительной ценности явлений и плодов искусства относительно друг друга. Все равнозначно, ничто не «лучше», потому что в безнадежных попытках определить, что же на самом-то деле «то», а что – «не то», в войне мнений экспертов захлебнулось бы налаженное торгово-промышленное предприятие, которое, не забудем, к тому же действует в пространстве идеологическом, где ошибаться в наше время не рекомендуется.

Это означает, что лучшим, наиболее качественным является в данный момент то, что art-индустрия по чьим-то заказам, выкладкам или собственным расчетам произвела, приобрела для последующей перепродажи и проч. И этим лучшим может быть все, что угодно. Абсолютно все.

Все, что угодно, может быть названо, – собственно, назначено, – живою классикою, Чеховым конца XX века, Пушкиным сегодня. (В 2003 году на Нобелевскую премию по литературе кандидатом от российских сочинителей был выдвинут некто К.А. Кедров. Вот образец его произведений: «Накал страстей достигает выси/я пьянею от страсти/а ты от мысли/В любви все до единого новички/если утонули в зрачках зрачки». Для того чтобы только быть выдвинутым на Нобелевку, следует заручиться солиднейшими знакомствами. Но для того чтобы от русской словесности могло быть выдвинуто это – необходима абсолютная власть злокачественного неразличения.)

Культура неразличения приводила Бродского в бешенство; он видел в ней личное оскорбление, бесчестье, хотя и прекрасно понимал, что именно ничего личного в культуре неразличения нет и быть не может. «Наказывал» он ее тем, что сам, пользуясь своими возможностями, назначал кого-нибудь «поэтом божией милостью» или «замечательным прозаиком». Кажется, единственным, доведенным до логического конца пародийным art-ин-дустриальным предприятием Бродского стал покойный журналист Сергей Донатович Довлатов.

Его трагикомическая посмертная литературная судьба в Российской Федерации нас не занимает. Она могла бы стать предметом исследования историков культуры – и рассмотрена в статье под названием «Ранние случаи проявления культуры неразличения в России» или что-нибудь в подобном же роде. Впрочем, скорее всего, «раскручивая» Довлатова, – надеялись доставить удовольствие Бродскому, тем более что

«раскручиваемый» уже находился там, где от плода «раскрутки» вкусить невозможно.

Уверен, что Бродский искренне желал ему помочь. Довлатов был старый знакомый, земляк, его мама знала Бродского с юности и, говорят, любила до того, что начинала при виде его рыдать. Возможно, что материнские эти рыдания сыграли свою роль. Как видим, С.Д. Довлатов обладал всеми признаками человека, имеющего право на помощь Бродского. Единственным недостатком его было то, что писал он совсем плохо. Как сапожник, выражалась в сходных случаях М. В. Розанова. Т. е. это не так. Он писал не то чтобы плохо, но много хуже честного сапожника; он был газетный очеркист, усвоивший себе невозможную для литературы и ненужную в журналистике печально-снисходительную осклабленность интонации; при желании можно было разглядеть, что он хочет писать как Добычин; или как Хармс; как Шаламов; или как Федор Чирсков, – можно было, да кто ж это видел? кто следил? Довлатов вел различные журналистские проекты в Нью-Йорке, и немногие, кажется, подозревали о космичности его притязаний. Сочинения его вполне подошли бы для освобожденной 16-й страницы «Литературной газеты» времен Чаковского; но и там бы он далеко уступал Виктору Славкину.

Кое о чем можно было заподозрить, читая довлатовские записи о знаменитых писателях, с которыми он, вероятно, всегда был близок. В этих записях проявлялся некий болезненный дар, сложное живое чувство завистливой сопричастности. Знаменитый писатель и Довлатов на охоте. Писатель падает в колодец. Довлатов замечает, что упавший прежде всего закурил, – и резюмирует: такова была сила его характера. По-моему, это хорошо. Другой знаменитый писатель и Довлатов в бане. Довлатов, который в те дни увлекался Джоном Апдайком, рассказывает о своих увлечениях знаменитому писателю. Писатель поворачивается спиною к Довлатову и говорит: обдайка.

Шутки в сторону. Довлатов был человек неизлечимый. Я понял то исступление, до которого довела его неутоленная и неутолимая для него страсть – страсть не казаться, а быть настоящим сочинителем, – только по его письмам, с опрометчивою жестокостью опубликованным в последние годы. Бродский, разумеется, знал, каков настоящий уровень довлатовского сочинительства. Но дюжины и дюжины посторонних гадких людей, из тех, кто пишет уж никак не лучше Довлатова, на глазах Бродского сорвали свой куш, получили свое от art-индустрии, от культуры неразличения. И если это – может

быть кто угодно, то тем паче это может быть Сергей Довлатов. Культуру неразличения надо бить ее же оружием.

* * *

К открытию международной писательской конференции Writers in Exile, организованной в исторической венской гостинице «Захер» (родине популярного торта «Пражский») издательским фондом Джорджа Вайденфельда Wheatland Foundation совместно с фондом Ann Getty, С. Д. Довлатов прибыл на личном самолете самой Энн Гетти (так он, по крайней мере, рассказывал). Помощь была оказана. Он был рекомендован и Вайденфельду, который, надо отдать ему должное, просьбу Бродского выполнил, аккуратно издав три книги рекомендованного автора. Последних двух Сергей Донатович не дождался.

На этом всемирном изгнанническом конгрессе 1987 года в Вене, прошедшем в дни, когда и ленивому было уже понятно, что профессиональным изгнанникам всей Восточной Евразии следовало бы подумать о перемене профессии, было по-настоящему смешно и поучительно. /…/ Довлатов, высокий и представительный ориентальный мужчина, волоокий, с волосами оттенком в черный перец с солью, неотвратимый погубитель белокурых секретарш, подошел ко мне первым, что было для него подвигом, тогда мною неоцененным («Иосиф говорил, что я вас здесь, вероятно, встречу»; он, видимо, счел, что я вскоре окажусь – или уже оказался – в числе новых друзей Иосифа и, как друг старый, решил меня принять без боя, раз уж все равно так получилось).

Робкий, как многие запойные, он пытался держаться со мною строго, но справедливо, с учетом своего места в иерархии изгнаннической литературы; а я его совершенно искренне не понимал, потому что места этого не знал и не представлял – что оно где-то означено. Тогда он стал задумчиво вздыхать; почти непрерывно именовал себя в третьем лице автором одиннадцати опубликованных книг. Я отвечал ему: «Ого!» – и все равно ничего не понимал.

На какой-то день конференции выяснилось, что сам Бродский в Вену не приедет, а Довлатов, отдавшись своей питейной слабости, наконец-то напугал меня так, что уж до самого разъезда я старался его избегать.

То и была первая моя встреча с Бродским. В гостиничном коридоре, среди всех этих захеровских штофных обоев, шпалер и

картин маслом в золотых рамах рококо, Довлатов перегородил мне дорогу и странно-хриплым, горестным, восторженным, отчаянным голосом заговорил:

– Я его люблю. Я его знаю – и люблю. Знаю – но люблю. Я преклоняюсь перед ним. Я никакого другого человека… Никакому другому человеку… Никому, понимаете, ни-ко-му… И мама моя, как увидит его, начинает плакать. Рыдать. Это уже высшая степень любви, высшее выражение любви… И он меня любит, это же видно, когда тебя любят. Но, знаете, он… Ох, какой он может быть. Нет! Я не хочу сказать, что он может быть жестоким. Он – сама нежность, сама доброта, само благородство. Но он, знаете, он… Вот сейчас, недавно… Приехали – в первый раз за все эти годы! – в Нью-Йорк наши ребята из Питера. Что я могу для них сделать?! Пойдем к Иосифу!



В итальянской гостинице. Из архива Я. А. Гордина

Они все эти годы мечтали его увидеть, и он их, конечно, всех помнит. Звоню. Иосиф, мы с /…/ завтра у тебя. Да, отлично, жду, очень рад. Но я его знаю. И на всякий случай, за полчаса до того, как мы должны были с ребятами встретиться, перед самым выходом, звоню Иосифу. Ох, ты извини, я совсем забыл, у меня там делегация какая-то из Германии, ты ж понимаешь, старик, надо, я обещал. Давай часика через два. А ребята уже вышли, позвонить некуда. Я бегу, встречаю, как побитая собака! Ребята, такое дело, давайте погуляем немного. И я чувствую – они мне не

верят! Они не верят, что я вообще с Иосифом говорил, что могу с ним запросто встретиться!! Гуляем-гуляем, страшный холод. Я опять звоню. Старик, прости. Погуляйте еще часик, ладно? – и мы гуляем. И я чувствую, что им стыдно смотреть на меня. И меня самого охватывает такой страшный стыд, становится так стыдно! И мы уже не смотрим друг на друга. И я вижу, что они уже ни на грош мне не верят. Проходит час. Я опять звоню. Старик, уже практически все. Давай так: погуляйте еще полчасика – и прямо, без звонка, заходите, хорошо? Конечно, Иосиф. И мы гуляем полчаса, заходим, он нас прекрасно принимает, все нормально, но я уже от стыда, от усталости как мертвый, но я все забываю, я же его люблю…

Довлатов захлебнулся, переглотнул – и с таинственным, леденящим вдохновением, произнес:

– Конечно, я ему желаю долгой жизни. Но, если он умрет, если его не станет, то я тогда о нем… напишу».

В сетевом журнале «Семь искусств» («Наука, культура, словесность» – главный редактор – Евгений Беркович из Ганновера) не так давно было опубликовано эссе «Иосиф Бродский и Сергей Довлатов» опубликовал Ефима Левертова: «Бродский очень хорошо относился к Довлатову, настолько хорошо, что некоторые завистники даже считали Довлатова “проектом Бродского”. Конечно, они были не правы, просто у них было совершенно разное отношение к написанному. Бродский играл гениальность и уверенность, в то время как Довлатов всегда был в чем-то не уверен. Когда по приезду в Америку Довлатов обратился к Бродскому, употребив слово “ты”, небожитель – Бродский немедленно отреагировал: “Мне кажется, что в Ленинграде мы были на “вы”. Если Довлатов собирался позвонить Бродскому, он некоторое время репетировал сценарий разговора, несколько раз подходил к телефону и отходил от него и, наконец решившись, часто играл этакую небрежность». Какая потрясающая и уничижительная деталь – репетировать разговор с «другом»!

* * *

Ну что ж, перейдем к автобиографической прозе вечно неуверенного Довлатова: «Я родился в не очень-то дружной семье. Посредственно учился в школе. Был отчислен из университета. Служил три года в лагерной охране. Писал рассказы, которые не мог опубликовать. Был вынужден покинуть родину. В Америке я так и не стал богатым или преуспевающим человеком. Мои дети

неохотно говорят по-русски. Я неохотно говорю по-английски.

В моем родном Ленинграде построили дамбу. В моем любимом Таллине происходит непонятно что.

Жизнь коротка. Человек одинок. Надеюсь, все это достаточно грустно, чтобы я мог продолжать заниматься литературой…”

Напомним, что Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (1909–1995) и литературного корректора Норы Сергеевны Довлатовой (1908–1999). С 1944 года жил в Ленинграде, но помнил о своих предках и решил запечатлеть их в прозе. Вышло плохо и неточно:

«Наш прадед Моисей был крестьянином из деревни Сухово. Еврей-крестьянин – сочетание, надо отметить, довольно редкое. На Дальнем Востоке такое случалось».

А.Б: И не только в такой дали – почитал бы о жизни евреев в местечках за чертой оседлости, да того же Шалома Алейхема… Довлатов начинает фантазировать, но скучно, обрывочно, невкусно, со стилистическими повторами:

«Сын его Исаак перебрался в город. То есть восстановил нормальный ход событий. Сначала он жил в Харбине, где и родился мой отец. Затем поселился на одной из центральных улиц Владивостока.

Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке. Рядом помещалась винная лавка Замараева – «Нектар, бальзам». Дед мой частенько наведывался к Замараеву. Друзья выпивали и беседовали на философские темы. Потом шли закусывать к деду. Потом опять возвращались к Замараеву…

– Душевный ты мужик, – повторял Замараев, – хоть и еврей.

– Я только по отцу еврей, – говорил дед, – а по матери я нидерлан!

– Ишь ты! – одобрительно высказывался Замараев. Через год они выпили лавку и съели закусочную.

Престарелый Замараев уехал к сыновьям в Екатеринбург. А мой дед пошел на войну. Началась японская кампания.

На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон.

Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.

Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею».

А.Б.: Да, Николай II был первым и единственным правителем великой страны, который пересек ее от Владивостока до Санкт-Петербурга по суше и воде. Но это было в 1890–1891 годах, когда прадед выпивал и закусывал. Так на каком смотру во время японской кампании мог увидеть Моисея Государь?

Такими правдивыми деталями и мелочами Довлатов пренебрегает и продолжает плести небылицы:

«Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие.

Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку.

Орудийный расчет должен был поддержать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина моего деда заслонила неприятельские укрепления».

А.Б.: Что, со всех орудийных позиций наводящие не могли увидеть укрепления? Ведь это просто бред горячечный с обманом зрения!

«С фронта дед привез трехлинейную винтовку и несколько медалей. Вроде бы имелся даже Георгиевский крест».

А.Б.: Вроде? Да Георгиевский крест – награда за личный солдатский подвиг был ценнейшей наградой, вокруг него складывались семейные предания, которые передавались из поколения в поколение!

«Неделю он кутил. Потом устроился метрдотелем в заведение «Эдем». Как-то раз повздорил с нерасторопным официантом. Стал орать. Трахнул кулаком по столу. Кулак очутился в ящике письменного стола».

А.Б.: Какой письменный стол в ресторане? И почему часовщика, лавочника взяли метрдотелем?

«Беспорядков мой дед не любил. Поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так. Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками. После революции мой дед затих. Опять превратился в скромного ремесленника».

А.Б.:Как можно революционную толпу спутать с погромщиками, и разве дед не знал, что многие евреи пришли в революцию, чтобы не было погромов, а некоторые для того, чтобы и отомстить за прошлые погромы, действительные и мнимые?

И автора такой суконной, полубредовой прозы именуют

«великим писателем XX века»?

* * *

Теперь наметилась новая кампания: хотят создать музей Довлатова в… Пушкинском заповеднике. «Старый деревенский дом в деревне Березино рядом с музеем-заповедником «Михайловское», в котором когда-то жил писатель, срочно требует музеефикации или какого-то иного сохранения. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал директор государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, передает корреспондент «БалтИнфо».

«Я не против того, чтобы музей Довлатова появился рядом с пушкинским заповедником. Меня услышали так, как услышали, хотя я говорил совсем о другом – о том, что у Пушкинского музея, скорее всего, не будет ни средств, ни полномочий организовывать совершенно иную экспозицию, не посвященную Пушкину», – отметил Василевич. Он напомнил, что в музее-заповеднике прошел «круглый стол» «Музей С.Д. Довлатова. Проблемы и преспективы», где обсуждалась эта проблема: «Дом в Березино, в котором жил Довлатов, купили частные лица на паях. О какой сумме идет речь, мы не знаем, поскольку в этой сделке не участвовали. Единственное, что мы точно знаем, – судьбу домика Довлатова нужно решать поскорее, поскольку он находится в плачевном состоянии. Там просто невозможно сделать экспозицию. Впрочем, все будут решать нынешние владельцы дома», – отметил Василевич.

Напомним, что писатель Сергей Довлатов несколько лет работал экскурсоводом местного экскурсионного бюро в Пушкинских горах, жил в деревне Березино в старой избе, а уже после отъезда создал на основе полученных впечатлений повесть «Заповедник». Вдова известного русского писателя Сергея Довлатова Елена Довлатова, не видит смысла в открытии его музея в Пушкинских Горах (Псковская обл.). Слава богу, нашелся один здравомыслящий человек!

Но попробуй уйми воспевателей. Вот и критик Александр Генис прямо назвал свое славословие: «Пушкин у Довлатова». Звучит так, что возникает вопрос: в гостях, на побегушках? Или – каким получился образ Пушкина у Довлатова?

«Свою таллинскую дочку Сашу Довлатов назвал в честь Пушкина. Но говорил он о нем редко, совсем не так, как о Достоевском, Фолкнере или даже Куприне. Исключение составляла «Капитанская дочка», чей сюжет провоцирует на аналогии. Если правда, что главное для писателя придумать не книгу, а автора, то соблазнительно представить, будто «Зону» Довлатов писал от лица Петра Гринева, из которого мог бы получиться прозаик не хуже Белкина.

Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гриневе. В самом деле, Гринев, как надзиратель в «Зоне», – всегда меж двух огней. При этом нельзя сказать, что он – над схваткой. Напротив, Гринев – в гуще битвы, постоянно готовый к подвигу и смерти, но – не к ненависти. Со своим автором он делит черту, из-за которой, как считает Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы, – «ненадежность вражды». Драма Гринева в том, что, не поступившись своею, он способен понять – и принять – другую точку зрения.

Это не оппортунизм Швабрина, это – знаменитая «всеприимчивость» самого Пушкина, масштабы которой нам мешает оценить школа, приучившая считать Пугачева народным героем. У настоящего Пугачева, как напоминает та же Цветаева, с одного пленного офицера содрали кожу, «вынули из него сало и намазали им свои раны».

Понимая, с каким героем имел дело Пушкин, Довлатов писал: «В «Капитанской дочке» не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно как если бы сейчас положительно обрисовали Берию». Передав Гриневу свою философию, Пушкин открыл ему и тайну своей поэзии. В пугачевской ставке Гринев переживает поэтический экстаз. Темная красота беспредела вызывает творческий импульс – «все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».

Не так ли была зачата и довлатовская проза? В «Зоне», после одного из самых скотских лагерных эпизодов, довлатовского героя охватывает то состояние исключенности из жизни, что и сделало из него писателя: «Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны».

2

Если «Капитанская дочка» могла служить отправной точкой «Зоны», то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. «Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в глаза. Умный прячет лист в

лесу, человека – в толпе, Пушкина – в Пушкинском заповеднике.

Довлатов изображает Заповедник русским Диснейлендом. Тут нет и не может быть ничего подлинного. Завод по производству фантомов, Заповедник заражает всю окружающую его среду. Поэтому встреченный по пути псковский Кремль напоминает герою «громадных размеров макет». По мере приближения к эпицентру фальши сгущается абсурд. Иногда он материализуется загадочными артефактами вроде брошюры «Жемчужина Крыма» в экскурсионном бюро Пушкинских Гор.

Главный продукт Заповедника, естественно, сам Пушкин, Уже на первой странице появляется «официант с громадными войлочными бакенбардами». Эти угрожающие бакенбарды, как Нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге: «На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно»«. Сходство исчерпывалось бакенбардами».

Бесчисленные Пушкины, наводняющие Заповедник, суть копии без оригинала, другими словами – симулякры (хорошо, что Довлатов этого не прочтет). Единственное место в «Заповеднике», где Пушкина нет, – это сам Заповедник. Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова – поиски настоящего Пушкина, откроющего тайну, которая поможет герою стать самим собой.

Описываемые в «Заповеднике» события произошли, когда Сергею было 36, но герой его попал в Заповедник в 31 год, вскоре после своего «тридцатилетия, бурно отмечавшегося в ресторане «Днепр»«. Почему же изменил свой возраст автор, любивший предупреждать читателя, что «всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным»? Думаю, потому, что 31 год было Пушкину, когда он застрял в Болдино. Совпадение это умышленное и красноречивое, ибо свое лето в Заповеднике Довлатов выстраивает по образцу Болдинской осени.



Слева направо: Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович, Иосиф Бродский. 1974 г. Фото Л. Лубяницкого. Из архива Я. А. Гордина

Заботливо, но ненавязчиво Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть – то ли нет. Рискованные и двусмысленные отношения с властями. Мысли о побеге. Деревенская обстановка. Крестьяне как из села Горюхино. Литература, сюжет которой, в сущности, пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию: «Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством». Но главное, что «жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем». Ситуация «карантина», своего рода болдинская медитативная пауза, изъяла героя из течения жизни. Поэтому, вернувшись в Ленинград, он чувствует себя, как «болельщик, выбежавший на футбольное поле».

Трагические события «Заповедника» осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а прожить Пушкина.

Легенда отличается от мифа, как сценарий от фильма, пьеса от спектакля, окружность от шара, отражение от оригинала, слова от музыки.

В отличие от легенды миф нельзя пересказать – только прожить. Миф всегда понуждает к поступку.

По-настоящему власть литературного мифа я ощутил, попав в страну, выросшую из цитат, – в Израиль. Подлинным тут считается лишь то, что упоминается в Библии. Ссылка на нее придает именам, растениям, животным, географическим названиям статус реальности. Не зря христиане зовут Палестину пятым евангелием.

В Израиле миф сворачивает время, заставляя ходить нас по кругу. Здесь царит не история, а безвременье. Погруженная в пространство мифа жизнь направлена на свое воспроизводство.

Самым наглядным образом это демонстрирует хасидское гетто в иерусалимском квартале Меа-Шарим. Все детали местного обихода – от рождения до смерти, от рецептов до покроя —

строго предписаны традицией. Поэтому тут нет и не может быть ничего нового. Каждое поколение углубляет колею, а не рвется из нее. Стены гетто защищают своих обитателей от драмы перемен и игры случая. Здесь никто ничего не хочет, потому что у всех все есть.

Обменяв свободу на традицию, растворив бытие в быте, жизнь, неизменная, как библейский стих, стала собственным памятником.

Без остатка воплотив слово в дело, иерусалимские хасиды построили литературную утопию. В другой рай они и не верят. Каждой книге свойственна тяга к экспансии. Вырываясь из своих пределов, она стремится изменить реальность. Провоцируя нас на действие, она мечтает стать партитурой легенды, которую читатели претворят в миф. Так, два века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза.

Так, их не менее трезвые потомки ездят в электричке по маршруту Москва – Петушки, вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Пушкинский заповедник в этих терминах – не миф, а карикатура на него: «грандиозный парк культуры и отдыха». Литература тут стала не ритуалом, а собранием аттракционов, вокруг которых водят туристов экскурсоводы – от одной цитаты к другой. Пушкинские стихи, вырезанные «славянской каллиграфией» на «декоративных валунах», напоминают не ожившую книгу, а собственное надгробие.

Присвоенный государством миф Пушкина фальшив, как комсомольские крестины. Ритуал не терпит насилия. Его нельзя

насадить квадратно-гнездовым способом. Но и разоблачить ложный миф нельзя, его можно только заменить настоящим, чем не без успеха и занялся Довлатов. Мне рассказывали, что теперь молодежь приезжает в Заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах».

Ух ты! Наверное, скоро спрашивать начнут: а кто такой вообще – этот Пушкин? Почему он мешает со своими стихами и фактами биографии знакомиться с любимым Довлатовым?

Потом Аександр Генис написал целую книгу: «Довлатов и окрестности», где касается важного вопроса: как и когда Довлатов стал писателем? «Предрешен был и тот свободный жанр “филологического романа”, в котором написана моя любимая русская проза, – от мандельштамовского “Разговора о Данте” до “Прогулок с Пушкиным” Синявского. Но что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема всего сочинения – исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал, как мне кажется, Сергей Довлатов. Итак, готово было все, кроме начала. Но одним дождливым майским днем пришло и оно. Было это в Петербурге, в редакции “Звезды”, где я рассказывал о Довлатове одной милой аспирантке. Пока интервью плавно катилось к финалу, к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось – офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар – импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который служил отправной точкой довлатовской прозе. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, плотно уселся за письменный стол…

Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде, в Ленинграде – что в Америке. Остается признать решающими несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью и фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом “Компромисс”.

Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверности этой истории и внушает сомнение в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода. Хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей. Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным, к тому же – в умеренном диссидентском ореоле.

Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Поэтому он, как и все мы, готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом.

С этого начинали почти все мои знакомые литераторы. Лимонов, как известно, пошел в официанты. Спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами. Публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому. На фабрике, где он служил уборщиком, стали довольно грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов – им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. Соавтор Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться в эмигрантском гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно: “Голая Сарра лежала на диване”. Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажилил его машинку. Сергей еще удивлялся: что ж это за следователь, который не может уследить за своей собственностью?

Сергей, кстати, знал толк в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать – проблема. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров – он умел рисовать и обожал безделушки.

Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц – за нерадивость. Скучнее этих четырех недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня через пятнадцать минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так: на полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык “Сассун”. На Пятой авеню эти джинсы шли по пятьдесят долларов.

С Довлатовым мы познакомились сразу. Его жена Лена тогда работала вместе с нами в “Новом русском слове”, да мы уже и знали друг друга по публикациям. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они и отличаются от москвичей. (Когда к Ефимовым пришел Алешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Алешковский закричал: “Бросьте ваши ленинградские штучки!”) Сергей любил и ценил этикет. Со

многими близкими людьми, тем же Гришей Поляком, он общался на вы. Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: “Я не думал, что мы так близко знакомы”.

Нашему стремительному сближению несомненно способствовала решительность в выпивке. Мы отвели Сергея в странную забегаловку “Натан”, где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда – от Гоголя до Ерофеева.

Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу “Дисней” отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них – обвешанному цепями негру, – Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере.

Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле Сергей отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил даже хуже нас. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением: “Здесь фактически идет гражданская война <…> большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм”.

От него мне такого слышать не приходилось – то ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне ведь тогда еще не было тридцати, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: “Знаешь ли ты, какие глаза у твоей совести в два часа ночи?” Не без основания тогда редактор “Нового русского слова” называл нас с Вайлем “Двое с бутылкой”. При всем том мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейскими. Хотя даже в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке в Централ-парке. Правда, мы всегда блюли если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета».

Портрет «классика», «голоса последнего советского поколения» – достаточно выразительный.

* * *

Соредактора журнала «Звезда», литературоведа, критика и прозаика Андрея Арьева в Санкт-Петербурге полушутя называют «главным по Довлатову». Их дружба длилась десятилетия и не прервалась даже после эмиграции Довлатова в США. Андрей Арьев с юмором рассказывает, как во время учебы в ЛГУ показал ему несколько своих рассказов, и Довлатов, возвращая рукописи, сделал своеобразный комплимент: «Этот рассказ мне не понравился меньше других». В перерывах международной конференции «Вторые Довлатовские чтения» Андрей Арьев пообщался с корреспондентом «Голоса Америки».

Говоря о новой книге «Собрание в сборниках», где собраны письма Довлатова, Андрей Арьев сообщил, что во время подготовительной работы издатели проявляли максимальную деликатность: «Во-первых, без разрешения наследников печатать ничего нельзя. Во-вторых, в своих письмах Сергей был откровенен, остр и не всегда справедлив. С другой стороны, эти послания он писал с большим вдохновением и даже как-то сказал мне, что пишет их даже с большим удовольствием, чем прозу».

В то же время Андрей Арьев считает, что переписка Довлатова дополняет его художественную прозу точными наблюдениями и яркими характеристиками персонажей, которые в некоторых рассказах и повестях писателя фигурируют под вымышленными фамилиями. «Было бы здорово издать все его письма полностью, но пока это невозможно. Надеюсь, что будущие читатели получат огромное удовольствие, познакомившись с несколькими томами писем Довлатова», – говорит Андрей Арьев.

Издание начинается письмами Довлатова, которые он писал своему отцу Донату Мечику в 1962 году во время службы в армии и завершается датированными апрелем 1990 года посланиями Андрею Арьеву из Нью-Йорка. Кроме того, в сборнике есть письма, адресованные известным писателям русского зарубежья – Виктору Некрасову и Георгию Владимову, а также его послания к своим знакомым, широкой публике не известным. «Таким образом, этот том охватывает и частную жизнь Сергей Довлатова, и его литературную деятельность», – подытоживает соредактор журнала «Звезда».

Некоторые литературоведы склонны противопоставлять советский и американский периоды творчества Довлатова. Андрей Арьев с этим не согласен: «Собственно говоря, у него существует только один период творчества – это то, что он написал в Америке и то, что он там же отредактировал, – считает

литературовед. Он также напоминает, что в своем завещании писатель просил впредь не публиковать никаких своих текстов, написанных в СССР. Ну что ж, тоже выразительная характеристика для «голоса последнего советского поколения».

В настоящее время в Санкт-Петербурге есть одно место, где увековечено имя писателя – мемориальная доска на доме № 23 по улице Рубинштейна, где Довлатов жил с 1944 по 1975 год. Увековечен Довлатов и на нашем либеральном ТВ. Критик Виктор Топоров отрецензировал книгу Анны Коваловой и Льва Лурье, которые с гордостью и смущением назвали ее первой биографией Сергея Довлатова: «Да ведь и впрямь никому до них не пришло в голову пересочинить историю недолгой и, в общем-то, неяркой жизни замечательного прозаика, с, казалось бы, исчерпывающей (а может, и с избыточной) полнотой изложенную им самим в повестях, рассказах и анекдотах, образующих в своей совокупности солидный трехтомник. Строго говоря, роман «Довлатов» (а именно так называется книга Коваловой и Лурье) уже написан. И написал его, конечно же, сам Сергей Донатович.



У памятника Корнелю в Париже. Из архива Я. А. Гордина

Книга «Довлатов» возникла из двух телепередач (одна из которых была многосерийной! – *А.Б.*) на Пятом канале, а те, в свою очередь, состояли по преимуществу из развернутых интервью с бывшими и нынешними жителями нашего города, старыми таллинцами и новыми американцами. И в Таллин, и в США богатый поначалу канал снарядил киноэкспедиции, по результатам которых в распоряжении группы оказались эксклюзивные видеоматериалы. Причем командировка в ближнее

зарубежье оказалась, на мой взгляд, куда более плодотворной. Дело не обошлось, разумеется, и без присяжных довлатоволюбов» – как наших, так и забугорных. Однако, по словам Коваловой и Лурье, значительная часть представляющих интерес свидетельств в и без того многочасовую передачу войти так и не смогла, поэтому и возникла идея опубликовать их в книжной форме. Придав самой книге, вслед за передачей, жесткую хронологическую форму. В итоге получилось то, что получилось, – первая биография Сергея Довлатова.

Столь многоступенчатый творческий метод напоминает, с одной стороны, многократную перегонку, проводимую для того, чтобы самогон получился и впрямь высокого качества. А с другой стороны, тоже многократный процесс «взбадривания» чайной заварки все новым и новым кипятком. Забегая вперед, отмечу, что книга «Довлатов» оставляет ощущение слабоалкогольного напитка с ностальгически приятным привкусом чайного гриба. Сам Довлатов такого не пил, но вполне мог бы такой бражкой похмелиться или запить более крепкое».

Меня эти метафоры – не поразили. Меня потрясли «многочасовые передачи про Довлатова». Таким не могут похвастаться ни Валентин Распутин, ни покойный уже Василий. А уж они ли не классики отечественной литературы!

Каждый шажок эмигранта, каждое свидетельство сберегается и обсасывается пуще каких-то вех эмигрантской биографии какого-нибудь Ивана Бунина или уж тем более Ивана Шмелева. Топоров пишет: «Вот характерный пример – мать писателя Нора Сергеевна Довлатова пишет американской корреспондентке в прелестной и совершенно довлатовской манере: «Сережа очень изменился к лучшему, иногда до неузнаваемости. Маргарита Степановна не верит глазам и ушам своим. Господи, хоть бы он перестал пить, мы бы назвались людьми со средним достатком».

Человек, способный до неузнаваемости измениться к лучшему, сам по себе изрядно страшон, не правда ли? О страшном Довлатове, о черном Довлатове пишут крайне редко (я знаю всего три таких свидетельства; одно из них, принадлежащее перу Юрия Милославского, было опубликовано в старом «Городе»), но все же пишут… Но только не на страницах рецензируемой книги. А в результате образ писателя получается не то чтобы недостоверным, но фактически неотличимым от иронически сниженного и вместе с тем элегически возвышенного довлатовского автопортрета.

Образ Довлатова в книге Анны Коваловой и Льва Лурье – это Довлатов, каким он предстает в собственной прозе, вот только «излагает» этот Довлатов (устами, допустим, Андрея Арьева или

Валерия Воскобойникова) куда хуже оригинального. «Я думаю, что он с самого начала все делал правильно», – бормочет первый лауреат Довлатовской премии в 100 долларов (и председатель жюри, присудившему ему эту премию) Валерий Попов. «Действительно, после шести вечера мы обычно начинали выпивать, – вторит ему покойный Владимир Уфлянд. – Правда, Сережа обычно уходил до того, как эта пьянка начиналась». «В этом зале, наверное, нет ни одного человека, о котором Довлатов не написал и не сказал бы какой-нибудь такой гадости, после которой ему и руки подать нельзя. Но никто из нас по-настоящему не оскорблялся», – эти будто бы сказанные Самуилом Лурье на мемориальном вечере в Доме писателя слова приводит в книге Владимир Герасимов. «Я познакомился с Сергеем Довлатовым в 1980 году. В одном из наших первых разговоров я пожаловался ему на безденежье, и он сразу решил взять надо мной шефство», – это уже Америка, Марк Серман. И так далее…».

* * *

Снова вернемся к высказываниям самого Довлатова: – *Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья, что брак – это не просто факт, это процесс. Выяснилось, что дети – это не капиталовложение, не объект для твоих сентенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем, а что это какие-то божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения.*

– В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса…

– Женщина, как таковая, является чудом. Женщины не любят тех, кто просит. Унижают тех, кто спрашивает. Следовательно, не проси. И по возможности – не спрашивай. Бери, что можешь сам. А если нет, то притворяйся равнодушным.

– Антоним любви – это даже не равнодушие и не отвращение, а банальная Ложь.

– Бескорыстное вранье – это не ложь, это поэзия.

– Человек человеку – все, что угодно… В зависимости от стечения обстоятельств.

– Непоправима только смерть.

Глубоко-о…

Документальный фильм «Мой сосед, Сережа Довлатов» выпущен в Нью-Йорке в 2001 году. В фильм вошли очерки Владимира Соловьева и воспоминания вдовы писателя Елены Довлатовой. Документальная картина состоит аж из девяти новелл. Среди них новелла об отношениях Довлатова и Бродского в Нью-Йорке, рассказ Елены Клепиковой о том, как Довлатов переживал удар, когда в Эстонии набор его уже сверстанной книги рассыпали по указанию свыше, и другие новеллы.

В. Соловьев – автор книг о Бродском заявил: «Интерес к фильму, который многие, видевшие его, считают уникальным, связан с тем, что Сергей Довлатов не только культовая, но и китчевая фигура, потому что он самый популярный из современных русских прозаиков и в России, и за ее пределами, в частности, и в Америке тоже среди русскоязычных читателей». Что за звание такое – «самый популярный писатель»? По тиражам и гонорарам, например, популярнее Дарьи Донцовой никого нет. По присутствию на телеэкранах, площадях и эстрадах нет никого популярнее Дмитрия Быкова. Например, в Театре эстрады пошел его новый проект с актером Михаилом Ефремовым «Гражданин хороший». Билеты от 2000 рублей и выше – они бичуют пороки капитализма, бездуховность нуворишей перед публикой, которая буржуазной контрреволюцией и порождена.

Но Соловьев продолжает: «С Сергеем мы встречались регулярно, ежевечерне. Мы рядом жили в Питере и здесь в Америке тоже оказались соседями, жили в Квинсе, в Форест-хиллс. Каждый вечер мы отправлялись на 108-ю стрит (это главная эмигрантская магистраль Квинса) в магазин «Моня и Миша», покупали номер «Нового русского слова», а после этого шли или ко мне или к нему, чаще к нему, потому что он жил ближе. Говорили о жизни, о литературе, сплетничали. Эти ежевечерние общения и послужили своеобразным толчком к написанию очерка о нем.

Однажды мы гуляли вместе и я вспомнил слово, которое ввели в литературный обиход акмеисты – ясность. Это очень важное качество. Я никого не знаю более близкого, чем Сережа

Довлатов к основоположнику русской литературы Александру Сергеевичу Пушкину».

Ну вот, мы и дошли от «Пушкин и Бродский» до «Пушкин и Довлатов». Умеют, нечего сказать…

«Сережа относился к литературе как к храму. Весь ужас своей жизни он в литературу не вложил. А жизнь была ужасна. Литературная судьба не сложилась у него в России, в Ленинграде. Он бежал из Ленинграда в Таллин, надеясь, что туда не дойдут длинные руки КГБ. Но длинные руки КГБ оказались длиннее ног беглеца. Там тоже запороли две его книги. Тогда ему ничего не оставалось, как эмигрировать в Америку», – заключает Соловьев.

Ну, коль скоро всплыл в биографической канве Таллинн, завершим главу воспоминанием об этом периоде жизни в СССР. Елена Скульская – поэтесса и журналистка из Таллина, дочка советского писателя, уроженца гоголевского и местечкового Миргорода, военного корреспондента и прозаика-мариниста. Помню, она приходила в редакцию «Литературной газеты» и я откровенно любовался в буфете этой породистой рыжей еврейкой, шапочно познакомился с ней, понял, что блондины ей – не нравятся. Потом прочитал ее стихи, они были типично… эстонские – с верлибрами, надуманными образами, в общем, не похожими на свою интересную хозяйку. Теперь Елена Григорьевна все больше дает интервью и вспоминает о знакомствах с московскими поэтами да о совместной работе в газете «Советская Эстония» с Сергеем Довлатовым. Вот отрывки из подобного интервью, которые характеризуют Довлатова как циника, конформиста и, мягко говоря, странного человека.

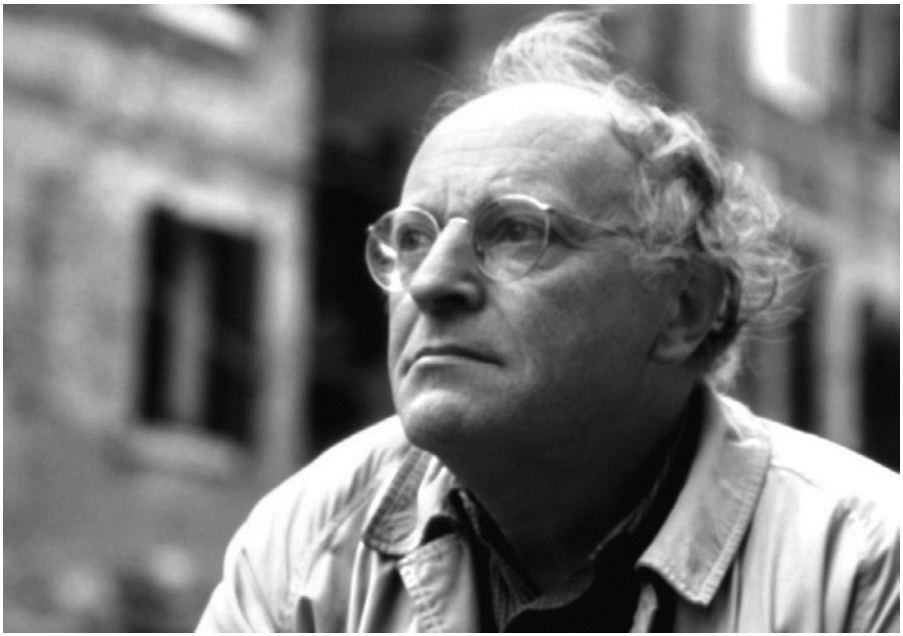
«Я окончила университет, по распределению два года работала в Таллине в эстонской школе, преподавала русский язык эстонским детям, потому что мама с папой считали, что так должно было быть, хотя мне дали свободный диплом. Потом ушла на телевидение, некоторое время там проработала, а потом поступила в газету, в 1974 году, в “Советскую Эстонию”, где меня встретил Сергей Довлатов и сказал, что берет меня под свое творческое крыло. Он уже был там. И до середины 1975 года, почти до конца 75-го года работали вместе, потом переписывались три года, это уже началась совсем другая прекрасная жизнь. Но познакомились мы с Сергеем раньше. В нашем доме было кафе “Пегас”. Мой дом стоит в самом центре Таллина, улица называется Харью, дом один. Он стоит между Ратушной площадью и площадью Свободы, раньше она была площадью Победы, теперь она площадь Свободы. Между двумя центральными площадями стоит вот этот дом. Это четырехэтажное, серое, довольно обычное здание, советское, в

1962 году его построил Союз писателей, там давали квартиры писателям за их литературные заслуги. Там мой папа получил четырехкомнатную квартиру. И в нашем доме было двухэтажное очень популярное кафе “Пегас”, на нем был изображен конь с крыльями, и одним копытом, вернее, одной из подков, он держал дымящуюся чашку кофе. Там стоял огромный концертный рояль, можно было приходить, петь, читать стихи. Была такая традиция, что молодежь там собиралась всегда, и вела себя очень свободно. Можно было заказать себе чашку кофе, бокал сухого вина, и сидеть с десяти утра до десяти вечера, читать стихи, встречаться, общаться. В общем, встречались в “Пегасе”.

Вот однажды, я думаю, это был где-то 73-й, наверное, год, так я думаю. 72-й или 73-й год. Я туда зашла, и увидела своего давнишнего приятеля, еще по тартуским временам, такого Михаила Рогинского, он считался золотым пером, был журналистом, и у Довлатова в прозе фигурирует как Шаблинский. Он сидел там в обществе двух, они казались мне пожилыми, людей, нас разделяли в возрасте пятнадцать лет. Мы кивнули друг другу, я стала проходить, и тут я услышала, что один из них сказал: “Что за девушка такая очаровательная?” И Рогинский сказал: “Лиля (хотя мое имя Елена, Лена, все близкие и друзья зовут меня Лилей), вернись. Я хочу тебя познакомить с моими друзьями”. И я вернулась. И вот заинтересовавшийся этой девушкой был Евгений Борисович Рейн, а второй господин был Сергей Донатович Довлатов. И вот мы познакомились. Рогинский питерский человек был. И я помню это ощущение знакомства, поразительную ситуацию, как потом я поняла, редкую. Евгений Рейн был тем человеком, при котором Довлатов старался молчать, потому что это поразительный мастер устного жанра, который принесла литература шестидесятых. Это слово устное, виртуозное, блистательное. Я помню очень хорошо свое ощущение потрясения по контрасту, скажем, с тартуской жизнью. Насколько это было живо, ярко, и уровень разговора абсолютно другой. Я поняла, в чем разница. И сегодня я убеждена в том же самом, как это ни обидно прозвучит для кого-то, мне думается, что человек пишущий, литературой занимающийся, принципиально отличается от человека научного, что человек, пишущий стихи и прозу, он животворящ, он осеняет своим крылом, он одаривает. А человек, встроенный в науку, он чем-то ущербен, как ни блестящ он может быть. Но при этом я сама себя должна перебить и сказать, что ущербность была, вероятно, и во мне, какие-то тартуские комплексы были и даже сохранились… Вы знаете, когда уже все эти тартуские комплексы были изжиты и когда я уже жила в среде, которую обожаю и люблю до сих пор и

горжусь тем, что дружба наша сохраняется, с теми, кто живы, и горжусь бесконечно тем, что к моему поэтическому избранному Евгений Рейн написал предисловие, и последние слова этого предисловия такие, что мы когда-нибудь вновь сойдемся в Таллине, пойдем гулять по этой окраине Ганзы, вспоминая тех, кто мог бы идти сегодня рядом с нами.

Сидят Рейн и Довлатов, и мы познакомились. И эта речь, удивительная, уникальная речь моментально заворожила меня, но я не осмелилась как-то пойти за ними из одного кабака в другой, я не осмелилась присоединиться, но запомнила эту интонацию. И очень скоро я пришла в гости к своим друзьям и вдруг, значит, услышала такой, поразивший меня фразой из темноты голос: “Зачем вы стреляли в Ленина?” У меня была огромная рыжеватая шевелюра, необъятная, и когда я из полутьмы коридора появилась, то сидевший за столиком Сергей Довлатов, посмотрев на меня, закричал: “Зачем вы стреляли в Ленина?” И это была первая фраза, первая реплика, которая была адресована лично мне. Завязались первые разговоры, а потом уже мы оказались в одной редакции. И Сергей убеждал меня в необходимости все время играть в буриме (по-французски буквально – рифмованные концы), заниматься ремеслом. Это был второй человек, который изумился тому, что я занимаюсь мало ремеслом как таковым. Он заставлял меня все время рифмовать. Я ему сильно уступала в этой быстроте рифмовки. Сергей Довлатов говорил, что поэт обязан быть абсолютно профессиональным, прежде всего в своем ремесле. «Вот посмотрите, Лина, если не будут печатать мою прозу и не дадут мне состояться как прозаику, уверяю вас, я потрачу еще лет десять на то, чтобы стать профессиональным поэтом, и замечательно буду писать стихи, вот помяните мое слово» (никакого поэтического дара у Довлатова и в помине не было. – *А.Б.*).



Бродский в Венеции. 1993 г. Из архива М. И. Мильчика

Я бы хотела, конечно, рассказать историю, которая как-то рифмуется с папой, что однажды меня, еще абсолютно молодую, начинающую журналистку оставили и.о. заведующего отделом культуры. А Довлатов сидел в отделе информации. Центральная республиканская партийная газета “Советская Эстония”. Довлатов пишет информации, что строители 16-го СМУ построили такой-то дом, что это будет прекрасный подарок… А я сижу в отделе культуры. А гонорары выдавали в тот же день. Сергей приходит и говорит: “Все, Лиля, раз вас оставили зав. отделом, немедленно хочу у вас заработать хотя бы рублей тридцать”. Просто, вот, незамедлительно так. Я говорю: “Сережа, я ничем не могу вам помочь, потому что мне велено сдать в субботнюю полосу рецензию на фильм “Красная скрипка”. Это про скрипача, который прозрел и ушел в революцию. Вы вряд ли пойдете писать”. Он говорит: “Вы с ума сошли, Лиля! Тридцать рублей – это серьезный разговор. Шутки в сторону, я пошел смотреть фильм и писать рецензию”. Приносит он, значит, мне рецензию. И я читаю. Вдруг вижу следующее: “В сердце каждого советского человека жива до сих пор глубокая и искренняя ненависть к Сомерсету Моэму, который в 1919 году пытался устроить контрреволюционный мятеж в Советской России”. И дальше все – в таком же духе. Я говорю: “Сережа, мне кажется, что это просто невозможно, это либо такое издевательство, что даже наш редактор Генрих Францевич Туронок обалдеет, либо вы

перегнули палку”. Он говорит: “Лиля, вы ничего не понимаете. Вам жалко тридцати рублей? Идите, сдавайте по начальству”. (Прямо одесская интонация слышится! – *А.Б.*) Я пошла, сдала по начальству. Вызывают нас обоих Генрих Францевич Туронок, описанный у Довлатова, и говорит: “Вот, друзья мои, я совершил роковую ошибку, Лиличка, оставив вас, юное существо, безответственное, на эту должность. И вы, Сережа, тоже. Вы наши два беспартийных товарища, вы друг друга ввели в заблуждение. Что же вы написали-то, Сережа? Что в 19-м году и так далее… Какое время на дворе? Вы, что же, не чувствуете, как мы демократичны, как мы лояльны, как мягче, нежнее нужно обо всем этом писать? Не надо никого ругать, все хорошо, мы победили, тепло нужно относиться даже к классовым врагам. Вы читали последнее Постановление ЦК КПСС? Идите, одумайтесь и завтра принесите правильную рецензию”. Мы вместе вышли. Я говорю: “Вот видите, Сережа, я была права”. Довлатов ничего не ответил, холодно простился и ушел. Вечером звонок моему отцу, говорит: “Григорий Михайлович, вы не представляете, как ваша дочка меня подсиживает, не дает мне зарабатывать деньги…” И рассказывает всю историю. Потом говорит: “Я в безвыходном положении, Григорий Михайлович. Все, что я мог сказать теплого о вашей советской власти, я уже сказал…”.

Мой отец и Довлатов были уже знакомы. Сергей приносил в Союз писателей свои рукописи, хотел войти в жизнь таллинской литературы, а в основном она заключалась в моем отце, потому что он занимался в Эстонии русской литературой, поэтому они были знакомы, как два писателя. Довлатов по телефону спросил: “Что нам теперь делать?” Папа вздохнул и сказал: “Сережа, зачем же взялись писать про “Красную скрипку”? Я представляю ваши чувства по поводу этого фильма”. Довлатов повторяет: “Ну, Григорий Михайлович, что мне теперь делать, скажите?” Отец говорит: “Возьмите ручку, я вам сейчас продиктую”. И, как не раз делая уже со мной, когда я попадала в трудные ситуации, поскольку я не вступала в партию, хотя работала в партийной газете, и иной раз я должна была что-то такое написать, что даже не знала, с какого бока подойти, папа вздыхал и говорил: “Ну, бери ручку”. И тут он так вздохнул и сказал: “Сережа, я все понимаю, берите ручку”. И продиктовал абсолютно правильную рецензию, смысл которой сводился к тому, что коммунизм это не то место, куда идут поротно и повзводно, а то, где душевная тяга человека позволяет раскрепостить созидательные силы на благо всего народа и так далее в таком же духе… И Сергей все это записал и отнес Генриху Францевичу на следующий день. Генрих Францевич сказал: “Сережа, я счастлив, я всегда считал вас

человеком одаренным. Как вы хорошо поняли наш разговор, и про созидательные силы на благо общества…” И Довлатов получил искомые тридцать рублей, все было опубликовано, вышел потрясенный, и сказал: “Знаете, Лиля, в любом деле можно достичь профессионализма, даже вот в этом”.

То есть такие истории происходили почти что регулярно, но надо сказать, что ум Сергея любую подобную историю превращал в литературный сюжет, она всегда как-то рифмовалась, организовывалась, приводилась к какому-то комическому финалу. И он в редакции, конечно, доминировал со своим искрометным остроумием, и очень смешно бывало слышать, когда люди начинали говорить выражениями Довлатова, пересказывать истории Довлатова, смотреть по-довлатовски на мир, и при этом он считался далеко не видным журналистом газеты “Советская Эстония”. Он был молодым, начинающим, беспартийным, а были настоящие “золотые перья”, которых, разумеется, Сергей всерьез не принимал и с иронией к ним, как к номенклатуре, относился. Например, когда мы сидели рядом иной раз на летучках, я очень хорошо помню, как он говорил: “Лиля, вы посмотрите на лица окружения нашего. Представляете, что если нашего зам. главного редактора выгонят с этой работы, ни один ЖЭК не возьмет его водопроводчиком по причине его малой интеллигентности”.

Он еще писал замечательные стихи по поводу работников редакции и одно из них все повторяли с возмущением, конечно. У нас был такой Игорь Гаспль, который на всех все время писал доносы, и писал так, что даже из КГБ приходили в редакцию и говорили, что он больше не нужен, вот, пожалуйста, удержите его в рамках вашей редакции. Ну, невозможно, каждый день приносил им огромные полотнища, даже один раз на своего сына написал, будучи недовольным его романами с высокопоставленными девицами! Вот и, значит, у Сергея было такое стихотворение о нем:

Увидишь в коридоре Гаспля,
Скорей надень противогаз, бля!

И стихотворение все читали, но сильно осуждая Довлатова. И еще у нас был секретарь парторганизации господин по имени Вагин, и вот Сергей говорил: “Наша редакция Гасплевидная по

форме и Вагинальная по содержанию”. При этом он получал удовольствие, вообще, от любой литературной работы, он на самом деле получал удовольствие. В “Компромиссе” у Довлатова это выглядит так: “У редактора Туронка лопнули штаны на

заднице. Они лопнули без напряжения и треска, скорее – разошлись по шву. Таково негативное свойство импортной мягкой фланели. Около двенадцати Туронок подошел к стойке учрежденческого бара. Люминесцентная голубизна редакторских кальсон явилась достоянием всех холуев, угодливо пропустивших его без очереди. Сотрудники начали переглядываться. Я рассказываю эту историю так подробно в силу двух обстоятельств. Во-первых, любое унижение начальства – большая радость для меня. Второе. Прореха на брюках Туронка имела определенное значение в моей судьбе… Но вернемся к эпизоду у стойки. Сотрудники начали переглядываться. Кто злорадно, кто сочувственно. Злорадствующие – искренне, сочувствующие – лицемерно. И тут, как всегда, появляется главный холуй, бескорыстный и вдохновенный. Холуй этот до того обожает начальство, что путает его с родиной, эпохой, мирозданием… Короче, появился Эдик Вагин. В любой газетной редакции есть человек, который не хочет, не может и не должен писать. И не пишет годами. Все к этому привыкли и не удивляются. Тем более что журналисты, подобные Вагину, неизменно утомлены и лихорадочно озабочены. Остряк Шаблинский называл это состояние – “вагинальным”… Вагин постоянно спешил, здоровался отрывисто и нервно. Сперва я простодушно думал, что он – алкоголик. Есть среди бесчисленных модификаций похмелья и такая разновидность. Этакое мучительное бегство от дневного света. Вибрирующая подвижность беглеца, настигаемого муками совести… Затем я узнал, что Вагин не пьет. А если человек не пьет и не работает – тут есть о чем задуматься.

– Таинственный человек, – говорил я.

– Вагин – стукач, – объяснил мне Быковер, – что в этом таинственного?

…Контора размещалась тогда на улице Пикк. Строго напротив здания госбезопасности (ул. Пагари, 1). Вагин бывал там ежедневно. Или почти ежедневно. Мы видели из окон, как он переходит улицу.

– У Вагина – сверхурочные! – орал Шаблинский… Впрочем, мы снова отвлеклись…Сотрудники начали переглядываться. Вагин мягко тронул редактора за плечо:

– Шеф… Непорядок в одежде…

И тут редактор сплоховал. Он поспешно схватился обеими руками за ширинку. Вернее… Ну, короче, за это место… Проделал то, что музыканты называют глиссандо. (Легкий пробег вдоль клавиатуры.) Убедился, что граница на замке. Побагровел:

– Найдите вашему юмору лучшее применение. Развернулся и вышел, обдав подчиненных неоновым сиянием исподнего”.

– Я думаю, что вот эта дружественность, в своих письмах ко мне Довлатов называет меня товарищем, просто она была везением… Незадолго до отъезда за океан, в Ленинграде, Сергей привел меня в гости к своим знакомым-художникам. Огромные, как понятно в мастерской, окна были неожиданно затенены шелковыми шторами с вытканными на них трепещущими и сытными многоцветными фазанами. Один фазан стоял на блюде на дубовом боярском столе, мы так и не узнали, настоящий он или только прототип шелковых – из папье-маше. Сергей говорил: “Уезжать нельзя. Любое наше движение здесь, малейшее шевеление, хоть пальца на ноге (для какой-то наглядной честности он выдвинул ногу из-под стола, хозяева перегнулись и тоже рассмотрели ботинок)… громом отзовется на Западе. А что бы на Западе ни делать, как ни шуметь, здесь и шепота не вызовет!” Сергея слушали как больного ребенка, нудно повторяющего свое “пить, пить, пить”.

Мы вышли из боярской трапезной, на ближайшем углу, в рюмочной, отвернувшись и пересчитав мелочь, Сергей выпил полстакана портвейна, а меня решено было накормить, и я согласилась, проклиная вечную свою прожорливость. В подвальной и полутемной столовой двигались с подносом, я потянулась за кошельком, бормоча какие-то правильные и веселые слова, и тут же получила: “Прекратите! Не до такой же степени!” Но сам он есть не стал, вторых 67 копеек на комплексный обед у него не было. Вечером ехали в троллейбусе домой к Довлатовым. Освободилось место. Сергей предложил мне сесть. Я попросила: сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. “Вот вам не нравится мой рост, ответил он, – а один знаменитый наш современник сказал мне недавно: если бы я, Сережа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды мне казались бы игрушечными”.

Я должна сказать, что мне везло на людей. Мне в жизни встречались люди, умнее и талантливее меня. Вообще, я искала всегда в жизни людей, по отношению к которым я чувствовала, что они умнее и талантливее меня. И, наверное, каждый писатель ищет таких людей, не просто так для интересного проведения времени, даже не для того, чтобы создать еще одного персонажа или героя, а, на мой взгляд, чтобы постоянно развиваться, расти, перерастать самого себя. У Евгения Рейна есть стихотворение «Монастырь»:

> За станцией “Сокольники”, где магазин мясной
> и кладбище раскольников, был монастырь мужской.
> Руина и твердыня, развалина, гнилье —

в двадцатые пустили строенье под жилье.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать.
Зачем я переехал, не стану объяснять.
Там газовые плиты стояли у дверей.
Я был во всей квартире единственный еврей…

И когда я, к слову, полностью процитировала эти многострочные стихи, Рейн даже обомлел. Я сказала, что я эти гениальные стихи часто повторяю. Он сказал, что я никогда ему об этом не говорила. Мне казалось это настолько общим местом, настолько очевидным, и, оказывается, в тот период он еще нуждался, чтобы еще один человек сказал, что это гениальные стихи, что я этим живу, это для меня безумно важно. Вот мне посчастливилось встретить и Довлатова, и Рейна именно в этот период. И поэтому, наверное, и сложились дружественные отношения. В другой ситуации они, может быть, так бы не сложились. Все, по-видимому, влияет. Планка сама влияет».

Привел я довольно-таки пространный отрывок из интервью. Он задает высокую планку? Он представляет Довлатова как талантливого и остроумного человека? Скорее всего, напротив, как пошляка и приспособленца. Так что международное предприятие по созданию нобелевского проекта «Бродский» продолжилось в пародийном проекте «Довлатов». Бедная Россия, которой усилиями либеральных СМИ и русофобского ТВ успешно навязаны эти проекты.

В начале 2013 года был составлен по предложению Владимира Путина и опубликован список из 100 книг, которые должны прочитать школьники. Он вызывал недоумение и полемику по отношению к тем авторам, которые представляют современную литературу. В частности, русские учителя и филологи имеют претензии к необычайно широко представленному С. Довлатову, фигуре, как написали в «Литературной газете», «чудовищно раздутой либеральной критикой». Мрачное и примитивное описание жизни в СССР по схеме: «хаос, пьянство и бардак» едва ли способствует развитию исторического мышления несовершеннолетних, как и разухабистые записки бывшего зоновского конвоира. Или составители считают, что такой опыт российским подросткам необходим? – вопрошает газета. Современным вершителям судьбы России необходимы сами фигуры Бродского и Довлатова, которые оправдывают фактом своего широкого присутствия в литературном пространстве предательство, антисоветизм, русофобию под видом диссидентства. Что такое современная

либеральная критика и журналистика? – это сонм мини-Довлатовых, которые ненавидят патриотизм и духовность русской литературы (а говорят, что совок), которые смотрят на вожделенный Запад и несут по кочкам все отечественное, выпивают и треплются, как в кино про Бродского «Полторы комнаты», но не могут сами писать достаточно выстроенных и остроумных книг. Для них-то Довлатов – кумир, но при чем тут наши дети?



Бродский с женой Марией, урожденной Соццани. Фото М. Барышникова

Любовь к Венеции и к парадоксам Ирэна Грудзиньска-Гросс и Владимир Бондаренко-великоросс



В январе 1990 года на лекции в Сорбонне уже знаменитый и стареющий Бродский увидел среди своих студентов Марию Соззани. Молодая красавица-итальянка русского происхождения, она словно сошла с полотен великих мастеров Возрождения. И 1 сентября Иосиф Бродский и Мария Соззани поженились. Через два года у них родилась дочь – Анна Александра Мария, по-домашнему просто Нюха… Близкие друзья Бродского утверждают, что пять лет с Марией были для него счастливее, нежели предыдущие пятьдесят.

Польская журналистка Ирэна Грудзиньска-Гросс побеседовала с вдовой нобелевского лауреата Иосифа Бродского:

– *Как возникла любовь Бродского к Италии?* Мария Соццани-Бродская (Maria Sozzani-Brodsky):

– Русские делятся на две категории: на тех, кто обожествляет Францию, и на тех, кто без ума от Италии. В Италии писали Гоголь и Вячеслав Иванов, сочинял музыку Чайковский, рисовал Александр Иванов. Иосиф был открыт на многие страны, но с Италией был связан особенно. Уже в юности он читал итальянскую литературу. Мы много раз говорили даже о малоизвестных авторах, которых за пределами Италии почти никто и не вспоминает.

ИГГ: Трудно поверить, что эта ранняя симпатия была вызвана исключительно литературными интересами… МСБ:

– Конечно, сначала было кино. Итальянское кино – ну, может, после «Тарзана», – сформировало его жизнь (смеется). Вместе с тем, итальянское кино многим обязано России. В сталинские времена, когда непосредственный обмен между двумя странами был трудным, в Италии не переставали экранизировать русскую литературу. Иосиф всегда помнил и то, что уже в восемнадцатом и девятнадцатом веках контакты между художниками Италии и России были очень интенсивными.

ИГГ:

– Отсюда и выбор Рима как места для его Академии…

МСБ:

– Бродский трижды бывал в римской American Academy, она его вдохновляла. Он провел в ней много времени, результатом явились «Римские элегии». Рим – это был логичный выбор, хотя Иосиф думал и о Венеции. В Риме помимо Американской академии находятся также Французская и Шведская академии. Иосиф имел беседу с бургомистром Рима Рутелли, который ему обещал, что город выделит Академии здание. Но через несколько месяцев после смерти Иосифа оказалось, что здания у нас нет.

ИГГ:

– Обещание оказалось невыполненным?

МСБ:

– Не знаю, правильно ли Иосиф понял бургомистра, но хорошо помню, что после разговора с Рутелли, а было это осенью 1995 года, он стал как бы новым человеком, так был счастлив. Он мне тогда сказал: все в порядке, есть здание. А был уже болен, очень болен. В конце жизни он активно включился в разные проекты помощи людям. Начал этим особенно интенсивно заниматься после 1992 года, когда он стал «поэтом-лауреатом» Соединенных Штатов. Он тогда хотел сделать так, чтобы поэзию можно было найти в отелях или супермаркетах, – этот проект реализован. Три или четыре года его жизни были посвящены как раз таким делам, и Русская академия в Риме была последним из них.

ИГГ:

Как я понимаю, Русская академия уже начала функционировать, хотя и нет здания?

СБ:

Пока работает только Стипендиальный фонд имени Бродского. Организационный комитет Академии, основателем которого был, между прочим, Исайя Берлин, и в состав которого входят Михаил Барышников, Луи Бигли (Louis Begley), леди Берлин, В. В. Иванов, Энн Кьельберг (Ann Kjellberg), Мстислав Ростропович и Роберт Силверс (Robert Silvers), организовал много концертов и встреч. Мы основали два фонда – один в Америке, он предназначен для средств на стипендии, а другой – в Италии, где (быть может, и в России) мы будем собирать деньги на здание. Впрочем, американцы не любят давать деньги на что-то, чего еще нет. Первые стипендии были оплачены двумя щедрыми

итальянцами.

ИГГ:

– И кто же получил эти стипендии?

МСБ:

Первым был Тимур Кибиров. Он один из самых талантливых поэтов сегодняшней России. Он известен и в среде итальянских славистов, поэтому и решили выбрать его первым.

Нам нужна реклама, а это облегчает сбор денег на Академию. Кибиров был сразу же приглашен в восемь итальянских университетов. Второй поэт – Владимир Строчков, третий – Сергей Стратановский.

Мы решили начать с поэтов, чтобы почтить память Иосифа, а также потому, что очень трудно послать в Рим художников или музыкантов, ибо мы вынуждены пользоваться гостеприимством Американской и Французской академий. Вероятно, сможем приглашать и научных работников, нам гарантирован доступ в библиотеки. По просьбе самих русских, стипендии пока не будут продолжительнее трех месяцев. Их присуждает жюри, которое будет сменяться раз в два года. Держатели фонда не могут влиять на его решения, а фамилии членов жюри, живущих в России, хотя и не засекречены, но публично не оглашаются, иначе им было бы трудно работать.

ИГГ:

– Некоторые утверждали, что Бродский был безразличен по отношению к России. Ни разу не поехал, несмотря на многочисленные приглашения. Многие считали, что он должен был вернуться, ведь он был самым выдающимся русским поэтом…

МСБ:

Он не хотел возвращаться, поскольку его друзья и так к нему приезжали, чтобы встретиться. Родителей уже не было в живых, страна была другой, вот он и не хотел появляться как некая дива, когда у людей было много больших забот. Его жизнь шла в одном направлении, а возвращения всегда трудны. Если бы пришлось переезжать, мы поехали бы в Италию. Мы даже об этом говорили – он получил бы работу в Перудже, в Университете для иностранцев, а там было бы видно.

Но это были только мечты. Иосиф даже не хотел, чтобы его похоронили в России. Идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия – моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен.

Похоронить его в Венеции было проще, чем в других городах, например, в моем родном городе Компиньяно около Лукки. Венеция ближе к России и является более доступным городом.

Но все это вовсе не означает, что он был безразличен или враждебен по отношению к России.

Он вообще очень редко был безразличен в отношении чего бы то ни было (смеется). Он очень внимательно следил за событиями в России, – прежде всего, в области литературы.

Получал множество писем, люди присылали ему свои стихи. Был в восторге от того, как много там поэтов, – впрочем, у многих в стихах чувствовалось его влияние, что, с одной стороны, приносило ему большое удовлетворение, но и удивляло. Очень переживал в связи с войной в Чечне, как и с войной в Югославии.

Нью-Йорк. Газета Выборча (Gazeta Wyborcza), Варшава, 9 мая 2000 г.

Перевод с польского А. Памятны

Полька безапелляционно заявляет, что Бродский был самым выдающимся русским поэтом, а мой друг критик Владимир Бондаренко в приливе русофильства готов и Венецию объявить славянским городом, и Бродского представить отчаянным русским патриотом. Давайте прочитаем его «Веницейские впечатления»:

«Вернулся из Венеции. Чудо-город. Особенно осенью, когда нет туристов. И все каналы, замки дожей и гондольеры – твои. Можно было как-то не спеша жить красотой. Не случайно же символом города стал могучий лев, опирающийся на книгу. Вот бы у нас правители когда-нибудь оперлись на книгу, на великую русскую литературу. Нам бы такой или подобный символ.

Прочитал в Университете Ка Фоскари (в том самом здании-дворце на Большом канале, где когда-то летом 1698 года должен был останавливаться Петр Великий, а сейчас учатся студенты со всей Европы) лекции о современной русской литературе. Записывали внимательно, а то они, бедные, нынче – кроме Сорокина и Пелевина никого не знают. Спасибо прекрасному знатоку русской литературы доктору наук Донателле Поссомаи, она сама живет в Падуе, в получасе езды от Венеции на электричке. Там есть и свой университет, но сейчас все слависты собираются по старым центрам. В Милане мне помогал другой славист – из русских, прозаик и поэт Маргарита Сосницкая, которой я тоже искренне благодарен за поддержку. Но как мало нынче специалистов по русской литературе? Все-таки старая школа славистов – Вольфганг Казак, Витторио Страда и другие –

была профессиональнее: любили одних, привечали своих, но знали всех, от Пастернака до Твардовского, от Синявского до Кочетова. Сейчас даже про Ольгу Седакову, любимицу Папы Римского, иные слависты из северной Италии на встрече узнали от меня и с жадностью записывали ее строчки о Венеции. Да и интерес к славистике пропал нынче, не та финансовая поддержка. А ведь Венеция издавна была одним из центров в Европе по изучению русской культуры. Да и глава веницейских славистов, мой давний знакомый Витторио Страда, открывший всему миру роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», за что был выведен из Центрального комитета Итальянской компартии, неоднократно устраивал именно в Венеции шумные конференции по русской литературе. Тогда славистика была модной и обязательной во всех странах НАТО. Изучали Пушкина и Маяковского, но при этом, как бы случайно, готовили сотни тысяч будущих переводчиков на случай третьей мировой. В Италии в книжных магазинах современных русских книг нынче нет вовсе. Кстати, нет ни Сорокина, ни Акунина, лишь Пелевина переводили небольшие издательства. Нет интереса и к русской культуре. Впрочем, и Иосиф Бродский так отзывался о местных итальянских славистах постсоветского разлива: «Что касается говоривших по-русски типов из местного университета, то меня чуть не тошнило от их отношения к моей родной стране …».

Как мне говорили местные слависты, все чернушные книги или же подделки под западную литературу а-ля Умберто Эко им не нужны, с лихвой хватает и своих, а продолжения традиций великой русской литературы Толстого и Достоевского, Чехова и Горького они не видят. Ведь и из диссидентов прошлых времен им были интереснее русские реалисты Владимир Максимов и Александр Солженицын, Виктор Некрасов и Георгий Владимов, Иосиф Бродский и Юрий Кублановский, а не всевозможные Приговы и Рубинштейны, с которыми они не знали, что и делать, издавали в нагрузку, на деньги, отстегиваемые в обязательном порядке спецфондами. Тем более ценили русскую классику и русскую традицию в Венеции, о которой тот же Виктор Некрасов писал как о родном почти для каждого русского человека городе.

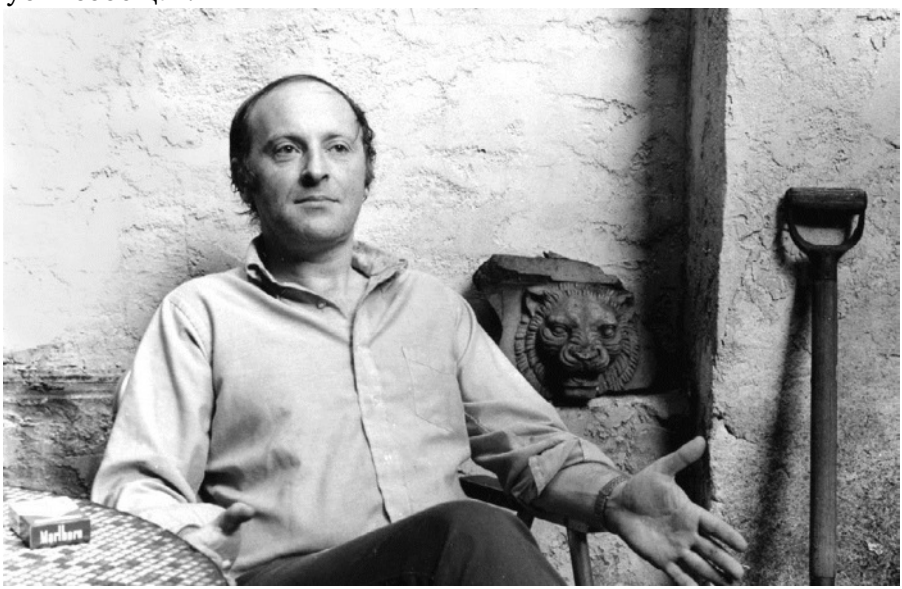
Можно в самой Венеции никогда и не быть, но знать и любить, как нечто из самого сокровенного, из воплощенных чудес, которые так нужны каждому из нас.

Венеция самим своим видом отрицает и постмодернизм, и игровое отношение к жизни. Она сама по себе – «Идея Венеции». Значит, людям безыдейным там делать нечего, скучен и непонятен город, внезапно оторвавшийся от земли и повисший в воздухе. Зачем он там? Зачем так жить? В городе нет ни одной

машины, въезд запрещен, да если бы и разрешили – куда ехать? Вокруг своего дома? Или сто раз объезжать площадь Сан-Марко и улицу Гарибальди? Больше практически широких дорог нет ни на западе, ни на востоке этого как бы оторванного от суши города. Но чем же держалась эта безумная красота? Мощью военного флота, экономической экспансией и имперским размахом. Не надо забывать, что за Замком дожей следует суровая тюрьма и знаменитый ныне мост Вздохов, соединяющий замок с тюрьмой, никак не связан со вздохами влюбленных.

Как писал наш знаток искусства и ценитель Венеции Павел Муратов: «Времена наибольшего великолепия совпадают с наибольшим развитием тягостей венецианской государственности». И ему вторил сталинский государственник Борис Пастернак: «Флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности… Ее покачивающийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. Флот томил и угнетал… Но вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное…». Даже сейчас вход на знаменитый Арсенал, по подобию которого Петр Великий строил свое Адмиралтейство, строго запрещен. Военно-морская база НАТО, стерегущая всю Адриатику, в том числе и участвовавшая в операциях по подавлению Югославии. А что было бы, если бы сербы в ответ на бомбежки и военно-морскую блокаду НАТО стерли с лица земли не только Арсенал, но и всю Венецию? Они же имели на это полное моральное право. Ибо древние памятники Сербии, уничтоженные натовцами и их албанскими подручными, ничуть не менее ценны для истории, чем все истинные чудеса древнего веницейского чуда? И, чтобы в будущем не было такой даже теоретической опасности (от исламских ли стран, от других потенциальных противников), не пора ли вывести за пределы Венеции все военные объекты? Кстати, для меня был поразителен и загадочен русский недавний ответ на уничтожение подводной лодки «Курск» некими до сих пор неизвестными силами. И сам веницейский Арсенал, и находящаяся неподалеку Славянская набережная изрисованы портретами моряков с «Курска». Какая-то группа или движение, туристы или местные лимоновцы, готовыми трафаретами с несмывающейся никаким образом краской, на которых были изображены моряки первого, второго и так далее отсеков подводной лодки «Курск», разукрасили и базу НАТО и все окружающие улицы. Может быть, здесь переводила дыхание после ремонта та самая подлодка, которая уничтожила «Курск», или же это был общий протест? Не знаю. Но мне, при всей любви к Венеции, было приятно видеть на подходе к

Арсеналу такую поминальную память о родном «Курске». Если читатели газеты знают подробнее об этом русском граффити, пусть сообщат.



Иосиф Бродский в музейном антураже

С другой стороны, и этот Арсенал, и эти корабли были той важной деталью понимания великой державности и имперскости этого чуда на воде, временами влияющей на судьбы всей Европы. И отсюда мой второй веницейский тезис: негосударственнику в Венеции делать нечего. Пейзане такое чудо создать никогда бы не смогли, ни в Средние века, ни в нынешнем двадцать первом веке. Недаром так рвался в Венецию Петр Великий, задумывая свой величественный имперский замысел.

Может быть, и сегодня полезно кое-кому из наших лидеров съездить в Венецию не просто полюбоваться Львом с книгой во властной лапе, Замком дожей и Арсеналом, но и задуматься, как нам в России создать свое новое русское чудо? Ведь кроме имперскости и государственности, когда приезжаешь в этот чудо-город не на день-два, а на длительный срок, понимаешь и, мягко говоря, жесткую экспансию знаменитой Венецианской республики. Все ее великие символы откуда-то да и привезены: из Египта ли, из вероломно захваченной Византии, и, боюсь, не придет ли время, когда и знаменитый Лев, и сами колонны, и многое другое будут возвращены в Турцию, Египет, Сирию и другие места своего первоначального пребывания.

Венеция – это еще и прямой ответ Михаилу Швыдкому и другим предателям, мечтающим раздать все ценности, вывезенные после нашей великой Победы над Германией. Думаю,

ни Англия, ни Италия, ни другие страны НАТО не заинтересованы в таком юридическом прецеденте, ибо тогда и все Британские коллекции, и ценности Брюсселя, и наполеоновские трофеи последовательно должны быть возвращены истинным владельцам. А Венеция практически целиком уплывет в мусульманские страны. Ведь даже излюбленный и знакомый всему миру символ Венеции – Лев, опирающийся на книгу, изготовлен древними венецианскими мастерами из персидской (то есть нынче – иранской) химеры четырнадцатого века. А сколько тонн золота и драгоценностей, сколько статуй и книг прибыло из бывшей союзной Византии, куда вероломные крестоносцы, испугавшись тяжелых сражений за Гроб Господень с мусульманами в Палестине, нагрянули, уничтожив великую христианскую империю. Каналы, конечно уникальны, и Дворец дожей – чудо из чудес, но и о вероломстве венецианских рыцарей никогда не надо забывать. Только вот нынешней Турции ничего из награбленного Венеция возвращать не собирается. Хотя, впрочем, почему Турции? Со времен Иоанна Грозного – мы прямые наследники Византийской империи, и не пора ли нам самим всю Венецию прибрать к рукам, с учетом всех процентов за минувшие столетия? Малюсенькую часть Венеции я вернул, и камешек от Арсенала, и пылинку из Собора Сан-Марко, и щепочку от древней сваи, вывезенной в давние века из родной Сибири, и изумительные мурановские вазы и бокалы, чтобы было из чего пить на скором февральском юбилее-шестидесятилетии. Но главное – саму идею Венеции, как великого имперского замысла.

Привез я и память о знаменитых сородичах, похороненных на острове мертвых, на крупнейшем в Италии кладбище Сан-Микеле, шепотку земли с могил Игоря Стравинского и Сергея Дягилева, Иосифа Бродского, а заодно и давно ценимого мною американского поэта Эзры Паунда. Чьи стихи мы не раз печатали в «Дне литературы». «Остров мертвых» – раньше не знал, что эта, еще с юности мной любимая картина немца Арнольда Беклина, написана на тему веницейского острова Сан-Микеле. Настоящий остров мертвых. Но все упокоены согласно вере своей. Католики занимают господствующее положение. На православном греческом кладбище – Игорь Стравинский, Сергей Дягилев; евреи – на еврейском. Лишь на евангелическом участке пускают и всех инаковерующих, так называемое бывшее «позорное кладбище». Итальянцы в этом не терпят никакой «политкорректности». Там нашли место и наш Иосиф Бродский и фашист Эзра Паунд, великий американский поэт. К католикам их не пустили. Удивительно, но смерть свела их вместе, могилы Паунда и Бродского почти рядом. Думаю, время от времени их души

собираются там, под землей, и ведут бесконечные разговоры о поэзии. Впрочем, ранний Бродский немало переводил раннего Паунда. Рад, что могилу Иосифа Бродского не забывают: тут и стихи, записки, мелкие безделушки, рубли, камешки, значки и тому подобное. Как на могилах Есенина или Высоцкого. Среди графоманских записей и строф нашел завернутое в полиэтиленовый пакет, чтобы не промокало, неожиданно написанное от руки на вырванных страницах из школьной тетради какой-то юной, видимо девичьей рукой, одно из лучших стихотворений Евгения Рейна, посвященное Бродскому:

Приходи к «Флориану», когда стемнеет,
Слышишь, ветер с лагуны вовсю сатанеет.
Но оркестр сквозь порывы играет Шопена,
Вот теперь и обсудим мы все откровенно.

Мы с женой прибрали и могилу Бродского, и могилу Паунда, поработали и лопатой, и веником – привели в порядок. Могила Иосифа Бродского еще выглядела прилично, ее не забывали, но знаменитый американец был в явном запустении. Когда несколько лет назад умерла в Венеции его вдова Ольга Радж, ее похоронили рядом со своим мужем. И – забыли. Я подумал, а где же внучка Муссолини, где итальянские националисты, ведь за поддержку их убеждений Эзра Паунд 12 лет просидел в американской психушке. Кстати, судьба Паунда – это и ответ на все упреки на советскую систему подавления. Кто из наших поэтов уровня Эзры Паунда отсидел в советской психушке 12 лет? И лишь выйдя из психушки, гениальный поэт сразу же вернулся в Италию, где и жил в Венеции вместе с женой Ольгой Радж, подробно описанной в очерке Бродского о Венеции «Набережная неисцелимых». Так что нам с Ларисой пришлось хорошенько потрудиться над заброшенной могилой американского поэта. Потом выпили виски за упокой души. А за упокой Бродского я выпил его любимую граппу «Нардини», о ней мне поведала его вдова Мария.

В гостях у нее мы оказались на другой день после поездки на остров Сан-Микеле. Рано утром на площади Святого Луки, где находится железнодорожный вокзал, сели на поезд Венеция – Милан и через три часа оказались, как на другой планете, в промышленном центре Италии. Здесь и встретились с вдовой Иосифа Бродского – изумительной, изящной и очаровательной женщиной из древнего дворянского рода Мальцевых. Прелестная русская женщина, и какая древняя порода в ней видна! Жаль, не видел их дочь – в кого она, в мать или в отца? Пообщались

довольно дружески. Крепкое мужское рукопожатие. Искренне обрадовалась букету подаренных цветов. Рассказала историю своего знакомства с Иосифом Бродским. Она тогда работала в Милане и ей рассказали, что в Париже Иосиф Бродский устраивает вечер поэзии. С радостью поехала на вечер, там и познакомились. В следующий раз встретились через семь месяцев… Когда решали, где жениться, выбор на Швецию пал случайно. Лето… Бродский ненавидит жару… И Швеция ему близка похожестью с Петербургом. В России Мария с дочерью пока не были, но хотят побывать, и в Москве, где у нее много родственников, и в Петербурге. Когда я сказал, что собираюсь поехать в деревню Норенское, место архангельской ссылки Бродского, очень заинтересовалась. Отец у Марии – итальянец, мать – русская дворянка Мальцева, из первой эмиграции. Из Москвы. В Америке не прижилась, и сразу же после смерти Иосифа Бродского решила вернуться в Италию. Поэтому и мужа решила похоронить в Венеции. Не скрывает, что это ее решение. Мария очаровательна и в поведении, и в своем старорусском правильном языке, и в манере общения. По своей юности помню, так вели себя русские дворяне, с которыми мне доводилось общаться. Об Иосифе Бродском говорила, что он был рад даже одной удачной строчке у посетившего его поэта, и потому так охотно писал предисловия, даже за частичку поэтического откровения. Он жаждал общения с русскими поэтами, ему его не хватало. Любил читать вслух свои ранние стихи, хотя потом от многих отказался, с чем она не согласна.

Она знает одно – у него никогда не было ненависти и нелюбви к России. Мария обещала ему, что никогда не будет давать интервью и писать мемуаров. Поэтому сейчас пишет книгу под условным названием «Диалоги», где нет их личной жизни, но есть их разговоры о литературе и культуре, его высказывания о поэзии и политике. Марию искренне радует, что поэзию Бродского не забывают, и на могилу приходит много русских. Она и себя считает русской, хотя очень любит своего отца – итальянца. Работает в крупном итальянском издательстве «Адельфи» редактором, иногда переводит. Сейчас читает книгу пермского писателя Алексея Иванова «Золото бунта». Очень ценит поэзию Юрия Кузнецова. Мария посоветовала мне написать статью о параллелях между поэзией Бродского и Кузнецова. «Уверена, что это будет хорошая статья», – сказала она. (Ну вот, мало чисто внешних параллелей с Рубцовым, так теперь две разные философии хотят сблизить! – *А.Б.*)

Мария подарила книгу, которую издала в своем издательстве «Адельфи»: «Рождественские стихи» Иосифа Бродского в

переводах Анны Рафетто. Мечтает привезти дочь на родину отца. Я подарил Марии свою книгу «Последние поэты империи», где большая статья посвящена поэзии Бродского. Вечером мы с женой пошли в «Ла Скала» на оперу Клода Дебюсси по пьесе Мориса Метерлинка «Пеллис и Мелисандра». Это было еще одно чудо, вот что такое авангардный, современный спектакль, тонко со вкусом поставленный по музыке начала прошлого столетия. Думаю, были бы довольны и Метерлинк, и Дебюсси.

На другой день вернулись в Венецию, решили в Милане не задерживаться, и лекция в Ка Фоскари ждала, и Милан после Венеции казался каким-то индустриальным чудовищем. Тем более в самой Венеции своих два оперных театра. И уже через день в «Ла Фениче» мы слушали оперу «Жид» или «Юде», не знаю, как и перевести, чтобы никого не обидеть. Музыка Фроменталя Халеви, либретто Скриба, католическая опера 1835 года, естественно, по тем старым католическим меркам отнюдь не в пользу евреев. Дирижировал знаменитый Гюнтер Крамер. Сюжет классический, все те же Ромео и Джульетта, но коллизии совсем иные. Два мира, два разных понимания духовных и нравственных ценностей. В результате – трагедия.

Все остальное прошло уже в привычном познавательном режиме. Антикварные лавки, острова Мурано и Бурано, море веницейского стекла, изумительного и неповторимого, сколько смог – привез с собой, ибо это – навсегда часть Венеции, ее неповторимый стиль и в одежде, и в мебели, и в стекле… От елочек до рюмочек, графика, книги, карты, сотни книжных магазинов в одной Венеции, и не только туристических, а антикварных, книг по истории, книг по искусству. Гондольер показывал нам каналы, пока не надоело. Плыть в Венеции на гондоле – это иные впечатления, вид на город, на дома и дворцы снизу, с воды. Такого впечатления на вапоретто – водном трамвайчике, никогда не будет. Волшебная единичка вапоретто – речного трамвайчика, это живительный импульс Венеции, каждые пять минут вапо-ретто отправляется по всем главным точкам Венеции. Мы жили совсем рядом с мостом Риальто и знаменитым рыбным рынком, там и питались свежей рыбой и каракатицами.

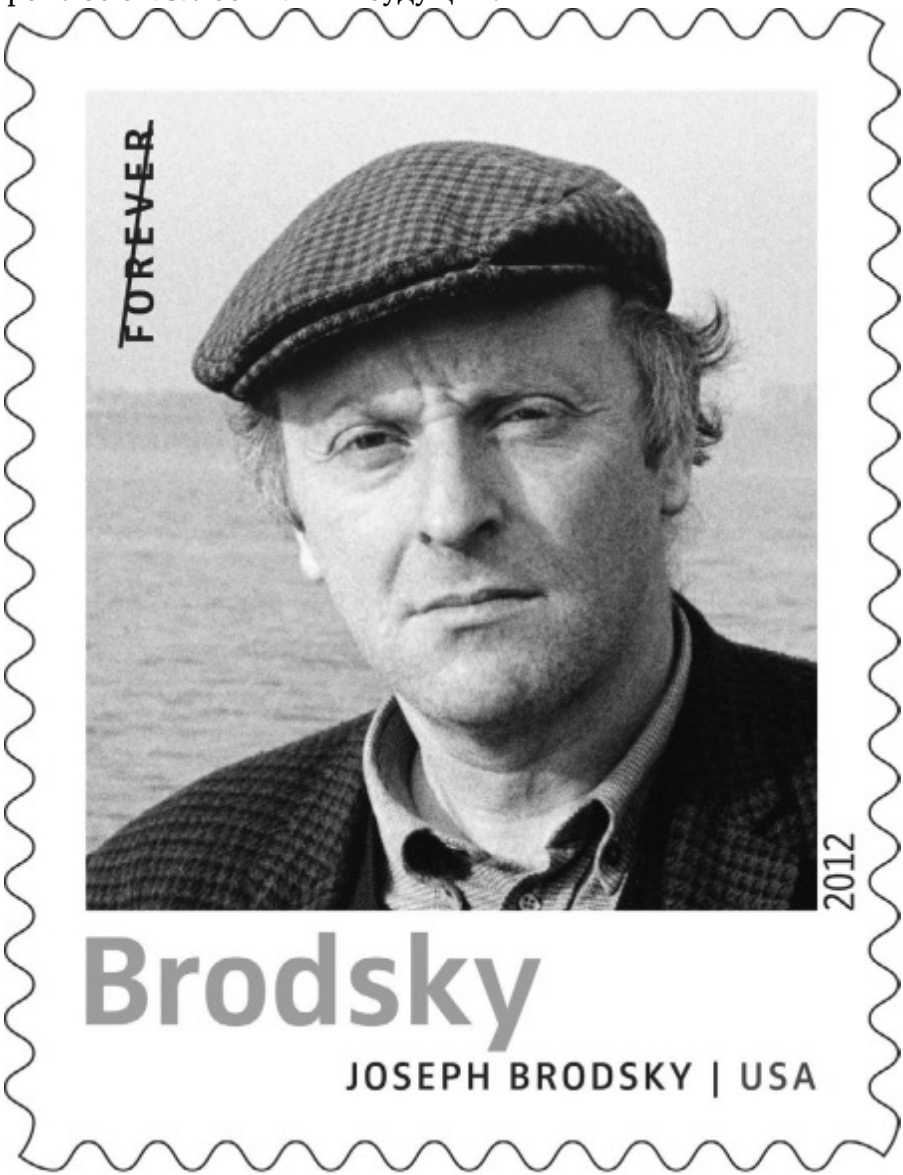
Много чудес перевидал, Венеция – одно из главных. К тому же – русский город. Основали венеды – праславяне, стоит на сибирской лиственнице, иначе бы Венеция затонула давно, да и одна из главных набережных – Славянская, берег славян, Рива Скьявони. Как утверждают историки, на венецианском портрете, изображающем Марко Поло, знаменитого венецианца, открывателя новых земель, в волосы путешественника вписана надпись «Марко Поло склавенин». И теперь ответьте на вопрос,

почему на этой набережной любил останавливаться Иосиф Бродский? И гулять вечерами по улице Гарибальди, типично питерской улице? Все время вспоминалось из Серебряного века, любимые строчки еще школьного периода: «По каналам бледно-алым/ Я движением усталым/ Направляю лодку в море, к лиловатым берегам./ Замок дожей, непохожий, на все то, что знал прохожий,/ Промелькнул, подобно тонким и воздушным кружевам./ Темно-синий город линий,/ Храм Джиованни Беллини,/ Храм великого творца./ По каналам бледно-алым/ Я движением усталым/ Плыл и плыл бы без конца…» Вот так и я плыл и плыл бы без конца.

В Венеции, конечно, можно вообще не ходить ни в какие музеи, наслаждаться самим дарованным свыше чудом. И все-таки, как два контраста – Галерея Академии и музей Пеги Гугенхейм, который всегда стороной обходил Бродский, ненавидя все абстракционистское современное искусство. Там собрана вся классика мирового авангарда, от нашего Кандинского и Бранкуси до Пикассо и Макса Эрнста. Они решили дать бой Венеции, они собирали лучшие силы. Думаю, один лишь зал Галереи Академии, зал великого Беллини, опрокидывает все их войско. Они не то чтобы противны венецианцам и Венеции, они по-своему уютны, становятся по-домашнему симпатичны и вписываются в интерьер, как разукрашенная гондола. Но рядом с великим искусством Беллини или даже с залом Великого Совета Якопо Тинторетто во Дворце дожей (да просто рядом с его фасадами), или Собором Сан-Марко с группой тетрархов весь мировой авангард становится лишь уютным интерьером, блестящим шедевром дизайнеров – не больше. Может быть, и мастерство у классиков авангарда не хуже, но нет того величия, нет духовности замысла, нет Божьего знака.

Венеция лишний раз доказывает: никакая сверхсовременная экспериментальная литература и живопись не страшны, они лишь становятся мелкой деталью оформления внешнего мира, а духовная жизнь великого искусства идет по своим законам. Само чудо Венеции – в неповторимых щелях-улочках, заканчивающихся с неизбежностью каналами. Мы жили в малюсеньком отеле Сан-Джорджио на Дела Манделла, с таких отелей и надо начинать знакомство с Венецией. Ибо пятизвездочный отель до безобразия одинаков во всем мире, от Норвегии до Палестины. Также одинаковы и все глобалистские архитектурные замыслы. А тут я знакомлюсь и пью кофе с владельцем этого отельчика, он рассказывает о себе, я о России. Мы уходим от суеты мира, но оказываемся впереди него изначально, по замыслу величайшего земного проекта. Не случайно же в Венецию тянуло всех гениев

мира, от Ричарда Вагнера до Петра Чайковского, от Бальзака до Пруста, от Наполеона до Петра Первого. Может быть, это и есть живительный мост из прошлого в будущее? Надо же, за все то время, что я пробыл в Венеции, я забыл об автомобилях. Значит, можно жить и без них? Куда погрузился, в прошлое ли, или в будущее? Не знаю. Но я не против того, чтобы веницейское прошлое оказалось нашим будущим.



Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. Почтовая марка, выпущенная в США (2012)

На Западе таких, как я, называют self-made man – сделавшие

сами себя. Увы, никогда не попадал ни в какие обоймы и содружества, пока сам не стал создавать их, ту же «московскую школу сорокалетних», к примеру. Иногда с завистью смотрел на птенцов кожиновского гнезда, на внимание и заботу, которые им уделял критик. Но, замечу, из его критического гнезда (в отличие от поэтического) молодых критиков так и не вылетело, исчезли кто куда. Может быть, критикам всегда нужна большая самостоятельность и независимость суждений, они обязаны верить только своему вкусу, и если вкус им не изменяет, иной раз критики меняют направление литературного процесса.

Думаю, мои лучшие статьи были замечены и обществом, и прессой, и друзьями, и недругами. На одну лишь статью «Очерки литературных нравов», опубликованную в 1987 году в журнале «Москва», было до полусотни печатных отзывов в прессе. Часто я был чересчур категоричен, но, когда со временем стал мягче и добрее (от болезней ли и пару раз вполне ощутимого дыхания смерти, от возраста или от опыта, от окрепшей православной веры), критика в мой адрес не уменьшилась, а скорее стала более разнообразной. Для форматных патриотов я чересчур широк и авангарден, для либералов и оголтелых западников я по-прежнему пещерный враг.

Моя беда в том, что я ценю талантливых людей, каких бы взглядов они ни придерживались, исключая явно русофобские, враждебные не мне, а моей Родине, моему народу, русской национальной культуре. Меня упрекают, что я часто прощаю своих противников. Да, это так, я никогда не прощаю противников моей веры, моего народа. Но не следую ли я библейской заповеди – возлюби врагов своих, но будь против врагов Божьих?

Скажем, мне интересны размашистые, полные стихийного напора лучшие стихи Валентина Сорокина, что бы вредного он временами ни писал обо мне, но, спрошу я его, неужели он на самом деле не видит яркости и талантливости строк Иосифа Бродского, посвященных русскому народу:

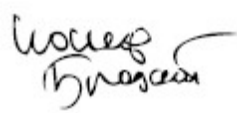
Припадаю к народу. Припадаю
к великой реке.
Пью великую речь,
растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно
текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас,
мимо нас, дальше нас?

Интересно, что за статью о Бродском, отвергаемую с порога форматными патриотами, я получил массу негодующих откликов из противоположного лагеря. Пишет в русскоязычном американском журнале «Вестник» Борис Кушнер: «Автор просто упивается отказом… Бродского от своего еврейства. При всей индивидуальности мироощущения, особенностях творчески одаренных людей и т. д., красоты в подобном публичном отказе… немного. Никоим образом не посягаю на Бродского как национальное достояние господ Бондаренко, Проханова и иже с ними… Бродскому, очевидно, недостало великодушия, широты души, чтобы подняться над мелким раздражением… Не из мещан ли сам Бродский?

Попытки превратить Бродского чуть ли не в крестьянского русского поэта смехотворны. «Северные» стихи Бродского действительно хороши – он на мгновенье сбрасывает маску, в конце концов приросшую к его творческому лицу, и говорит словами простыми, из сердца идущими. Из этого «действительно хороши» я бы исключил, несмотря на эмоционально-восторженную реакцию Ахматовой, как раз стихотворение «Народ», декларативное и общеместное…» Несколько подобных откликов, осуждающих не только меня, но заодно и Бродского, пришли из Израиля.

Не приемлют они неожиданное восхваление поэтом великого русского народа и его культуры. Стараются замолчать подобные строчки. Ненавидят и меня за попытку «присвоения» «их» поэта. Тем более цитируемые строки не опровергнешь, их можно лишь попытаться объявить бездарными и декларативными или же вообще отрицать авторство поэта, как это делает Александр Даниэль».

P.S. Первый раз я согласен с эпигоном Бродского – Кушнером. Это стихотворение Иосифа процитировано восторженными русскими литераторами бесчисленное количество раз, но ирония судьбы в том, что лично поэт самые «народные» свои стихи в сборники не включал».



Заемная кровь: Кушнер и другие

Как Бродский рыж,
торжествен и печален,
с каким он нимбом, блин,
над головой.
Ночами, днями, днями и
ночами
все восхищенно пишут под
него…

Соня Швах. «Эпигонам Бродского»



Четверть века каждый сентябрь, в первое бабье лето, я обязательно прихожу на Московскую международную книжную выставку-ярмарку (она не проводилась только в году буржуазного переворота – 1991-м!), встречаюсь со знакомыми издателями и писателями, знакомлюсь с неведомыми прежде, пытаюсь разглядеть что-то новое и обнадеживающее в этих пестрых праздниках книги, написать о том, что обрадовало и огорчило. Разочарований, увы, с каждым годом прибавляется. Дело не только в том, что уходит, как отсвет лета, сам возраст легких увлечений и очарований, а в точном осознании, что даже самого великого и традиционного в России – книги! – коснулись типичные и дурные рыночные влияния. Это касается всего – от цены и подачи издаваемого до состава и содержания книг, ярмарочных мероприятий.

Никогда не заострял особого внимания на конкурсе «Лучшая книга года», проводимом Роспечатью. Уж настолько мы привыкли к одному кругу имен, к избранной тусовке, что нет никакого смысла следить. Порой поинтересуюсь, что же признано самым-самым лучшим книжным изданием. Запомнилось какое-то питерское издание Михаила Булгакова с черновиками (спасибо за открытие, как говорится!), а в этом году победил 8-томник

Андрея Платонова. Замечательный писатель, что и говорить, но давно открытый, напечатанный и не только осмысленный, но и уродливо переосмысленный (отвергнуты всей жизнью больной страны его произведения, страстно воспевающие труд, его патриотическая публицистика военных лет и проч.). Но как тут спорить с выбором такой фигуры!

А вот о поэтической части конкурса поговорить стоит. В шорт-лист номинации «Поэзия года» попали:

1	Амелин М.А. Гнутая речь. — М.: БСГ — пресс, 2011.
2	Кушнер А. По эту сторону таинственной черты. — СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011.
3	Серия «Библиотека зарубежного поэта»: Проклятые поэты Поэты Квебека Торквато Тассо. Освобожденный Иерусалим Английские «поэты-кавалеры» XVII века Поэзия испанского барокко Поэты английского возрождения Поэты «Озерной школы» Поэты немецкого литературного кабаре СПб.: Наука, 2005-2011.

Даже умиляет эта откровенная позиция отборочной комиссии, жюри и всей Роспечати – ничего исконно русского, патриотического, не дай бог провинциального или почвеннического. Ясно же, что приз получит Кушнер, отмечающий в сентябре 75-летие – ну, хоть для смеха включите какого-нибудь колоритного поэта из национальной республики или яркого продолжателя линии Блока – Есенина – Рубцова, нет – только апологетов и продолжателей Мандельштама – Бродского. Про анекдотичность попадания многолетней серии зарубежной поэзии в номинацию «Поэзию **года**» даже говорить не хочу: в крайнем случае можно было выделить последний том, вернее, его переводчиков, если сделаны новые блистательные переводы.

Первым стоит имя стихотворца, который остается для меня загадкой не в смысле поэтической глубины и новизны, а по степени обласканности и всеприсутсвия: в любой зарубежной делегации, на всяком форуме, официальной и телевизионной тусовке он – Максим Амелин, член жюри Национальной литературной премии «Большая книга», издатель, переводчик, эссеист. Телеведущий всех книжных программ на «Культуре» Николай Александров растолковывает нам: «Гнутая» речь противоположна речи прямой. Действительно, поэзия Максима Амелина как будто вырастает из поэзии классической, из XVIII

столетия. Третьяковский и Державин – эти поэты чувствуются в лексике Максима Амелина. Он будто намеренно усложняет свой поэтический язык». Более всего, уверен, автор «вырастает» из поэзии Иосифа Бродского, который любил перечисленных поэтов, а еще – Баратынского и Слуцкого.

Хватит сравнений развесистых! – Ни одно
выразить мысль простейшую не способно:
кто безупадочен, тот не создатель, но
лишь исполнитель, творящей лишенный силы,
и не дерзает заданность побороть,
кровью заемной свои наполняя жилы,
собственной миру являя чужую плоть.

Сразу скажу, что «заемной крови» у Амелина – в избытке. К тому же, жюри могло бы и учесть, что претендент издал свою объемную книгу стихов и эссе в своем же издательстве, что заметила с иронией ведущая программы на либеральном «Эхе Москвы»:

К.ЛАРИНА: Хорошо быть главным редактором, правда? Можно издавать свои книжки все время.

Е.СВЕРДЛОВА (директор издательских проектов): Вот, представляете, как нам было тяжело уговорить Максима Амелина издать эту книгу?

К.ЛАРИНА: А что, он не хотел? Сопротивлялся, не хотел, «Ну что вы, что вы», говорил.

Е.СВЕРДЛОВА: Нет, потому что говорил «Главный редактор – это не этично, это очень плохо».

К.ЛАРИНА: Ну, он прав.

Е.СВЕРДЛОВА: Безусловно. И эта книжка была издана не благодаря, а вопреки тому, что он – главный редактор.

Вот как дерзко и весьма «рыночно»! – придет к ним талантливый автор с улицы, а все деньги на книгу главного редактора ухлопаны. Я когда работал главным редактором «Советского писателя», позволял себе составлять или писать только редкие прибыльные книги, которые расходились даже в мягкой обложке.

Олег Филиппенко в «Литературной России» (№ 5-2005) написал так: «Вот вам как пример строфа из стихотворения Максима Амелина, одного из самых способных эпигонов Бродского:

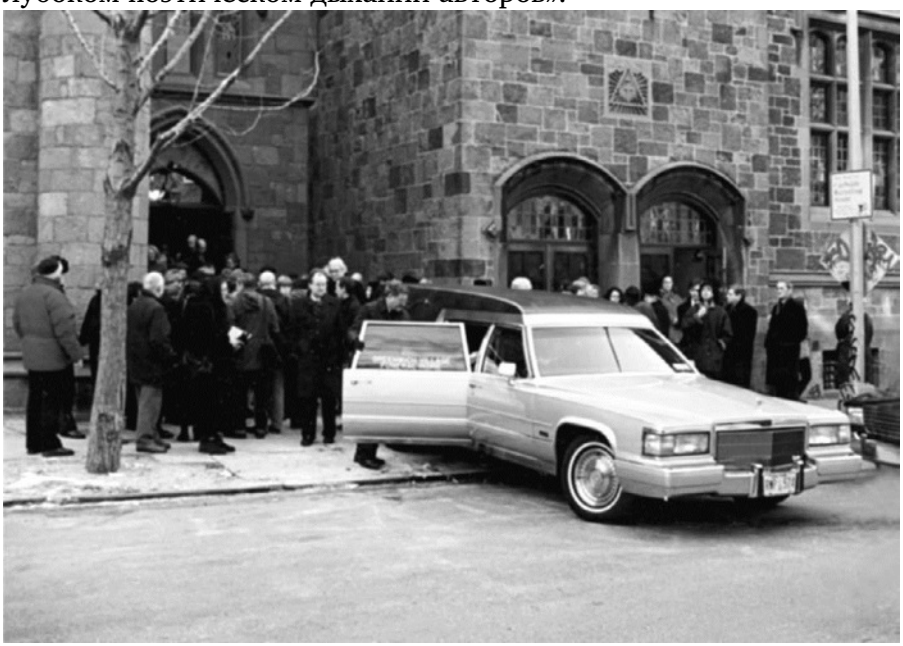
Избирая медленного вместо
Горней жизни – быстрый огнь земной,

Как не знать, что дрожжевое тесто
На скворчащем противне с одной
Стороны, чтоб стать с другой румяно,
Подгорает поздно или рано.

То, что мысль здесь выражена темно и коряво, по-моему, сразу бросается в глаза. То, что эта мысль пустопорожняя, доходит не сразу. Собственно, так сложно и нужно автору конструировать свои тексты, чтобы не обнажить убогость содержания.

В свое время в Москве было большое количество подражателей манеры и стиля В. Высоцкого. На Ваганьковском кладбище, Старом Арбате и еще бог знает где – даже на телевидении – эти люди – кто с гармошкой, кто с гитарой, рвали голосовые связки, и я всегда испытывал стыд и неловкость за этих людей, да и за себя почему-то… Примерно то же чувство я испытываю, читая бесчисленных подражателей Бродскому… Перефразируя Ленина, это, как правило, худшее подражание худшему Бродскому… Казалось бы – бог с ними. Но плохо, что эти люди – некоторые из них – формируют современный литературный вкус.

К чему я это? Да к тому, что имейте совесть, господа литераторы! Можно монополизировать литературный процесс, но нельзя монополизировать истину… А истина в простом и глубоком поэтическом дыхании авторов».



Похороны поэта в Нью-Йорке. Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн

Весьма солидный том избранного выпустил и запыхавшийся Александр Кушнер, ставший победителем, но наглядно доказавший, что он выдыхается, становится скучнее и прозаичнее. Вот две строфы: первая – из давних стихов:

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

И это таинственное шуршание с шипением – завораживает. А теперь он пишет о художнике, рисующем портрет с натуры:

А слава, видимо, его не волновала,
Она придет к нему лишь через триста лет,
А жизнь таинственна, а краска не устала,
Вобрав печаль в себя, и пристальность, и свет.

Никакой таинственности и «поэтическая краска» – устала. Правда, пристальность до перетекания в рифмованную прозу – осталась, даже возведена в степень:

До чего ж увлеченно они говорили,
Эти двое, на Невском, один помоложе
И повыше, – прохожие их обходили, —
Прямострунный, на Гамсуна чем-то похожий,
Челкой, может быть, и артистическим видом,
А второй, лысоватый еврей длинноносый
С выражением ласковым, полузабытым
Тихой мудрости чудной в отсутствие позы.

(“На Невском”)

Нарочито усложненный синтаксис отдает Бродским и только утяжеляет стих.

Сергей Павлухин написал о книге Владимира Соловьева «Два шедевра о Бродском. Три еврея. Post mortem»: «Эту книгу я взял по ошибке – думал, что автором является уважаемый мной тележурналист. Но это был не Владимир Рудольфович, а Владимир Исаакович – автор «Записок скорпиона», «Плачущего

человека», и еще полутора десятка подобных книг. В предисловии он себя позиционирует, прежде всего, как литературного критика, а потом уже «кандидат наук, член Союза писателей, Всероссийского театрального общества и проч.». Эта книга – ярчайший пример пустословия.

Главная линия, на которую нанизаны словесные выделения автора, – соперничество двух поэтов: Иосифа Бродского и Александра Кушнера.

Уже на первых страницах начинаешь понимать, что автор обладает очень специфическим складом ума, который позволяет ему писать: «Эмма Бовари – это я! И Анна Каренина – тоже. Не знаю, прыгал ли Лев Николаевич под паровоз, но то, что он раскидывал ноги перед Вронским, будучи в то же время им и ревнуя к нему (все-таки не он!), – несомненно».

Характеристика Натальи Гончаровой (жены А.С. Пушкина) предельно лаконична – «слаба на передок». Сразу становится ясно, что главной целью автора является эпатаж и скандал вокруг своего имени.

Автор с гордостью рассказывает о сплоченной «стае» друзей в зимнем Доме творчества в Комарове. Они спаяны личным и идейным единством.

В этот круг редко кого и редко когда приглашают. Соседи (писатели-побратимы), тайно завидуют и почитают за честь, если его когда-либо пригласят на вечерние посиделки. Но единство это мнимое, общность – фиктивная. Все уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуют – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили. Зависть и злоба за фасадом тесной дружбы и взаимной любви. Некий клубок друзей-приятелей…

Говоря о своих знакомых, Соловьев убежден – лишенные государством прочих своих «мужских» прав, они все свои силы бросили на секс, надеясь хоть тут утвердить пошатнувшееся свое мужское достоинство, а заодно и самолюбие.

Судить об этом можно по той характеристике, которую автор дает Лидии Яковлевне Гинзбург – «старая толстая еврейка, когда-то красивая, сейчас – бесформенная, до сих пор страстная лесбиянка, и ее любовные конфликты с домработницей – сюжет для небольшого рассказа». Вместе с тем – именно она была подпольным вождем литературного Ленинграда в середине 70-х годов прошлого столетия. Самые теплые слова в ее адрес: «мелкий бес крупных габаритов».

И эта женщина берет под свое покровительство молодого поэта Александра Кушнера. А вот молодой Иосиф Бродский этим окололитературным «бомондом» был отвергнут. Отвергнут из-за

несговорчивости, неуступчивости, бескомпромиссности. К тому же были в нем независимость, высокомерие и ораторский гипноз, необходимые, чтобы увлечь слушателя. Тут автор сравнивает Бродского с теми евреями, которые сводили с ума толпы солдат, матросов, крестьян, рабочих на революционных митингах, заряжая слушателей прожектерским своим пафосом и утопическими проектами.

Владимир Исаакович пишет, что если бы не он, то Кушнер (которого Вл. Соловьев именует не иначе как «Сашей») на всесоюзную арену так быстро бы не вышел».

Заматеревший Саша Кушнер дал пространное юбилейное интервью в «Литературной газете». В частности, его корреспондент спрашивает:

– А что еще вас беспокоит в нынешней поэзии?

– Мне не нравится нытье в стихах. Ноют и ноют. Все-то у них плохо. Ничего, кроме выпивки, не остается. Все тускло. Все скучно. Ну, прямо по Лермонтову: «И скучно, и грустно, и некому руку подать…», только у него об этом сказано в прекрасных стихах, а наши поэты похожи на юнкера Шмидта из Козьмы Пруткова, который «хочет застрелиться».

Иногда мне хочется спросить ноющего поэта: «Ну, скажи, пожалуйста, а когда бы ты хотел жить? В какие времена? Ну вот тебе сейчас так скучно, так плохо. Всюду валяются бутылки из-под пива… Всюду грязь, всюду мерзость, тебе, такому прекрасному, ни на кого не похожему, никем не понятому, некуда деться… А скажи, пожалуйста, в 1917 году тебе было бы лучше? А в 1930-м? А в 1937-м? В 1941-м? В 1949-м? А может быть, тебе было бы хорошо при Николае I? Даже если бы ты был крепостным мужиком? Или при Александре III? А ты Блока читал, дорогой? Тогда, может быть, вспомнишь: «*Рожденные в года глухие / Пути не помнят своего. / Мы – дети страшных лет России – / Забыть не в силах ничего».* Так что, Блок врал, по-твоему?!».

Нет, Блок не врал. Но, думаю, что не врал в своих заметках и Юрий Колкер – трудно печатавшийся поэт, а потом автор знаменитой песни «Долго будет Карелия сниться», когда писал про Кушнера: «Сам он был и остается патриотом. И каким! Беру из стихов, написанных позже, но в этом Кушнер не переменился. «И в следующий раз я жить хочу в России…»; «Жить в городе другом – как бы не жить»; «Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде». Последняя строка произнесена уже после переименования города».

Вот – где самая суть, неоспоримая истина, но Кушнер от нее как бы отрекается. А ведь писал в подражание Бродскому и, наверное, в его адрес:

Вспомнить что-нибудь трудно, труднее всего – по желанью.
Упирается память: ей, видишь ли, проще в засаде
Поджидать нас, пугая то Вишерой вдруг, то Любанью,
Почему ее вспомнил сейчас, объясни, Бога ради!
Дует ветер с Невы, тополя прижимаются к зданью.
Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде.

Кстати, начинается стихотворение со строки: «Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Амстердаме…». Дина Рубина, живущая в Израиле и получающая каждый год российские премии и награды, в своей недавней книге, продававшейся на ММКВЯ, призналась, что Амстердам – ее любимый город.

Корреспондент спрашивает у Кушнера:

– Как вам сейчас пишется?

– Лет десять назад в одном стихотворении я написал: «*Вот сирень. Как цвела при советской власти, / Так цветет и сегодня, ничуть не хуже. / Но и я свою жизнь не делю на части…*» И про свои стихи могу сказать то же, что и про эту сирень».

Сирень сиренью, но главные награды и премии посыпались на Кушнера после буржуазной контрреволюции именно в Санкт-Петербурге, особенно те, что связаны с солидным денежным вознаграждением:

Государственная премия Российской Федерации (1995)

Премия «Северная Пальмира» (1995)

Пушкинская премия фонда А. Тепфера (1998)

Пушкинская премия Российской Федерации (2001)

Премия «Поэт» (2005)

Так что сирень для него продолжает махрово цвести и сладко пахнуть!

Александр Семенович – крайне серьезный поэт, но иногда эта его аптекарская строгость и занудливость просто смешит. Поэтому я хочу закончить заметки своей пародией на юбиляра.

* * *

А это что у нас растет, болиголов?
Кокорыш, борщевик – ужасные названья.
А может быть, купырь.
О, сколько диких слов,
Внушающих тоску! Народное сознанье…

Александр Кушнер

Народное сознанье не тревожь,
Не надо нас пугать названьями-стихами.
В России если дождь и серебрится рожь,
Она и в хмурый день синеет васильками.

Не понял, не постиг ты дебрей словарей,
У нас еще цветут от Луги до Малмыжа
И рыжий зверобой, и розовый кипрей,
И лютик золотой, и солнечная пижма.

А вот еще один диковинный пример
Из области тоскливых средостений:
Хоть Кушнер Александр, хоть Александр Кушнер —
Ужасно далеки от почвы и растений.

* * *

В Живом Журнале Давид Эйдельман (не тот, который писал о декабристах, о Пушкине и вел провокационную переписку с Астафьевым, а другой) привел любопытное суждение: «Борис Херсонский, которого многие недавно указали в ответ на мой вопрос за публикациями кого из современных русскоязычных поэтов надо следить, три года назад опубликовал в своем Живом Журнале цикл под названием «Не быть как Бродский»: «…не хотите показаться невежей – молчите о Иосифе. Не поминайте. Провинциалом сочтут или от дома откажут. Мало кто из моих приятелей не декларировал нелюбовь к Бродскому в разных выражениях и с разной настойчивостью. Еще хуже, если кто-то услышит обвинение в бродскизме. Это оскорбуха в оба уха…

Думаю, я единственный в тусовке, кто спокойно и без аффектации признает влияние Бродского на свои стихи… Самое симпатичное, что я услышал, это то, что я не более чем медиум, устами которого вполсилы говорит нобелевский лауреат. Я ответил, что более почетной реплики не слышал в жизни.

Попытаюсь реконструировать некий «список обвинений», которые мне приходилось выслушивать в адрес великого поэта».

Если нельзя применять поэтику Бродского, то в чем же эта поэтика заключается? Чего именно – нельзя? Приведу краткий перечень этих признаков, на которые реагируют немедленно. Бойтесь этого, друзья мои, бойтесь!

1. Стремление писать стихи циклами, развивая в последующем стихотворении тему предыдущего, смысловые венки сонетов.

2. Избегание открытого, декларативного выражения чувств.

3. Выраженная рефлексия, экзистенциальное напряжение, чувство пустоты и безысходности.

4. Анжабеман – несовпадение структуры фразы со структурой строки, перенос фразы в следующую строку. Это просто клеймо, не делайте так, дети, поставят в угол! Кто там сказал: это не Бродский придумал? Встань, если такой разумный. Как твоя фамилия? Вон и без родителей в школу не приходи!

Выйди вон, Херсонский. Этот прием придумали задолго до Бродского, его – почитай! – сплошь и рядом использовала Марина Цветаева, у которой учился Бродский. Только она это делала не механически, а куда более тонко.

По трехсаженным креслам:
– Тронам иных эпох! —
Макс! мне было – так лестно
Лезть за тобою – Бог
Знает куда! Да, виды
Видящим – путь скалист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы – на обелиск…

Здесь ведь сквозит девичья очарованность, косвенное сравнение Волошина с Богом, но не кощунственное, а тонко-версификационное, через перенос. А звукопись, а зримость описания, а живость воспоминания. И после всего этого в русской поэзии – рыбья холодность Бродского как образец?

5. Длинная строка

6. Сохранение и даже некоторая изысканность рифмы при достаточно свободном обращении с ритмом.

7. Сохранение грамматической структуры предложения. Конечно, много чего еще. Но на эти признаки в основном ориентируется искатель бродскизма.

Все перечисленное выше не принадлежит к открытиям Бродского.

Во втором действии, споря с Чацким, Фамусов характеризует жеманных московских девиц:



Выбрал Иосиф Бродский для своей последней обители не Васильевский остров (как обещал в своих стихах), а Венецию. Могила поэта на острове Сан-Микеле. Люди оставляют на ней камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, сигареты Camel (Бродский много курил) и виски. На памятнике выполнена надпись по латыни, – это строка из элегии Проперция «Letum non omnia fnit» – «Со смертью не все кончается» (*лат.*).

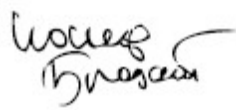
Умеют же себя принарядить
Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой;
Французские романсы вам поют
И верхние выводят нотки…

Вот, собственно, характеристика околобродской поэзии.

Тут прагматично перечислены формальные признаки и приемы, которые свойственны стихам эпигонов Бродского. Но есть и смысловое (или бессмысленное) главное сходство. Русская поэзия отличается тем, что поэт сквозь хаос трагического мира прорывается к гармонии, свету, при этом не прячась за формальными приемами и метафорами, а подчиняя их высшей цели – самовыражению, исповедальности. Бродский и его эпигоны покрыты этими формальностями, как хладнокровная рыба чешуей, и все делают, чтобы скрыть темные движение души,

презрение к другим людям или к «не своей стае».

В стихотворение «FIN DE SIECLE» Бродский четко констатировал: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Эпигоны и неумеренные воспеватели Бродского только приближают эту кончину.



Змеиный кончик члена, или Самозапретная книга



Существует либеральная легенда, что все крупные партийные функционеры и литературные бонзы были сталинистами и, следовательно, антисемитами. Может, это когда-то и было, но на моем немалом веку все было с точностью до наоборот. Все они были или женаты на еврейках, или имели еврейскую кровь, или, рожденные в русских селах, как М.А. Суслов или А.Н. Яковлев, яростно боролись с русским национализмом, с православием и отечественными традициями. Вот показательный пример: литературный генерал, автор романа «Щит и меч» (ясно, где давали ему материалы!) Вадим Кожевников родился в день рождения Ленина в селе Тогур Нарымского края Томской губернии в семье ссыльных социал-демократов, сознательных революционеров. С 1933 года, после окончания МГУ, он работал журналистом «Комсомольской правды», журналов «Огонек«, «Смена», «Наши достижения». Публиковаться начал еще в 1930 году (первый рассказ – «Порт»). В годы Великой Отечественной войны Вадим Михайлович был военным корреспондентом газеты «Правда». Участвовал во взятии Берлина. В 1947–1948 годах занимал должность редактора отдела литературы и искусства газеты «Правда». С 1949 года и до смерти возглавлял журнал «Знамя» – самый «марксистский» и советский журнал на литературном фронте.

Помню, молодым поэтом послал туда по наивности стихи. Мне пришел ответ от Натальи Ивановой – невестки Анатолия Рыбакова («Дети Арбата») – нынешней либеральной критикессы, куратора премии «Букер». Она мне цинично ответила, что у меня много лирики, а их журналу нужны стихи о революции, о рабочем классе, о советской действительности. Потом меня стали приглашать самым молодым участником на все Дни советской литературы. На Кубань и в Узбекистан я летал еще студентом Литинститута, делегацией руководил Герой Соцтруда Кожевников. С ним в люксах жила и сидела за особым столом

дочь Надежда, которой он показывал «размах и величие Советской родины», как высокопарно выражался. Надежда, которая училась на пианистку да не оправдала надежд, не осилила музыкальных вершин, сама начала пописывать рассказы, ее пригрела редактор Софа Разумовская – жена Даниила Данина (Плотке). Кстати, Кожевникова издала книгу «Сосед по Лаврухе» (по писательскому дому в Лаврушенском переулке). Стала яростной демократкой, правозащитницей, привлекала отца – депутата Верховного Совета СССР к соучастию в судьбах осужденных. Кожевников, иной раз после сопротивления, но все же подписывал прошения в высокие инстанции, что она подсовывала вместе с адвокатшами Лемперт и Финкельс.

Сейчас она, как водится, живет с семьей в США, но продолжает публиковаться в России. Еще – борется за «доброе имя отца», потому что в некоторых еврейских кругах считают, что именно он передал в КГБ рукопись романа В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Надежда отрицает передачу ее отцом информации о романе в «карательные органы», и считает, что «… рукопись такого объема, да еще со столь опасными прозрениями, параллелями Гитлер – Сталин, фашизм – коммунизм – должна была быть направлена в ЦК, в идеологический сектор» в любом случае. Гуманно!

Кожевникова чуть ли не первая взяла интервью у Владимира Соловьева – автора книги, вышедшей в издательстве «Рипол классик», «POST MORTEM. Запретная книга о Бродском». Владимир Исаакович родился в 1942 году в Ташкенте. Кандидат исторических наук. Публиковался в СССР как литературный критик и, по его собственному признанию, был тайным осведомителем близкого Кожевниковым КГБ, эмигрировал (1977) в США, живет в Нью-Йорке. О нем почтительно пишут: русско-американский журналист, политолог, прозаик и литературный критик. Автор многих книг, сочиненных в одиночестве и совместно с женой Еленой Клепиковой. Среди этих книг – роман «Три еврея» (написан в 1975 году еще в России и впервые издан в 1990 году в Нью-Йорке, «Не плачь обо мне…» (1982, Израиль); «Юрий Андропов: тайный ход в Кремль» (1983), «Парадоксы русского фашизма» (1995) – первые издания в Америке по-английски, следом на многих языках, включая русский, «Довлатов вверх ногами» (2001), и других в том же роде. Вот характерные фрагменты беседы двух «русских американцев»:

– Как критик-аналитик с отменным вкусом, эрудит широкого разнопланового диапазона, подскажите мне и нашим читателям аналоги, когда автор, взяв за основу своего повествования

конкретное историческое лицо, в данном случае поэта, себя и в стихах, и в прозе, и в эссе раскрывшего, рискует домысливать в свободном, так сказать, полете, нечто не только никак и нигде фактически не обоснованное, а изначально заявленное как домысел? Каков был тут ваш личный импульс? Обнаружить сокрытое в вашем герое? Перевоплотиться, слиться с ним? Или же… Ведь возможна догадка, что Соловьеву Бродский понадобился для других вовсе целей? Зная вашу, Володя, жесткую трезвость в оценке других и самого себя, хотелось бы получить соответствующие комментарии к замыслу вашего нового романа.

– Ну, примеров множество. Взять моего любимого Тынянова, который говорил, что начинает там, где кончается документ. Именно на стыке документа – но продолжая его – написаны три его замечательных романа – «Пушкин», «Кюхля» и «Смерть Вазира-Мухтара» о Грибоедове. Но зачем далеко ходить? Сошлюсь на моего героя. В стихотворении «Посвящается Ялте» содержится ответ на ваш вопрос:

> …да простит меня
> читатель добрый, если кое-где
> прибавлю к правде элемент Искусства,
> которое, в конечном счете, есть
> основа всех событий (хоть искусство
> писателя не есть Искусство жизни,
> а лишь его подобье).

С другой стороны, работая над этой книгой о Бродском, я перечитал все его стихи и статьи, заглянул в воспоминания о нем и в собственную память (мы были с ним хорошо знакомы с питерских времен, и он даже посвятил Лене Клепиковой и мне отличный стих на день рождения), прочел больше половины из данных им 60 интервью. Однако обращение к художке объясняется тем, что бродсковедение – мемуаристика и стиховедение – полностью исчерпало себя, обречено на повтор и говорильню. Роман, пусть даже близкий к реальности, предоставляет автору неограниченные возможности, его лот берет значительно глубже. У меня уже был однажды такой опыт. Я написал вполне ортодоксальный мемуар «Довлатов на автоответчике», который многократно печатался по обе стороны океана, входил в мои и наши с Леной Клепиковой книжки, но, чувствуя его недостаточность и недоговоренность, сочинил добавочно повесть «Призрак, кусающий себе локти», где дал человека, похожего судьбой и характером на Довлатова, но не один к одному, под другим именем, с рядом подмен. «Запретная

книга» о Бродском значительно ближе к реальному герою, тем более в приложениях все дано прямым текстом – мой печатный адрес к пятидесятилетию Бродского, аналитический рассказ о контроверзах Бродского и Евтушенко, эссе «Два Бродских», вплоть до отчета о запрещении книги «Свобода слова по-питерски» с угрозой выселить издательство, если оно издаст книгу Соловьева. Таким образом, обозначение Бродского в основном корпусе текста, то есть в романе, инициалом или инициалами (О – Ося, ИБ – Иосиф Бродский) – это секрет Полишинеля, тем более на обложку вынесены его имя и его фотография. Хотя высказывания героя не всегда буквальны, но цитатны в широком и даже стилистическом смысле, то есть подтверждены письменно или устно зафиксированными источниками. Но и флоберовский принцип «Эмма Бовари – это я» тоже остается в силе. И здесь снова сошлюсь на моего героя. «Ты – это я», – писал Бродский в своем «Письме Горацию», а в статье об Одене: «Я – это он». И даже на теоретическом уровне: «На что уповаю – что не снижу уровень его рассуждений, планку его анализа. Самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас, – продолжать в его духе. В этом, полагаю, суть всех цивилизаций». Вот и я полагаю, что написал книгу о Бродском вровень с его лучшими стихами. (Как самонадеянно!? – *А.Б.*)

– Фигура Бродского и в прежних ваших книгах являлась едва ли не стержневой. Так построен «Роман с эпиграфами», и его вариант «Три еврея». Зачем понадобилось еще раз возвращаться к той, вами уже как бы раскрытой теме?

– Не совсем так. «Три еврея» и «Post Mortem. Запретная книга о Бродском» – это скорее диптих или, как сейчас говорят, сериал. Первая книга – исповедального и покаянного жанра, и портрет Бродского там дан в рамках моего автопортрета: из трех евреев сюжетно я – главный герой. Не говоря о том, что там питерский Бродский, городской сумасшедший, затравленный зверь, поэтический гений. В новой книге нью-йоркский, карьерный Бродский, с ослабленным инстинктом интеллектуального самосохранения, с редкими прорывами в поэзии. Про это я пишу и в моем эссе «Два Бродских», противопоставляя одного другому. Соответственно, вторая книга – это роман, хоть и на документальной основе.

– Опасения, у меня лично возникшие. Сегодняшний русскоязычный литературный Нью-Йорк с ядром эмиграции из Ленинграда – Питера зациклен на двух кумирах, идолах: Бродском и Довлатове. Получается некоторый перекос. Чуть ли не все, кто сейчас в Нью-Йорке живут, с кем я встречаюсь, кого читаю, либо в Бродского влюблялись, либо пили с Довлатовым. Интересно,

конечно, и не бездарные люди оставляют об этом свидетельства, а все-таки странно: а что уже у них, не повенчанных со славой, своего собственного опыта вроде как нет? Только в чужой тени они находят себя?

– Да, это как с ленинским бревном, которое с вождем тащили сотни мемуаристов. Но это вопрос не ко мне. У меня не мемуарная книга, а докуроман. Но с другой стороны, нельзя отказать людям, которые близко знали тех, кто стал при жизни или посмертно знаменитым, в праве писать о них. В течение нескольких лет, будучи к тому же соседями, мы ежевечерне встречались с Довлатовым. Вот я и сделал о нем телефильм с участием тех, кто его знал, включая вдову, которая знала Сережу лучше других, и сочинил мемуар «Довлатов на автоответчике», обнаружив в последнем оставленные им сообщения.

Смею надеяться, что Бродский в моей книге близок тому, каким он был на самом деле. Я поставил перед собой задачу сделать из памятника человека, чтобы Бродский снова стал похожим на самого себя, а не на монумент, стащить его с пьедестала, пробиться сквозь «бронзы многопудье» к живому человеку, каким знал его лично, и к его великим стихам. Есть такой жанр – агиография: жития святых. У меня анти-агиография: герой не на постаменте, а в реале. Сам Бродский никогда не чувствовал себя святым, наоборот – называл себя монстром. «И средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» – вот классическая формула поэта. И можно привести длинный список поэтов, которых никак уж не назовешь святыми: злослов и всеобщий обидчик (включая своего будущего убийцу Мартынова) Лермонтов, картежный шулер Некрасов, Фет, который довел до самоубийства брюхатую от него бесприданницу, отказавшись жениться, предавший Мандельштама в разговоре со Сталиным Пастернак – да мало ли! Что нисколько не умаляет их поэзии. Мне моя редакторша написала: «Спасибо Вам за Бродского! Мне он никогда не был близок, а теперь – это просто какое-то озарение: живу только им…»

– Этика? Такая штуковина все же тоже, думаю, существует, несмотря ни на что. Свобода, смелость, независимость во мнениях – ну хорошо, конечно. А все-таки, мне кажется, есть дозированность, сбалансированность. Особенно перед теми, кто нам не ответит. Я, например, тут очень настороже, когда вспоминаю, пишу о тех, кого нет, почти суеверно чую их суд, нам, живущим, пока неведомый. Но соврать боюсь. Ваше мнение?

– Как раз об этом я и пишу в своей книге в связи с лже-вспоминальщиками. Как беспомощны перед ними мертвецы, у них нет возможности ответить. И привожу примеры. Скажем, из

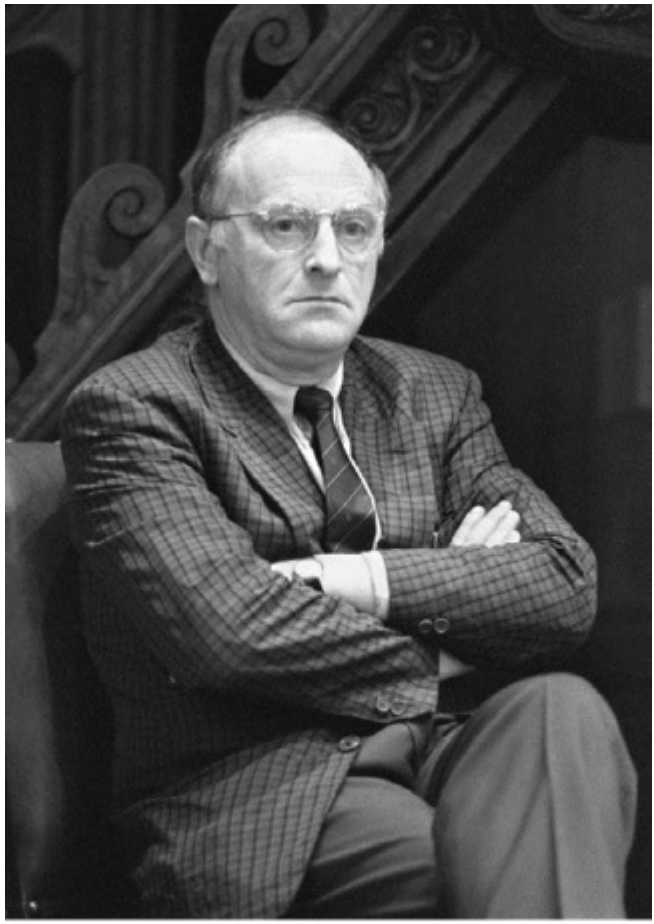
того же Кушнера: «Показал мне, вынув из бумажника затертую фотографию: это меня и Лену сфотографировал у нас дома кто-то из американцев, и она попала к нему», или «Купил мне тразисторный приемник “Sony” – «с премии». Когда я благодарил за подарок, вдруг сказал: «Я скоро умру – и все будет твое…» Я почувствовал, что он очень одинок». Чистая лажа! Так можно написать только о родном и близком человеке, а здесь все было наоборот, и Бродский посвятил этому пииту стихотворение, предчувствуя и предупреждая:

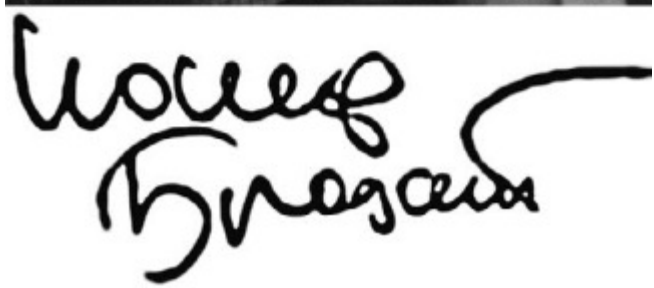
Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраса.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупицы – тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.





Иосиф Александрович Бродский (24 мая 1940 года, Ленинград, СССР – 28 января 1996 года, Нью-Йорк, США) – русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991–1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику – на английском. Один из крупнейших русских поэтов XX века

Где теперь крикуны и печальники?

Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники.
Потому что молчание – золото.

Иосиф Бродский

– Володя, уверена, ваш роман будет востребован, собственно и наша с вами беседа есть дань моего уважения к вам, к писателю, которого я сама выделила, правда, не без подсказки нашего гениального, вот уж вправду, книжника Миши Фрейдлина, по чьему совету я и стала выписывать ваши книги. И не разочаровалась. Мой вердикт: читайте Соловьева. О чем бы он ни писал».

Ох, как восторженно и последовательно! Наконец-то фамилия партфункционера Кожевникова через дочку заняла свою нишу в еврейском мире…

Хочется привести не мармеладный, а более трезвый взгляд на эту книгу с душком. В журнале «Звезда» 2006, № 10 опубликована совсем другая, более честная рецензия под загадочной фамилией С. Гедройц – без имени даже на обложках книг этого (этой?) автора:

«Маразм – не тетка. Целует прямо в мозг. И слизывает, как помаду, слой нейронов, отвечающий за то, чтобы человек держался в образе, не выходил из роли, продолжал играть самого себя.

То есть он и продолжает – но текст отклеивается от губ, и выражение лица отстает от лица. Играть – он играет (как всякий смертный, пока он жив), играет все того же себя и все такого же (какого же еще? – впрочем, какого угодно, лишь бы не смешного), – не замечая, что защитное поле снято. Что он хуже, чем раздет, – он прозрачен. И, стало быть, не просто смешон, а вдвойне. Верней, в квадрате: на глазах у всех справляя, скажем, потребность самую естественную либо предаваясь любимой некрасивой привычке принимать вид трагической задумчивости, как если бы это были, например, творческие акты. И даже себя уверять – и даже отчасти верить, что – никакого неприличия, все в порядке. И злиться, если отворачиваются. И если смотрят.

Прежде всего надо разъяснить, какой это Владимир Соловьев. Сам он – вероятно, скорее в шутку – беспокоится, как бы читатель не спутал его с одноименным философом. Это вряд ли. Но есть и телешоумен с такими же позывными, действительно популярный, – так вот, и шоумен тут ни при чем.

Это совсем другой Владимир Соловьев – проживающий в США, куда прибыл лет тридцать тому назад из Ленинграда с

пересадкой в Москве.

Над репутацией, как черный флажок с черепом и скрещенными костями, реет слушок. В данном тексте сформулированный наподобие теоремы Ферма или загадки Сфинкса:

«Если Соловьев кагэбэшник, в чем сам тебе спьяну признался, как ты теперь утверждаешь, то почему, поц моржовый, ты тут же его не разоблачил перед общими знакомыми» и проч.

То есть наше внимание обращают на то, что слушок сомнителен. Вы предпочли бы, чтобы пациент просто опроверг его, и все? Какой-нибудь обыкновенной фразой, прямой, без условных оборотов и от первого лица? Не дождетесь. Бедняга, приосанясь, качает башкой: пока еще нельзя, еще рано.

(«…Об опасных этих связях я еще напишу, они того заслуживают, опасные эти связи, которые бог весть когда начались и бог знает чем еще кончатся…».) Да и какое ваше дело.

А зато, по-видимому, самое время предъявить нам другие фрагменты этой великой судьбы. Да будет нам известно, что приезжий испытал много на веку своем:

«Мне также смешно, как человеку, который имел достаточно мужества, чтобы вступить в рискованную и опасную конфронтацию с властями, выслушивать слабоумные инсинуации от…».

Что претерпел на службе за правду:

«В конце концов это я первым тридцать лет назад порвал с питерской бандочкой литературных головорезов и мароедов (sic! – *С.Г.*) (а теперь и мертвоедов – на чужой славе, себе в карман), приблатненной тогда гэбухой, – порвал буквально, физически и метафизически…».

Имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его. Или не на жизнь (что было бы чересчур буквально по Чичикову), а на литературную славу. Вот и эта книга – отчего, как вы думаете, она запретная? А оттого, что вышла каким-то чудом – питерские литературные головорезы шутить не любят: «издательство оказалось под угрозой выселения за одну только попытку ее издать». (Не верите? Думаете, заливает? Вам подавай подробности? Не дождетесь. Риск, наверное, слишком велик. И вместо подробностей – три строчки точек.)

А причина таких бедствий – блеск пера. Поскольку Владимир Соловьев имеет, знаете ли, обыкновение писать прозой, которая не уступает лучшим стихам Иосифа Бродского (сам так говорит в интервью с Надеждой Колесниковой – дочкой советского литературного генерала, автора романа «Щит и меч». – *А.Б.*).

«Они потому еще боятся моей книги, что, написанная вровень

с лучшими стихами героя, на которые она вся сориентирована, она закрывает жанр бродсковедения (sic! – *С.Г.*)…».

Когда-то это была докупроза (полагаю, от слова «документ») – до того, как наш голубчик оседлал Смерть:

«Если честно, прозаиком я стал поздно, в 48 лет, осенью 1990 года, как следствие двойной потери – мамы и Довлатова (Ей же богу, так и написано: стал прозаиком как следствие. – *С.Г.*). Некрофильский импульс. Смерть как вдохновение, Танатос как Пегас…».

С этого момента доку – побоку, и Владимир Соловьев предался чистому искусству («Смерть И.Б. укрепила меня в моих планах…»), поскольку осознает свой долг перед населением Америки:

«Я здесь один, а потому обязан работать, в том числе за мертвых. В меру отпущенных мне сил. Таков стимул, если его из подсознанки вывести наружу».

Короче, сами видите: личность светлая. В собственных, по крайней мере, глазах. Крупная личность.

А не какой-нибудь клоп постельный, переползающий с простыни на простыню в поисках интересных пятен – чтобы, значит, всласть поболтать о них с другими насекомыми. Типа: покойник-то был – не то, что мы с вами – ну совсем никакой!

(«Одна знакомая, у которой с И.Б. были «встречи такого рода», вспоминает их короткость – обычно недотягивал до среднестатистических пяти минут…» – «Жаловался на проблемы с эрекцией и спермой…» – «Он и сам переживал, что не может соответствовать жене, вдвое (плюс-минус) его младше, а виагра еще не была изобретена…» – «Связи были поверхностными, случайными, предпочитал по-быстрому…». И проч.)

Со стороны такой крупной, светлой, половозрелой особи, как Владимир Соловьев, согласитесь, было бы недостаточно красиво – погрузиться в чужую паховую область попросту, без затей.

Поэтому устроено так. Это как бы роман (точней – как бы мемуар), написанный как бы дамой. По имени Арина. Вообразим, что она дочь каких-то людей, с которыми Бродский, вообразим, дружил. А с юной Ариной этой, вообразим, кокетничал. И разговаривал с нею обо всем. То есть главным образом про секс. А она, предположим, записала его (то есть, понятно, Владимира Соловьева) высказывания и свои (то есть опять же Владимира Соловьева) суждения об этих высказываниях.

Такой художественный прием. Обеспечивает Владимиру Соловьеву свободу рук.

Во-первых, позволяет беспрепятственно ронять мерзкие предложения типа:

«И вместо вертевшегося на языке: «А если ты помрешь на мне от натуги?» (так и произошло, метафорически выражаясь, – слава богу, не со мной) смягчила, как могла, отлуп».

Во-вторых, позволяет, как видите, обращаться к Иосифу Бродскому на «ты» (Владимир Соловьев как таковой – не посмел бы).

«В разгар борьбы за Нобелевку возбужденный Довлатов передавал всем по секрету слова Сьюзанн Зонтаг:

– Им там дали понять, в их гребаном комитете, что у него с сердцем швах и он не живет(sic! – *С.Г.)* до их возрастного ценза.

Вот тебе и поспешили дать премию…».

Или:

«Кого ты терпеть не мог, так это соизмеримых, то есть конкурентоспособных авторов. Кого мог, мордовал, давил, топтал. Даже тех, кому помог однажды, мурыжил и третировал…».

«Литературный пахан, не в обиду тебе будет сказано, дядюшка…».

В-третьих, позволяет обозначать Иосифа Бродского – как бы деликатности для – типа вдруг это не Иосиф Бродский – простым овалом без точки. То есть не инициалом, а цифрой. Наверное, это для Владимира Соловьева интимное наслаждение – вместо слов «Иосиф Бродский» выводить раз за разом ноль. А с Арины взятки гладки.

В-четвертых, позволяет Владимиру Соловьеву побаловаться при случае художеством: описать всякие там восторги девического онанизма – и самому, глядишь, передохнуть.

Хотя вы, разумеется, заметили, до чего скверный у этой Арины слог. Не девический. Какой-то сексотский, что ли:

«Хотя его окружение и состояло преимущественно из евреев, его гарем, напротив, носил интернациональный характер с весьма редкими, случайными вкраплениями соплеменниц…».

Даже как-то не веришь своим глазам, перечитываешь – нет, действительно, черным по белому: гарем носил характер.

Но какая разница. Главное, главное, хоть и в-пятых! – можно заполнять страницы и десятки страниц якобы прямой речью якобы Бродского. (В смысле – ноля.) Огромным монологом, причем исключительно из пошлостей, глупостей, банальностей и прочей похабели. Монологом саморазоблачительным, как все равно «Протоколы сионских мудрецов».

Чтобы, значит, сам чистосердечно подтвердил: да! да! импотент, еврейский шовинист, пролаза, циник, невежда, импотент, литературный пахан, эгоист, жадина, сластолюбец, интриган – импотент, импотент, импотент, вы правы, правы –

живой мертвец!

То есть можно считать, что эта самая Арина со своим заданием справилась. А слог – что слог! – дело наживное.

Другую половину тома занимают разные приложения к Аринину лжемемуару, и в одном из приложений Владимир Соловьев, спасибо ему, припоминает, что встречался с Иосифом Бродским в Америке всего лишь дважды, причем давно, в 1977 году. Удостоверяет тем самым (боюсь, невольно), что километры ерунды, произносимой злополучным О, – типичное искусство для искусства: фантазия бедняжки Арины оплодотворена интеллектом Владимира Соловьева, только и всего.

И он снимает с себя ответственность за главу, в которой Арина, совершенно отвязавшись и вообразив себя – не поверите – Джеймсом Джойсом, пересказывает любовную драму Бродского внутренними монологами участников; реальных людей, названных пофамильно.

Это кульминация: с низостью замысла гармонирует гнусность исполнения. Подлость переходит в пошлость без потерь:

«Твое мощное дикое необузданное всесокрушающее либидо – я чувствовал его змеиным кончиком своего члена, когда входил в нее вслед за тобой…». И все такое.

Но для Арины и это еще не предел.

Она сочиняет за Бродского письмо с того света. Просто чтобы порадовать Владимира Соловьева картинкой (увы, дрянной): Бродский в аду извивается на крюке. Подвешенный, сами понимаете, за язык. И рассказывает о посмертной судьбе той части своего тела, которая только и занимает мысли Арины и ее соавтора. Не выписываю. Нельзя. Тут пошлость переходит обратно в подлость.

Однако возвращается к самой себе – или приходит в себя, – как только соавторы принимаются расписывать чувства, которые движут их раздвоенным пером.

Верней, не чувства – одну всепоглощающую страсть. Конечно же, это не что иное, как любовь. Как сорок братьев и столько же сестер, любят свою жертву Владимир и Арина.

Но тут кончается искусство. И дышит кариозной гнилью автобиографический реальный мотив.

Автор, знаете ли, комментариев проговаривается: при последней (см. выше) встрече с Владимиром Соловьевым ИБ проявил безумную беспечность. Недооценил опасность. А именно дело было так.

– Вы не единственный в Америке судья по русским литературным делам, – будто бы сказал ему Соловьев.

А Бродский будто бы спросил:

– А кто еще?

«Я даже растерялся от такой самонадеянности, чтобы не сказать – наглости», – простодушно признается светлая личность.

И вы чувствуете: тепло, тепло.

Еще теплей, несмотря на уродскую лексику, абзацем ниже:

«Отчасти общению мешали присутствие Лены и самцовость И.Б. Не буквальная, конечно – сублимированная. Не эта ли самцовость была причиной его негативной реакции на некоторые сочинения своих соплеменников?».

Звучит как бред, но законная Лена приплетена недаром, – тепло, еще теплей.

А если, преодолевая брезгливость и скуку, еще поворошить окружающий компост, найдется и такая страница. Ленинград, начало 70-х, весна, троллейбусный разговор:

«– …Воображение у меня работает на крутых оборотах. Отелло по сравнению со мной щенок. Да еще сны с их дикостью и бесконтрольностью. Там жена у меня блядь блядью. Со всеми знакомыми.

– И со мной?

– А то как же! Вот недавно снилось, как Лена запросто, без напряга и стыда, признается, что спала с вами. И я, безумец-ревнивец наяву (ко всем и ни к кому), спокойно это во сне воспринимаю как само собой разумеющееся.

– А теперь представьте, что вы просыпаетесь, и оказывается, что это вам вовсе не снилось, а на самом деле. Что тогда?

Подвох? От одной такой возможности меня передернуло.

– Да нет, я не о себе, я вообще, – утешил он меня…». Утешил, значит. А потом премию Нобеля получил. И даже умер, как хотел, а не в маразме.

То есть сам навлек на себя роковую, неутолимую любовь. «К вечеру, когда Лене надоели мои причитания в связи с его смертью (клянусь, так и написано: причитания в связи. – *С.Г.*), она сказала:

– Он столько раз прощался с жизнью, что было бы даже неудобно обмануть читателя и продолжать жить, как ни в чем не бывало.

Интенсивность его проживания, точнее – прожигания жизни сказалась в его преждевременном одряхлении. Вот именно: не почему так рано умер, а почему так рано постарел. В 50 лет выглядел стариком, и это в Америке, где, наоборот, семидесятилетние выглядят с полтинник. В Америке он слинял, нацелясь на карьерные блага, а под конец – на семейное счастье. Плюс, конечно, переход на английский, заказная публицистика, профессорское популяризаторство… <…>

При всей краткости его жизни, его таланта на всю ее не хватило…

Как ни рано – по годам – И.Б. умер, он пережил самого себя».

Дважды мертвец? Да хоть трижды! Для любви Владимира Соловьева к Иосифу Бродскому препятствий не существует. Кто сказал – до гроба? А в гробу, по-вашему, уже не тронь? Не надейтесь.

«…Поэтесса Т., бывшая когда-то его секретаршей, но давно отставленная и к демиургу доступа последние годы не имевшая <…> проникла в дом и провела у трупа полтора часа, пока не была выдворена разгневанной вдовой. Как беззащитен покойник! Если мертвому дано видеть, что творится с его телом, легко представить ужас И.Б., когда он беспомощно взирал на недопустимого соглядатая.

Что произошло за эти полтора часа между живой поэтессой и мертвым поэтом, вряд ли когда станет известно. Вариант «нравится, не нравится – спи, моя красавица»«с подменой на мужской род отпадает именно ввиду этой подмены, хотя Миша Шемякин изобразил в серии Казановских рисунков мертвого сердцееда в гробу со стоящим болтом и скачущую на нем фанатку-некрофилку…».

Что я говорил! Маразм беспощаден. Выводит из строя вторую сигнальную. Бесстыдно заголяет заднюю мысль.

Лицемерие больше не выручает – наоборот, предает: вульгарная зависть читается как адская ненависть, невинная советская бездарность издает адский же смрад.

«…Но и на первопроходцев, взломщиков мохнатых сейфов, интрига отбрасывает густую тень – что и они любили не оригинальное, а общее и общедоступное…»

То есть полное ку-ку. Пена на губах. Как в неслыханную простоту – с головой в ку-купрозу. Впрочем, это не больно. Даже, в некотором роде, кайф.

А Бродский тоже не без вины: по какому праву жил? на каком основании был гений? с какой стати женщины влюблялись в него?».

Хорошие вопросы, как говорят американцы… Но, конечно, самый развенчивающий текст – авторский. Собственно говоря, книга Владимира Исааковича, любовно изданная «Рипол-классикой», и есть «Анти-Бродский», до разоблачительного и пошлого пафоса которой мне, наверное, с присущим русскому литератору, чувством справедливости – не дотянуть. Но я хочу показать, что о ком-то Соловьев может писать даже еще отвратней, чем о Бродском.

Вот образчик из книги в 544 страницы, написанных якобы от женского лица. Но может ли так писать женщина, прости господи, если только она – не Сонька Золотая ручка?

Итак:

«Вознесенский с годами все больше походит на хряка, Евтух – чистая рептилия, Бобышев – замнем для ясности, у Кушнера – мордочка взгрустнувшего дебила, у Лимошки гнусь на роже проступает как сыпь.

На раннем этапе его заграничных мытарств ты ему потворствовал – с твоей подачи в мичиганском «Ардисе» вышла его первая книга плюс подборка стихов в «Континенте» с твоим предисловием. И хотя ты терпеть не мог знакомить одних своих знакомых с другими, свел Лимонова с нью-йоркскими меценатами Либерманами, главным твоим тяни-толкаем в вознесении на мировой литературный Олимп, Нобельку включая. «Смелости недостаточно – нужна наглость» – один из любимых тобой у Ежи Леца афоризмов.

Лимонов, однако, отблагодарил тебя посмертно не за покровительство, а за бабу, которую ты ему передал со следующим напутствием:

– Можешь ее выебать, ей это нравится. У меня для такой кобылы уже здоровье не то.

Ссылкой на нездоровье и даже импотенцию осаживал осаждающих тебя кобыл, кобылок и кобылиц. Отношения с Лимоновым не сложились, причин тому множество. Одна из: он не из породы управляемых. Тем более – покровительствуемых и благодарных. А для тебя покровительство было одной из форм самоутверждения в пред– и особенно постнобелевский период. Когда Довлатов взмолился: «Унизьте, но помогите», это была не просто адекватная, но гениальная формула твоей доброты к соплеменникам. Однако в отличие от Довлатова, который из породы самоедов и готов был стелиться перед кем угодно, Лимонов не принял бы помощь, которая его унижала. Либо принял

бы, а в благодарность откусил руку дающего. Честолюбие распирало его, литературные претензии и амбиции были ничуть не меньше твоих при куда меньшем потенциале. Потому и приходилось добирать внелитературными средствами, что не додала литература, с которой он в конце концов завязал, обозвал на прощание пошлой наебаловкой и пустился во все тяжкие военно-политической авантюры, писательству предпочтя армейский прикид и автомат Калашникова. Уже за одну эту измену литературе его следовало посадить, но посадили его, увы, за другое. Когда ты вытравлял в себе «политическое животное»,

не гнушаясь им, впрочем, но используя исключительно в языковых целях в стиховых гротесках, Лимонов всячески его в себе лелеял, пока не взлелеял политического монстра. Но я все-таки думаю, что политика для него – одна из форм паблисити, перформанс, хэппенинг, пиарщина. И что потешная партия нацболов – пьедестал для ее дуче-изумиста.

Хочешь знать, тщеславие – это альтруизм, работа на публику. Талант – наоборот: высшая форма эгоизма и самоудовлетворения. То есть вовнутрь, а не вовне. Вот почему твой Лимонов – эпатер, а не писатель.

Это ты задним числом, оправдывая себя за историю с «Это я – Эдичка», когда, в ответ на просьбу редактора дать пару рекламных слов на обложку, с ходу стал диктовать по телефону:

– Смердяков от литературы, Лимонов… Напрасно издатели отказались: негативное паблисити могло бы сыграть позитивную роль. Лимонов объяснял этот кульбит так: ты помогал соплеменным литераторам в русских изданиях, но боялся конкуренции в американских – пытался приостановить публикацию по-английски романов Аксенова, Аркадия Львова, Саши Соколова. В долгу он перед тобой не остался и обозвал поэтом-бухгалтером. Вот тогда ты его и пригвоздил: «Взбесившийся официант!» – и иначе, как Лимошкой, с тех пор не называл. Бросал брезгливо: «Гнилушка». Зато посмертно Лимошка взял у тебя реванш и выдал целый каскад антикомплиментов: «непревзойденный торговец собственным талантом», «сушеная мумия» и проч. и проч. Теперь, надеюсь, вы квиты?

В «Книге Мертвых» Лимонов сообщает об этом эпизоде, но вместо Смердякова называет Свидригайлова. Однако Бродский называл его именно Смердяковым. Косвенное подтверждение находим в неформальном интервью И. Бродского Александру Минчину, напечатанном при жизни И. Бродского: «…эдакий Смердяков» («Совершенно секретно», 1991, № 12; републикации в книгах А. Минчина «15 интервью» (Нью-Йорк: Изд-во им. А. Платонова, 1989) и «20 интервью» (М.: ЭКСМО-Пресс, 2001). Замена Лимоновым Смердякова на Свидригайлова – это, конечно же, эвфемизм, без разницы – бессознательный или намеренный.

Суть этого конфликта, мне кажется, вот в чем: тунеядец, пария, чацкий, городской сумасшедший в Питере, в изгнании ты стал частью всемирного литературного истеблишмента, тогда как Лимонов остался за его пределами, застрял в андеграунде, так и остался навсегда Лимошкой. Человек обочины, на стороне аутсайдеров, сам – аутсайдер. Выдает за личный выбор, ссылаясь на французский опыт.

Оставшись за бортом американской жизни, Лимонов

эмигрировал из Америки во Францию (в обратном направлении проследовал Шемякин, его приятель, как пишет Лимонов, обменялись столицами) – причем овладел французским настолько, что стал французским журналистом, а мог бы и писателем – кончил бы жизнь академиком. Так он сам считает. Сомнительно. На самом деле – это горемычная его судьба: быть подонком среди подонков. Всюду: в Харькове, в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, опять в Москве. Точнее в Лефортово.

Пусть Смердяков от литературы, но Лимонов сам обнаруживает в себе столько монструозного, что уже одно это говорит о его писательской смелости. Он и в самом деле похож на героев Достоевского, но, в отличие от Бродского, я ставлю это ему в заслугу. В героях Лимонова – полагаю и в нем самом – гнидства предостаточно, он падок на все, что с гнильцей, с червоточиной, но пусть бросит в него камень тот, кто чист от скверны и сам без греха.

Автобиографическую прозу Лимонова нельзя принимать за чистую монету. Литературный персонаж, пусть даже такой вопиюще исповедальный, как Эдичка, равен его создателю Эдуарду Лимонову не один к одному. Вопрос будущим историкам литературы: где кончается Эдичка и начинается Лимонов? Я, например, склонна верить не Эдичке, а Эдуарду Лимонову, когда он позднее стал открещиваться от героя в самой скандальной сцене своего первого романа: в изнеможении несчастной любви отдается негру в Центральном парке. Лимонов выдает теперь эту сцену за художественный вымысел.

Адепт «грязного реализма», скандалист и сквернослов, Лимонов не стал бы отмежевываться ни от какой грязи – он достаточно долго прожил в Америке и Франции, чтобы досконально изучить механику негативного паблисити: скандал лучше забвения, подлецу все к лицу, рвотные сцены в его духе. А главное, Лимонов такой бешеный женолюб – не только в подробно описанной им любви к Елене Щаповой, но и в деперсонализированной похоти к нерожалым бабенкам, что представить его за голубым делом лично для меня невозможно – даже в качестве сексуальной двухстволки или единичного эксперимента. Но сюжетно и композиционно – как знак отчаяния любви – эта шокирующая сцена позарез необходима, художественно и эмоционально, как своего рода катарсис. Что же касается ее правдоподобия, здесь все говорит в пользу Лимонова-писателя. Именно: над вымыслом слезами обольюсь.

Вот где вы с ним сходитесь, как параллельные линии за пределами Эвклидова пространства: в горячей точке отвергнутой любви. Поверх этих внешних различий, на самой глубине, по

существу между вами разительное сходство. Я не о вождизме и не о самцовости, которые, если их вывернуть наизнанку, совсем наоборот, но о прямых любовных аналогиях. Оба потерпели сокрушительное поражение в любви и оповестили о том urbi et orbi.

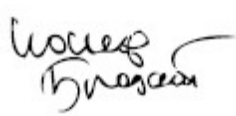
Можно и так сказать: любовное унижение сформировало вас – одного как поэта, другого как прозаика: раненое ego. Одна и та же механика творческого сублимата: унижение в жизни – выпрямление в литературе. Литература как замещение и реванш. Не знаю, как в жизни, но творчески лучше быть влюбленным, чем любимым. Что если у тебя инстинкт литературного самосохранения притупился, а у Лимонова-Смердякова развит лучше? Вот он, мятежный, и ищет бури и счастия бежит.

Может быть, потому вы и разошлись, не узнав друг в друге товарища по несчастью?».

Ну вот, и снова все свелось к «Анти-Бродскому»…

Завершу эту главу словами Павла Басинского из рецензии в газете «Русский курьер»: «И взятки гладки. Бродский как self myth» (самомиф. – *А.Б.)*: «Новая книга называется «Post mortem. Запретная книга о Бродском». Жаль, что Соловьев не решился на словесную игру, не вспомнил нашего великого фольклориста А. Н. Афанасьева с его «Заветными («Запретными») сказками» и не назвал свою новую вещь «Заветная книга о Бродском». Словесная игра сняла бы с названия этот невозможный душок эмигрантского мазохизма. Господи, да кто вас сегодня запрещает, что в Америке, что в России! Разве сами друг друга. Но без «запрета» – никак. Не вкусно. Да вырезайте вы поскорей из себя этот аппендикс».

Но как же без этого аппендикса? – тогда весь гной и нечистоты прямо в благородную еврейскую кровь пойдут, а ведь она и без того– отравлена.



Рубцова и сегодня душат Бродским



У многих литераторов-русофилов сравнение Рубцова с Бродским стало общим местом. Почему? – Бог весть. Еврейские критики в подобном – замечены не были…

«У Бродского своя судьба, а у Рубцова – своя, – пишет Николай Коняев. – Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает. Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от любого неугодного ей «образа мысли», это различие не было существенным…». Да, мы уже давно живем в другой «системе» с маленькой буквы, и теперь ясно видим, как резко разошелся посмертный «рисунок судьбы»: один стал лауреатом Нобелевской премии, героем либерального истеблишмента, любимцем ТВ, а другой – просто самым издаваемым и любимым народным поэтом без всякой информационно-телевизионной раскрутки. Поразительно! Да Коняев и сам это понимает – повторяю: наверное, ни одна его книга не переиздавалась столько раз, сколько книга о Рубцове с вариациями. Но пресловутый «рисунок судьбы» просто преследует некоторых пишущих.

Вот что пишет вологжанин Виктор Бараков в статье «Н. Рубцов и И.Бродский»: «Личные встречи этих выдающихся поэтов были краткими, об их взаимоотношениях почти ничего не известно, но, по воспоминаниям Г. Горбовского, Рубцов и Бродский встречались во второй половине 50-х годов, когда жили в Ленинграде, хотя и мельком, а однажды даже выступали вместе – принимали участие в Турнире Поэтов во Дворце культуры им. Горького.

Куда важнее – пересечение их поэтических судеб, хотя в 60-х годах они, пожалуй, шли параллельными курсами. Так, в период с 1957-го по 1960-й Бродский «стремительно переживает смену разнообразных версификационных влияний: от переводных стихотворений Незвала и Хикмета до поэзии Слуцкого и

Цветаевой.» (В. Куллэ). У Николая Рубцова идейно-эстетическое становление происходило в эти же сроки.

Поэма «Холмы» (1962–1963) завершила «романтический» период в творчестве Бродского, для него 1962 год – рубежный. В 1962 году и у Рубцова закончился период становления, полностью сложилась образно-символическая система его поэзии.

Второй период у Бродского (1962–1972) – так называемый «неоклассический». Романтическое восприятие мира сменилось его философским постижением. Девятилетие рубцовской лирики можно также назвать «философским», «классическим» или «неоклассическим». Непосредственный поэтический диалог двух лириков состоялся в 1962–1963 годах. Вот как об этом пишет литературовед В. Белков: «Рубцов не мог не знать стихотворения И. Бродского, написанного в 1962 году:

Ты поскачешь во мраке,
по бескрайним холодным холмам,
вдоль березовых рощ,
отбежавших во тьме к треугольным домам…

Даже по этой короткой цитате видно, насколько близки два стихотворения. Но Рубцов, гений отклика, всегда отвечал сильно и по-своему. И на вопрос Бродского —

Кто там скачет в холмах,
я хочу это знать,
я хочу это знать —

Рубцов ответил твердо и определенно! Он сказал о себе и о России:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!..

(1963)

Об этом знаменательном диалоге размышляет и Н. Коняев: «Случайно ли, что в стихотворении И. Бродского: «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам…» и Н. Рубцова: «Я буду скакать по холмам…», написанных в одно время, есть почти цитатные совпадения? Ясно, что оба стихотворения писались в предчувствии тех перемен, что уже отчетливо осознавались

многими; в стремлении понять, определить для себя духовные ценности, не зависящие от соответствия их литературной и общественной ситуации. Стихи писались как попытка увидеть сквозь время и свою судьбу, и судьбу народа. И, конечно, это прозрение не могло быть рациональным, логическим…». Однако «конкретика, детали стихотворений И. Бродского идеально совпадали с конкретикой мира, деталей и целей рубцовских стихотворений. «… Я читал поочередно из одного сборника и из другого, – рассказывает А. Курчаткин, – и не видел «совершенно различных», «совершенно непохожих», глядящих в «абсолютно разные стороны поэтов». В 60-х «всадники» Бродского и Рубцова скакали вместе». Может, и одновременно, но в разные стороны: один – в холодную абстракцию, а другой – к людскому теплу, к раненому десантнику. Как можно не видеть разницу даже в буквальных образах, уж не говоря об общем мирочувствовании. Но Бараков продолжает: «В 1964 году Николай Рубцов, выгнанный из Литинститута, «отправился в свою нищую вологодскую деревню, а Иосиф Бродский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был выселен из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду на пять лет. В марте 1964 года он отправился по этапу вместе с уголовниками в деревню Норинское (Норенская. – *В.Б.*) Коношского района Архангельской области. Рубцов, по сути, пострадал за этот же «проступок» – оба поэта способны были работать кем угодно, но их долг был другим: они не могли жить без поэзии, они должны были писать правдивые стихи… В селе Никольском (200 километров от Норенской) «произошло то, что должно было произойти. Фотография Рубцова появилась на доске «Тунеядцам – бой!» в сельсовете. Рубцов снят на ней в свитере. Сложив на груди руки, чуть усмехаясь, прищурившись. Он смотрит с этой, быть может, самой лучшей своей фотографии на нас… Действительно, смешно… Но тогда было не до смеха».

В изгнании Бродский и Рубцов невероятно много пишут (И. Бродский в это время переживает кратковременное увлечение русским фольклором), работают (Бродский – в колхозе, Рубцов – заготавливал грибы и ягоды и сдавал в коопторг), иногда выезжают по делам в города (по отдельным сведениям, Бродский в тот год ездил в Вологду. И в дальнейшем совпадения продолжаются!». Некто С. Фаустов даже вывел сравнительную таблицу, которую другие авторы попытались несколько скорректировать и дополнить:

	Н. Рубцов	И. Бродский
Дата и место рождения	3 янв. 1936г. Емецк, Архангельской обл.	24 мая 1940г. г. Ленинград
Образование	7 классов (в 1962 г. закончил вечернюю школу), затем — Литинститут	8 классов (без аттестата зрелости)
Основные рабочие профессии	матрос, кочегар, шихтовщик	матрос, кочегар, фрезеровщик
Начали писать (ориентировочно)	1955	1955
Первые шаги в проф. поэзии	Ленинград	Ленинград
Год и место изгнания в деревню	1964, Северо-Запад России	1964, Северо-Запад России
Год «реабилитации»	1965 — восстановлен в Литинституте	1965 — досрочно освобожден
Конец творческого пути	1971 — убит	1972 — эмигрировал

Женщина-филолог решила поступить еще буквальнее. Полторацкая А.Ю. опубликовал статью «Отражение мотивов и образов, относящихся к водной стихии, в поэзии Николая Рубцова и Иосифа Бродского». Почитайте этот наукообразный дамский лепет: «Важную роль в формировании мироощущения и художественного становления двух великих поэтов второй половины XX века – Николая Рубцова и Иосифа Бродского сыграл Север, оказавшийся культурной и духовной питательной средой их творчества.

Судьба обоих поэтов тесно связана с Русским Севером: Николай Рубцов родился в селе Емецке Архангельской области, почти всю жизнь прожил на Вологодчине; Иосиф Бродский посещал северные «широты», принимая участие в геологических партиях, а в 1964 г. был сослан в деревню Норинскую Коношского района Архангельской области. Образы и мотивы, так или иначе связанные с Русским Севером как началом сакральным, находят разнообразное отражение в творчестве обоих поэтов и во многом обусловливают внутреннее родство их художественных миров.

В первую очередь Рубцова и Бродского роднит особое мировосприятие, в основе которого лежит романтическая модель сознания, концепция романтического двоемирия, романтическая концепция личности. Источником, обусловившим романтическое мироощущение, присущее обоим поэтам, во многом послужил для них Русский Север.

Интересным предметом для исследования являются мотивы и образы, составляющие литературные переклички Рубцова и Бродского, связанные с водной стихией и нередко проникнутые духом Русского Севера. Пристрастие к морской стихии (как в творчестве, так и в жизни) сближает обоих поэтов» и прочее в том же беспомощном духе. Конечно, в этой диссертационной статье Полторацкой есть много чисто внешних совпадений и явных натяжек. Но есть точная строка – самопризнание Бродского, характеристика своего стихотворного потока: «Вода – беглец от места» – это еще одно хорошее название для книги о Бродском.

Между тем о личной встрече совершенно не похожих поэтов лучше всего рассказывает единственное письмо Николая на эту тему – Г.Б.Гоппе в марте 1960 года: «Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. Он, конечно, не завоевал приза, но в зале не было равнодушных во время его выступления. Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал:

У каждого свой хрлам!
У каждого свой грлоб!

Шуму было! Одни кричат:
– При чем тут поэзия?!
– Долой его! Другие вопят:
– Бродский, еще!
– Еще! Еще!».

Профессор Вологодского педуниверситета В.Н. Бараков комментирует: «Николай Рубцов нарисовал в этом письме чрезвычайно живой портрет Иосифа Бродского, с которым он был знаком (в адресной «бархатной» книжке Рубцова на двенадцатой странице записан телефонный номер Бродского) и с которым, по свидетельству Г.Горбовского, вместе выступал на Турнире поэтов во Дворце культуры им. М.Горького (предположительно в конце 1959 года). И в дальнейшем Н.Рубцов держал в поле своего зрения творчество И.Бродского… А вообще, вопрос «Бродский и Рубцов» остается в литературоведении открытым, чаще всего трактуясь крайне вульгарно: два поэта противопоставляются друг другу как «западнический» и «почвенный». «Рубцоведы» и «бродсковеды» относятся друг к другу с легким пренебрежением, друг другом интересуются мало; первые чаще всего малокомпетентны в творчестве ИАБ и наоборот. В Вологде, где я живу, естественно, победила «рубцовомания». Например, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в центре города был

поэтический праздник; школьники, студенты и прочие категории граждан читали стихи, в основном Рубцова. А я ходил по площади и ныл: «Ребятушки, сегодня день рождения Бродского. Друзья мои, вологодские поэты это прекрасно, но сегодня день рождения Бродского – и в том же духе…».

Хочу продолжить нытье либерального профессора – апологета Бродского: «Ребятушки, хорошо, что вы не забываете близкого вам Рубцова и уместно поминаете его 24 мая – в Международный праздник славянской письменности и культуры. Кстати, после Мурманска возрожденный писателями праздник (в 2013 году исполнится 150 лет, как по решению Синода он стал официально отмечаться в России!) прошел в Вологде и получил свое полное наименование. А еще 24 мая – день рождения истинно гениального Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Но теперь всех в эфире заслоняет Бродский, а профессор Бараков и в провинциальном русском городе старается его навязывать, не ограничиваясь лекциями и статьями.

После таких статей понимаешь резкость неведомого мне Вячеслава Кочнова, который откликнулся статьей «Поэт и фальшивомонетчик. К юбилеям Рубцова и Бродского». Начинает он со стихотворных эпиграфов:

….На тревожной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек…

Николай Рубцов

«Падаль!» выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.
….потому что падаль – свобода…

Иосиф Бродский

В январе две даты прошли почти незамеченными в стране, погруженной в пугачево-киркоро-галкинскую телевакханалию. 3 января исполнилось 70 лет со дня рождения Николая Рубцова, а 28 января исполнилось десять со дня смерти Иосифа Бродского

(речь идет о 2006 годе. – *А.Б.*). В особом представлении эти люди не нуждаются, их имена знает всякий, даже те, кто никогда

не читает стихов. Век триумфа PR дает о себе знать. И все же, думаю, не ошибусь, если скажу, что в каждой русской читающей семье обязательно найдется хотя бы небольшой томик Рубцова. Об этом говорят огромные для поэтических книжек распроданные тиражи стихов Рубцова. Его популярность в русской читающей среде по масштабам сравнима разве что с популярностью Есенина. Да и читательская аудитория у них одна и та же. Стихи и Рубцова, и Есенина напевны, они просятся на музыку, и композиторы, конечно же, не обходят их стороной. Кто не помнит «Я буду долго гнать велосипед» или «Клен ты мой опавший…»!

У изощренного мастера версификации Иосифа Бродского читатель совсем другой – это, как правило, амбициозный еврейский (или околоеврейский) интеллигент (интеллигентка), нарочито циничный, подчеркивающий свое интеллектуальное превосходство над окружающими (так и хочется добавить – «гоями»)… Одним из верных признаков этого самого «превосходства» является и самый культ Бродского, с его замысловатыми стихами, с его упрямым диссидентством, с его безусловно яркой биографией.

Любопытно, что биографически и своей особой тональностью соединил этих двух ничем друг на друга не похожих людей Ленинград. У каждого из них есть свой ленинградский период (для Бродского он, несомненно, более значимый). Я знаю одного достаточно известного ныне здравствующего петербургского поэта (назовем его условно С., его имя я не буду называть, не имея на это его разрешения), отношение которого к Бродскому изменилось в течение жизни на удивление радикально. При нашем знакомстве он поделился со мной, что Бродский-поэт напоминает ему фальшивомонетный станок, сделанный по последнему слову техники. Он печатает деньги, по качеству превосходящие настоящие, но при этом все-таки фальшивые. Мне эта метафора очень понравилась, более того, показалась просто гениальной, потому что у меня стихи Бродского вызывали такие же ощущения, но я не смог так же образно и точно их сформулировать.

Через несколько лет я встретил С. и услышал от него противоположный отзыв о Бродском, менее образный, но не менее интересный. Теперь он утверждал, что грязь (для сравнения хорош англ. термин thrash) и цинизм Бродского – это следствие его глубочайшего познания жизни. «Такова жизнь, жизнь – это зло, предательство, грязь, несправедливость, вот ее главная загадка, Вячеслав…» – добавил он. И это мнение мне тоже понятно, хотя я и не могу его разделить. Грубо говоря, «весь мир – бардак, все бабы – б…», или как это у Бродского: «Только пепел

знает, что значит сгореть дотла./ Мы останемся смятым окурком, плевком <…> и слежимся в обнимку с грязью <…> в перегной, в осадок…» Или: «Однако человек, майн либегеррен,/настолько в сильных чувствах неуверен,/ что постоянно лжет, как сивый мерин»… В общем, и крановщицы все у Бродского – б… и, и весталки не девственны («…ты с ней спал еще, недавно стала жрицей»), да и небо какое-то серенькое что летом, что зимой («пока ты пела, за окошком серость/ усилилась» и т. д. и т. п.). Некоторые стихи Бродского пронизаны каким-то просто инфернальным человеконенавистничеством и, в особенности, ненавистью и презрением к женщине, ненавистью к идеалам, наконец, ненавистью ко всему живому. Сплошная «тьма низких истин». Впрочем, и «истине» достается. Однако в этом нигилизме, доходящем временами до маниакальной, бесовской ярости, собственно, и состоит пафос Бродского и ценителей его поэзии. Хотя лично у меня, признаюсь, от этого пафоса происходит нечто вроде морально-эстетического несварения – хочется проблеваться, принять душ и «перечесть «Женитьбу Фигаро»…

Версию о фальшивомонетной природе стихов Бродского косвенно подтверждает и факт его знаменитого лжепророчества о собственной смерти. Известно, что многие великие поэты предсказали в своих стихах какие-то обстоятельства своего перехода в иные миры. Можно вспомнить прославленный «Сон» Лермонтова, «И умру я не на постели, при нотариусе и враче» Николая Гумилева, «Тьма меня погубит в декабре» Федора Сологуба, «а умер от солнечных стрел» Андрея Белого. В этом же ряду стоит и «Я умру в крещенские морозы» Николая Рубцова. Как известно, он погиб точно в Крещение 19 января 1971 года (сегодня исполняется ровно 35 лет с того дня). «А весною ужас будет полный,/ На погост речные хлынут волны», – сбылось и это жуткое пророчество: кладбище, на котором был похоронен Николай Рубцов, весной затопило паводком. Бродский не вернулся умирать ни на Васильевский остров, ни в родной город, ни в Россию. По-человечески его понять не сложно: в России его обидели ни за что ни про что, на Западе обогрели-приютили. Я бы, положа руку на сердце, на его месте тоже не вернулся. Но вот из песни слова не выкинешь. И если Рубцов жил поэтом и поэтом умер, то Бродский ушел из этой жизни уже совсем не поэтически, скорее расчетливым скрягой-филистером, приобретя себе напоследок очень дорогое место на самом модном кладбище планеты Земля (ну как же, нобелевский лауреат!). Как выразился сам поэт-падальщик, «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».

Юбилейные торжества предполагают произнесение речей о том, каким замечательным человеком был покойный. Но вот, к

сожалению, я далеко не первым вынужден обратить внимание читателя на то, что гениальные люди в частной жизни и в отношениях с окружающими – близкими и неблизкими – крайне редко отличались кротким нравом. Немного среди гениев трезвенников и Героев Социалистического Труда. Вспомните то, что мы знаем о жизни Катулла или Верлена, Вагнера, Бодлера, Гоголя или того же Есенина, Достоевского или Блока. Жуть, да и только: алкоголизм, наркотики, жизнь не по средствам, невозвращенные долги, кражи, тюрьмы, азартные игры, причуды сексуальной ориентации… Счастливых исключений вроде «тихих» госчиновников Гёте, Тютчева и Гончарова или помещика-фермера Льва Толстого немного (впрочем, и литературное дарование последнего весьма спорно). По рассказам современников, многие из которых живы и поныне, ни Рубцов, ни Бродский ангелами во плоти не были. Другое дело, что Николаю Рубцову была присуща истинно русская теплота и душевность, а рыжий Йося запомнился своим иудейским высокомерием и отчужденностью, так что каждый из них, насколько возможно об этом судить, был истинным сыном своего народа. Глеб Горбовский в одном из своих поздних стихотворений вспоминает, что Бродский перед отъездом в Америку занял у него трешку. Да так и не отдал. А еще, вспоминает Горбовский, «был он рыжим и картавым»…

Мне могут возразить, что если я хочу противопоставить Бродскому Рубцова, то у меня вряд ли это получится, ведь и Рубцов не из весельчаков, не писал ни гимнов Аполлону, ни од Фелице, что минорный лад явно преобладает в его лучших вещах. Все это отчасти так, а отчасти совсем не так, но суть в том, что если Бродский представляется по-своему непревзойденным в своих словоизвержениях антипоэтом и антилириком, Рубцов – поэт в классическом понимании этого слова.

У Бродского, надо это признать даже тем, кто его, как и я, на дух не переносит, есть несколько, может быть, двадцать или тридцать, совершенных образцов выработанного им стиля – блестящего словесного, смыслового и даже эмоционального жонглирования. Великолепны – даже мне очень нравятся – его стихи на смерть маршала Жукова. Единственный поэтический некролог знаменитого полководца, который, без сомнения, войдет в историю литературы:

> Воин, пред коим многие пали
> стены, хоть меч был вражьих тупей,
> блеском маневра о Ганнибале
> напоминавший средь волжских степей.
> <…>

Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Звонкий, афористичный и энергичный стих (кстати, будь я Бродским, лучше бы написал так: брали без страха чужие столицы), и таких у Бродского немало. При этом, когда вдохновение его покидало, Бродский в отличие от Рубцова не брезговал выжимать из себя очень длинные и заунывные вирши, которые иной раз могут неплохо заменить снотворное.

Рубцов же, безусловно, самый пронзительный лирик России второй половины прошлого века. Мне, например, он гораздо ближе Есенина с его разгульно-гибельными рыданиями «Москвы кабацкой» и «Черного человека», Рубцов с его потрясающими описаниями состояния глубокого душевного покоя, счастья и радости:

Я так люблю осенний лес,
Над ним – сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: – Я был в лесу листом!
Сказать: – Я был в лесу дождем!

Поверьте мне: я чист душою…

Я знаю, что многие, мнящие себя эстетами, ценителями и знатоками поэзии, считают такие стихи Рубцова слишком простыми, слишком деревенскими, даже примитивными. Но если бы эти «эстеты» потрудились подучить французский и почитать лирические шедевры Верлена вроде «Lessanglotslongsdesviolonsdel’ automne…» или Бодлера вроде «Lamusiquesouventmeprendcomm eunemer…» или познакомились бы в подлиннике с теми же «Горными вершинами…» или Песнями Миньоны Гёте, им пришлось бы устыдиться и признать, что в лице Николая Рубцова Россия имеет лирика высочайшего ранга, и что Катулл, Гёте, Бодлер и Верлен ничуть не «сложнее» Рубцова. Да и гениальность,

как известно, кроется в простоте. Настоящему лирику не нужны желтые кофты, стриптиз жалкой душонки или дряблых ягодиц, публичное беснование и дикие вопли. Потому что истину произносят шепотом.

Юбилейные речи и статьи с их пустыми славословиями наводят тоску. Не хочется оскорблять память гениального русского лирика пьяным унынием юбилейного застолья. Лучшая память о Николае Михайловиче Рубцове – книжка его прекрасных стихов на твоей полке. Книжка, которую ты можешь раскрыть прямо сейчас и перечитать».

Полную несхожесть поэтов, несмотря на все искусственные попытки их сближения, прекрасно выразил умудренный критик Лев Аннинский: «Холмы – острова спасения в этой бескрайности. Холмы – свидетели видений… Даже асфальтовый плен не может скрыть, что под асфальтовым покрытием – холм… Тут в параллель с Рубцовым прямо-таки просится Иосиф Бродский. Там холмы и тут холмы. Пусть знатоки источников решат, кто кому обязан: то ли Рубцов подсказал лейтмотив Бродскому, то ли подхватил у Бродского… С такими перекличками вообще надо быть осторожными. Иначе и рубцовская строка: «Идут… как прежде, пилигримы» не проскочит мимо «ристалищ, капищ, храмов и баров» Бродского – зацепится… непонятно, зачем.

Однако эту параллель охотно осмысляют многие исследователи (Виктор Бараков, Вячеслав Белков, Николай Коняев, Сергей Фаустов). Составлены даже сравнительные синхронные таблицы (этот – «матрос, кочегар, шихтовщик», тот – «матрос, кочегар, фрезеровщик», да чуть ли не в одно время); и изгнанники – оба, странники, люди «стороны», люди «края» (один изгнан из города в деревню решением «суда», другого в деревню из города гонит нужда. И еще: оба чаяли оказаться «у моря», да оказались по-разному, и в разных морях. Да вот смысл скитанья противоположен. Бродский, разочаровавшись в идеалах «прекрасной эпохи», покидает страну с ненавистью к стране и эпохе – ищет места в подлунном мире. Рубцов, при всей горечи, иногда граничащей с ненавистью к тем, кого хочется «пырнуть ножом», остается в стране, а подлунный мир созерцает сквозь родную ночь.

И там, и тут идеальное выворачивается в трагическое, да векторы «выворота» противоположны. И интонации малосовместимы. Бродский, взмывающий в просторы вселенной, и Рубцов… а он что же, не мечтает взлететь?

Ах, я тоже желаю
На просторы вселенной!

Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.

Не каждому, знаете ли, дается уникальная русаковская способность (русаковская? А может быть, тютчевская?) лучшие годы прожить на Западе, душой оставаясь в России. Рубцов, весь сотканный из «русскости», – и за кордоном носил бы роковую мету… Такие, как он, уносят родину на подошвах сапог… и пропадают на чужбине от русских бед: от гульбы, от любви собутыльников (собутыльниц), готовых задушить кумира в своих объятьях.

Рубцов все это получил в родном отечестве. Смерть и посмертную славу. Поэтому Россия в его странствии не «место действия», но загадка судьбы. Пароль без окончательного отзыва. Тайный схрон.

«Россия! Русь! Храни себя, храни!».

Откуда это заклинанье? От чувства непрерывной, неуходящей угрозы…».

Сегодня еще более очевидной становится эта угроза, но ее искусственно стараются не замечать. От кого же она исходит? Фигурально выражаясь – от шнейдерманов на различных постах: от чиновника-агитатора до министра культуры. Причем, дело не в национальности, а в самом подходе, неведомом прежде в российском обществе. Молодая и резкая поэтесса Марина Шамсутдинова пишет: «Когда-то, помню, рассказывал мне Виктор Топоров о некоем мемуаристе, который считает себя другом Николая Рубцова, но пишет при этом о нем одни гадости. Впрочем, Топоров об этом и в книге своей написал: «Читал я книгу воспоминаний о поэте Николае Рубцове, автор которой, негодуя на прочих – злокозненных, как ему представляется, – мемуаристов, то и дело восклицает: и ты, читатель!… ждешь от меня каких-нибудь подлых россказней? Не будет! Ну, разве что такая история… да еще такая… А по прочтении книги понимаешь, что запомнил лишь пару грязных историй, да эту вот пародийную авторскую ужимку…».

Теперь и мне довелось прочитать вышедшую только что в Петербурге в издательстве Новикова книжку некоего Эдуарда Шнейдермана. Рассказ о том, как малограмотного, наивного и с небольшими способностями поэта Колю Рубцова заманили к себе

в стан зловредные славянофилы. Споили его, загубили и без того небольшие способности, да еще и раздули из этой деревенской мухи крупнотоннажный самолет. Непонятно только, ежели эти славянофилы (Кожинов с компанией) вознамерились из него сотворить крупного поэта, зачем же они его губили. Зачем его спаивали? А ежели, наоборот, они осознанно хотели загубить выращенное в Питере Шнейдерманом и компанией литературное сокровище, зачем же они его дружно прославляли?

В своих стихах «Памяти Николая Рубцова» Эдуард Шнейдерман выражается еще определеннее:

Ты баб любил, лысел и пил.
Потом подался в русофилы.
Ты был мне мил.
Потом постыл
За позу, валенки, кобылу.
За апологию Руси
Остатней, избяной, замшелой.
Тебя втянули в «гой еси»
Московской секты стиходелы.

Все просто и ясно. Шнейдерман против Рубцова, еврей против русского, чужак против своего. Модернист против традиционалиста. И главное, «поэт свободный, яркий» Эдуард Шнейдерман против поэта замшелого, спившегося неудачника Николая Рубцова. Так хочет изобразить дело сам автор книги. Точно так же в своей мемуарной книге еще один бывший дружок, только другого питерского литератора, русский православный поэт Дмитрий Бобышев клеймит и примерно такими же аргументами доказывает никчемность, творческий кризис и явную раздутость нобелевского лауреата Иосифа Бродского. И вообще, утверждает Бобышев, все, чего достиг Бродский, он достиг благодаря еврейской спайке, еврейской мировой поддержке. Еврей Шнейдерман упрекает русского Николая Рубцова за то, что он оказался в «русской партии», русский Бобышев упрекает еврея Бродского за то, что тот всегда чувствовал за собой поддержку «еврейской партии». Но уши из этих мемуаров торчат и у Бобышева, и у Шнейдермана совсем иные. Те же, что торчат у еврея Наймана, тоже недовольного преувеличенным вниманием к поэзии Бродского. Те же, что торчат у русского патриота-графомана и плагиатора Валерия Хатюшина, когда он годами доказывает бездарность и раздутость Юрия Кузнецова. Это уши даже не мертвого осла, а жабы зависти. Вот и мы отбросим, как несущественное, национальность

Шнейдермана, иную его поэтическую стилистику и иное место жительства. Во всех вышеперечисленных случаях (а таких случаев многое множество) причина одна – русских ли, евреев ли, татар ли, казахов или украинцев, бывших дружков «жаба душит». Такая большая и вонючая жаба».

Однако дело куда глубже элементарной зависти. Она столь элементарная (не-до-да-ли!) не могла бы поднять такую волну ненависти к России, к деревне, к Москве, к славянофилу и «другу» Рубцову! Это – морально-историческая и агрессивная несовместимость, которая продолжает раздирать и губить Россию. Так нечего нам последних святых и подлинных поэтов с их противниками и антиподами равнять и тем самым душить их!

* * *

Этой главой о преследуемом Рубцове, который по своей значимости и популярности, превзошел и «шестидесятников», и еврейских последователей Мандельштама и Пастернака, опрокинул все построения-уверения в гениальности Бродского, я и хотел бы закончить книгу «Анти-Бродский». В своих раздумьях о современной поэзии, о том, как безжалостно вторгается в эту высокую стихию местечковая клановость и политиканство я пришел к убеждению, что надо во что бы то ни стало осилить эту безрадостную книгу. Она ведь не только о Бродском, но и о глобальном подходе к уничтожаемой национальной культуре. Вот один из последних примеров: создай какой-нибудь русский актер композицию по стихам Рубцова или Юрия Кузнецова – никто на ТВ и не заметит, а вот как «кормится» Бродским актер из Горловки. Моноспектакль Игоря Пеховича по поэзии И. Бродского – лауреат Международных фестивалей: Москва (1996), Киев (2002), Киль («Теспис», 2004). Участник Международных фестивалей – С.-Петербург («Монокль» 1997), Рига («Созвездие» 2003). Задействован не только Игорь Пехович – актер Московского Театра на Таганке, но и Вадим Правилов – контрабас. Из прессы: «…Игорь Пехович – воистину «человек-оркестр». Традиционную декламацию он превращает в яркое театральное действо – будто на сцене не один, а десятки актеров, и звучит не монолог, а разговор множества лиц. Причудливый, трагический, с неистовым темпераментом, с идиллическим венком на всклокоченных волосах, завернутый в белую простыню – то ли тога, то ли смирительная рубашка, – он убеждает каждым словом, каждым звуком глубокого, богатого, почти певческого голоса. Пехович не позволяет зрителям соскучиться ни на минуту

и вынуждает следить за поэтическим словом, как за напряженным криминальным сюжетом. Но не только и не столько пластикой и режиссерскими находками поражает мастерство Пеховича. Пожалуй, главное достоинство спектакля – открытие как бы нового Бродского. Его сложная философская поэзия становится удивительно понятной. Моноспектакль был создан в марте 1996 года – через месяц после смерти великого поэта».

Как пишет театральный критик, «Биография Пеховича» похожа на еврейский язык – все справа налево… Оказалось, что смерть Бродского настолько потрясла театрального деятеля, что он написал данную композицию в течение месяца. Также Игорь Пехович признался, что сам он считает Бродского «русским Шекспиром», потому что его стихи столь же трагичны, в поэзии прослеживается драматургическая линия, и ее прямо можно использовать для игры, как сценарий или либретто».

Спектакль «Жизнь есть товар…», как рассказал собеседнику Пехович, участвовал во многих Международных фестивалях и неоднократно становился лауреатом, например, в Киеве, в Москве, Риге. Режиссер поделился, что существует еще одно произведение («Но лучше мне не говорить…») по мотивам поэзии Бродского, которое уже исполнялось в 1993 году. А сценарий третьего спектакля, и, как надеется Игорь Пехович, не последнего, пока что только написан и ждет лучшего момента для воплощения. Так что он давно эксплуатирует эту тему и «шекспировскую» поэзию, но почему ведущий «Новостей культуры» Владислав Флярковский аж 29 января 2013 года своим сладким голоском преподносил старый-престарый спектакль как горячую культурную новость?! Или это вариацию на тему книги В.И. Соловьева «Три еврея»? И таких примеров – уйма!

Восприятие, толкование, обсасывание вредоносного творчества нобелевского лауреата является лакмусовой бумажкой для понимания того бедственного положения в котором находится отечественная литература. Мудрец Михаил Пришвин, который не имел никакого филологического образования, писал: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить – то и другое для меня теперь археология; моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, – моя родина – это повесть Пушкина “Капитанская дочка”…». Вот что такое великая книга, приравненная к самой Родине! Высшее достижение русского духа по общемировому признанию – это классическая литература, включая, конечно, и советскую литературу. Потому и возникает постоянно вопрос: что надо читать, как из обывателя-потребителя, сформированного всем буржуазным строем и

электронными СМИ, вырастить все-таки гражданина, способного трудиться на благо Родины, а если потребуется – защищать ее? Это и в Кремле понимают, и даже олигархи в Туманном Лондоне. Так что не случайно Владимир Путин заговорил о ста книгах, которые должен прочитать – в идеале – каждый школьник к окончанию школы. Он еще в конце минувшей весны издал указ «Об обеспечении межнационального согласия», согласно которому к осени должен быть в целом сформирован перечень 100 книг по истории, литературе и культуре народов Российской Федерации. По мнению Путина, входящие в список произведения должны составить некий «отечественный культурный канон», который можно рекомендовать старшеклассникам для самостоятельного освоения. Список к осени – не успел. Сырой и противоречивый, он начал гулять по профессиональным сообществам и интернету только в конце января 2013 года.

Сразу и прямо скажу: список 100 книг наглядно демонстрирует деградацию и клочковатость современной педагогической, филологической, университетской мысли. Напомню, что тендер на составление этого списка выиграла альма-матер кремлевских правителей – Санкт-Петербургский государственный университет, который выиграл конкурс и получил 2 млн. рублей. Как оказалось, ни за что! Рабочая группа сформировала предварительный перечень из 213 литературных произведений, открыв также и народное интернет-голосование по выбору книг, достойных включения в окончательный вариант списка. Мол, валите кто что хочет! Да-а, весьма научный подход. Лидером интернет-опроса сразу стало произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Еще бы – фильм Гайдая или Захарова раз в месяц обязательно по ТВ повторяется! Кроме того, в число лидеров голосования вошли другие шлягеры.

Во время Педагогического собрания из разных уголков России шли прямые включения. Каждый директор школы и каждый педагог пытались отстоять своего любимого писателя, которого они не увидели в списке. Например, ростовчане были возмущены тем, что среди 100 лучших книг нет произведений Михаила Шолохова, а ведь он нобелевский лауреат. Кроме того, в санкт-петербургской версии не было Щедрина, Бажова и Гоголя. Кое-что было подправлено. Ирина Трипольская, сотрудник Минобразования, рассказала о том, как велось параллельное обсуждение во время составления списка. По ее словам, Владимир Путин поручил министерству подобрать книги вместе с РАН, Минкультуры, общественными организациями, а также религиозными конфессиями. Также учитывались и мнения людей, которые принимали активное участие в обсуждении списка на

официальном сайте. Как я понял, без двух миллионов – на чистом энтузиазме все бросились выполнять поручение Путина.

Чиновница рассказывает о том, через какие бурные обсуждения пришлось пройти министерским работникам при составлении списка: «Хотелось учесть и мнения людей, активно обсуждающих список на нашем официальном сайте. Сначала мы предложили всем желающим прислать свои предложения – получили 5540 произведений! Из этих пяти тысяч вычеркнули книги, входящие в школьную программу, составили рейтинг самых популярных. Таким образом мы получили перечень из 1050 произведений. Составили авторитетную рабочую группу, которая сократила список до 200. С этими двумя сотнями мы думали-думали, но ничего сделать не могли. Так и отправили в правительство. Но нам его вернули, попросив все же оставить именно 100». Конечно, раз главный читатель велел – ровно 100!

Именно обилие ретивых составителей и совершенно начетнический, казенный, а не творческий подход привели к появлению такого эклектичного, а в каких-то частях и жалкого списка. Во-первых, не была выполнена фундаментальная установка: не пересекаться с учебной программой, с авторами, рекомендованными к обязательному прочтению. Тут, конечно, особая песня! По сравнению с действующим стандартом, в новую программу не попали Александр Куприн, Николай Лесков, Алексей Толстой. Из авторов, которые не были обязательны (можно было выбрать других), но традиционно изучались в старших классах, в программу не вошли Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Александр Вампилов (кстати, выдающегося русского драматурга нет и в списке 100 книг!).

Мне звонит один легкомысленный поэт и говорит с радостью: «Я с ним согласен хотя бы потому, что Николай Рубцов есть, а Иосифа Бродского – нет!». Я горько рассмеялся: «Бродского нет потому, что он обосновался в обязательной программе». В 2010 году в том же СПбГУ прошла конференция, посвященная творчеству Бродского, в программе которой была особая секция: «Произведения Иосифа Бродского в рамках школьной программы». В сборнике, изданном по итогам конференции, есть целый раздел, в котором собраны учебно-методические разработки уроков с рекомендациями по отбору произведений и составлению вопросов и заданий. А ведь народ читает и любит Пушкина, Есенина, Рубцова! Они роднее и понятнее для всех школьников.

В отвратительном стихотворение «Представление» Бродский пишет:

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папироса.
В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.
Прячась в логово свое
волки воют «Е-мое».
«Жизнь – она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».

Да, уже волки воют: «Е-мое» – не надо доводить страну до ручки и выдавать ее «замуж за еврея»…

Испанский политик и писатель Грегорио Мараньон сказал просто: «Я люблю Испанию, потому что я ее знаю». Вот главный критерий при отборе книг – хоть Бродского с Довлатовым, хоть Рубцова с Кузнецовым: помогают ли они лучше узнавать и крепче любить Россию? Так строилось воспитание в нормальных семьях и в царской, и в советской державе. Приведу темы сочинений, предлагавшиеся гимназистам старших классов в начале XX века:

• *Слово как источник счастья.*

• *Почему жизнь сравнивают с путешествием?*

• *Родина и чужая сторона.*

• *О высоком достоинстве человеческого слова и письма.*

• *О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.*

• *О проявлении нравственного начала в истории.*

• *На чем основывается духовная связь между предками и потомством?*

Какие замечательные темы, правда? Совершенно немыслимые в свете вещания нынешнего ТВ, например. В идеале любая рекомендуемая книга, нравственный и художественный канон, как выразился Путин, должна позволить написать сочинение по любой из приведенных высоких тем. Но в списке есть такие книги, которые на такое не потянут: например, 61. Петрушевская Л. «Рассказы и повести». Какие? – не важно. Кто-то любит мучительную прозу этой писательницы, но школьникам рановато окунаться в ее мрачновато-изломанный мир. А каким чужеродным телом выглядит неведомый мне под пунктом 24.

Горянин А. «Россия. История успеха» (аж в 2 книгах – (???). Зачем навязывать ложное бодрячество в духе протестантизма в стране, где все традиционные конфессии отвергают успех, славу и деньги любой ценой? Вот как она рекламируется: «Книга «Россия. История успеха. Перед потопом» – настоящая встряска для мозгов. Книга – нокаутирующий ответ авторам разной степени необразованности, которые наводнили рынок трактатами о «поражении России в третьей мировой войне», о необходимости самоизоляции и мобилизационной экономики, о нашем ужасном климате и тому подобным вздором… «Ушедшая» после 1917 года историческая Россия никуда не ушла. Миллионами ростков она пробилась сквозь щели и трещины коммунистической утопии, изломала и искрошила ее скверный бетон, не оставив противоестественной постройке ни одного шанса уцелеть. Это одна из величайших побед нашей истории». Ну да, это в духе кремлевской пропаганды, но отношения к трагической реальности – не имеет. Зачем морочить головы детям либеральной антисоветчиной?

Поражают небрежности и откровенные ляпы. Под пунктом 46. Включен Кузьмин В. «Сокровище нартов: Из кабардинских и балкарских сказаний о богатырях-нартах». А где осетинские нарты? Или раз Кузьмин про них не писал, то можно обойтись? Это же просто смешно! 96. «Урал – Батыр» – это башкирский народный эпос. А где же татарский эпос «Идегей»? Есть карело-финский эпос «Калевала», но где алтайский эпос «Алтай-Бучай»? Это говорит о вопиющем халтурном подходе даже к такой важной и деликатной сфере как фольклор народов России. Весь университет не смог осилить элементарного: предложить сборник избранных, ярких и понятных глав эпической поэзии разных народов, но, понятно, без всякого «Кер-оглы» и «Манаса». Даже само перечисление в списке названных памятников без указания этнической принадлежности, без упоминания переводчиков вопиет о некомпетентности авторов списка и требует возврата 2 миллионов за тендер – в казну!

Или вот: 97. Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. И только? Тот же случай халтуры: а где другие лирические и исторические песни, например, или песни на стихи поэтов, которые родились позже Кирши, но стали народными – «Вот мчится тройка удалая» Глинки, «Ехал на ярмарку ухарь-купец» Никитина, «Хуторок» Кольцова, «То не ветер ветку клонит» Стромилова, «Не брани меня, родная» Разоренова, «Тонкая рябина» Сурикова. Может быть, нынешние питерские филологи не знают, но есть прекрасный опыт «Художественной литературы» по изданию сводных томов

фольклора – «От прибаутки до былины» или «Русский фольклор». Последний сборник успел выйти в 1986 году тиражом 1 000 000 экземпляров. Ну, включите фантазию, блесните научной добросовестностью!

А как представлена поэзия – слезы! 69. Самойлов Д. Стихотворения. Почему же есть Дезик Самойлов (единственный, кстати, из фронтового поколения поэтов) с его строкой из Блока «Сороковые, роковые…» есть, но нет Николая Майорова – певца великого поколения «Мы были высоки, русоволосы…»? Нет лауреата Ленинской премии фронтовика Егора Исаева или замечательного лирика Владимира Соколова. Может, лучше включить антологии фронтовой лирики и современной поэзии, чем неизвестных мне, писателю и преподавателю, произведений вроде Боханова А.

«Император Александр III»? Питерские филологи, наверное, не знают, что недавно в издательстве «Вече» вышла сильная антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было» (составитель Г. Красников), что там же вышла замечательная антология «Молитвы русских поэтов» (составитель В. Калугин), что с прилавков моментально сметается любая антология поэзии Серебряного века, особенно, если она составлена учеными ИМЛИ. Где подобные разноплановые, а не вкусовые издания?

И таких вопросов – уйма. Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению, бурно обсуждается в блогосфере и социальных сетях. Координатор международной экспертной группы ИА REX Сергей Сибиряков провел в социальной сети Макспарк опрос по теме «Как вы оцениваете список 100 книг для школы, рекомендованный Министерством образования?».

Список полностью устраивает 150 9%
Список в целом устраивает 193 12%
Список полностью не устраивает 253 16%
Список частично устраивает 774 48%
Трудно ответить 105 7%

Список полностью устраивает	150	9%
Список в целом устраивает	193	12%
Список полностью не устраивает	253	16%
Список частично устраивает	774	48%
Трудно ответить	105	7%

То есть 21 % одобряет, а 54 % – так или иначе отвергает. И правильно!

Эксперт ИА REX, политолог Лев Вершинин считает, что нынешнее обсуждение списка-100 – очень показательно и интересно. «Люди спорят до хрипоты, и это правильно, потому что без спора нет хотя бы примерной истины. Но, оказывается, в суете «за» и «против» теряются нюансы, куда более важные, а то и страшные. Типа, нового, извините за выражение, «образовательного стандарта», усиленно проталкиваемого Министерством образования, от которого педагоги-словесники, – неистребимые российские подвижники, которым еще не на все наплевать, уже заранее бьются в судорогах, не зная, что делать. Я не теоретик литературоведения, я литератор-практик и читатель-профессионал, но даже мне ясно, что на русской классике кто-то не очень умный (или, напротив, очень расчетливый) намерен ставить жирный крест. И не в том даже дело, что сокращаются часы, в результате чего «до полной ликвидации нашего предмета как обязательного осталось два шага, а то и шажочка». Дело в том, что, насколько я понимаю, предполагается выхолостить само понятие «классика»«, – отмечает эксперт.

Да, похоже, решили уничтожить лучшее, что создано на ниве духовности нашими писателями-патриотами. Как утверждал не включенный в список Михаил Пришвин: «В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины… Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только что начинается». Видя все то, что творится на ниве культуры и образования, кажется, что русский народ – кончается. Этот же вывод приходит в голову, когда слышишь по газпромовскому радио или читаешь в правительственной газете, что Бродский – это Пушкин XX века. Надо этому бреду, этой духовной отраве по мере сил противостоять.

За сим и прощаюсь с читателем.

